ПАТРИК ДЕ ВИТТ

БИБЛИОТЕКАРИСТ

РОМАН



CORPUS

От этой книги тепло на сердце. Она, как и ее герой, хоть и неброская, но удивительно душевная и утешительная.
WALL STREET JOURNAL

Библиотекарист
Патрик де Витт

Аннотация
Патрик де Витт. Библиотекарист
1. 2005–2006
2. 1942–1960
3. 1945
4. 2006

Аннотация

Боб Комет жил тихой и с первого взгляда непримечательной жизнью, работал в библиотеке, вышел на пенсию, но досуг в основном проводил за чтением. Однако однажды случайная встреча изменила все. Он стал волонтером в центре для пожилых, заново научился завязывать контакты и общаться. А заодно нахлынула волна воспоминаний. И Боб вместе с читателем возвращается то в конец пятидесятых, когда в его жизнь пришла единственная любовь, то в середину сороковых, когда он, еще мальчик, на несколько дней сбежал из дома. И прошлое помогает ему разобраться в себе нынешнем и в окружающем его мире.

Патрик де Витт
Библиотекарист

Памяти Дэвида Бермана

PATRICK DEWITT
THE LIBRARIANIST

This edition is published by arrangement with Sterling Lord Literistic, Inc. and The Van Lear Agency LLC

© Patrick deWitt, 2023
© Э. Меленевская, перевод на русский язык, 2024
© ООО “Издательство Аст”, 2024
Издательство CORPUS®

1
2005–2006

Утром того дня, когда Боб Комет в первый раз пришел в Гериатрический центр имени Гэмбелла — Рида в Портленде, штат Орегон, он проснулся в своем домике цвета мяты, огорченный тем, что сон его оборвался. Снова снился приморский, давно уж не существующий отель “Эльба”, где он побывал одиннадцати лет, в середине сороковых. Боб, который вообще памятливостью не отличался, не уставал поражаться, что после стольких лет ему удалось сохранить такое яркое ощущение места. Но еще удивительней были те эмоции, которыми зрительные эффекты сопровождались; этот сон раз за разом насыщал его мозг химией, предвещавшей наступление глубокой романтической любви, хотя тогда, в отеле, ничего подобного он не испытывал. И сейчас он лежал в постели, смакуя ускользающее от него чувство.

Боб сел, склонил голову набок и уставился в никуда. Библиотекарь на пенсии семидесяти одного года, он был доволен жизнью, на здоровье не жаловался и проводил свои дни за чтением, го-

товкой, приемом пищи, уборкой и прогулками.

Прогулки часто растягивались на мили, он отправлялся в путь наобум, не имея в виду никакой цели, выбирал свой маршрут, отзываясь на потенциально многообещающий звук или зрительное впечатление от потенциально многообещающей улицы. Однажды стал свидетелем пожара, в центре города горела квартира; пожарные, протянув лестницу до верхнего этажа, спасли из окна ребенка, толпа, собравшаяся внизу на тротуаре, приветствовала это криками, Боб был под большим впечатлением. В другой раз, в юго-восточном секторе, он наблюдал, как какой-то сумасшедший решительно и методично крушил цветочные клумбы перед ветеринарной клиникой, в то время как собаки глядели на это из окон, вытягивая шеи и обиженно тявкая. Вообще говоря, случалось не так уж много такого, чем стоило бы потом поделиться или на что поглазеть, но было приятно находиться в движении и среди людей, ведь он редко с кем-то контачил. Друзей у него не водилось, телефон молчал, и семьи не было, а если в дверь стучали, то, значит, доставка на дом; но отсутствие общения не тяготило его, он не испытывал тяги к компании. Боб давно отказался от идеи узнать кого-то поближе

или чтобы с ним самим познакомились. С миром он взаимодействовал, отчасти прогуливаясь по нему, но главным образом о нем читая. С детства и посейчас Боб увлеченно читал романы.

В тот день Боб позавтракал и вышел из дому, когда не было еще и девяти. Одевался он обычно, руководствуясь прогнозом телесиноптика, но в тот раз синоптик промазал, и Боб вышел не подготовленным к тому, что на улице зябко и сыро. В принципе прогуляться в плохую погоду он был не прочь, но тогда нужно должным образом экипироваться; особенно раздражало, что, вот как сейчас, мерзли руки, поэтому он зашел в магазинчик “Севен-Илевен”, открытый с семи до одиннадцати, налил себе кофейку в бумажный стаканчик и задержался у газетной стойки, отогреться и разжиться новостями по заголовкам.

Парень на кассе — лет двадцати, на вид дружелюбный — озабоченно поглядывал туда, где в глубине магазина стояла лицом к батарее стеклянных дверок, за которыми хранилось всякое охлажденное питье, какая-то женщина. В розовом спортивном костюме, блестящих белых кроссовках, бейсболке с сетчатым задником и в солнцезащитных очках, она стояла неподвижно, как статуя. Наряд под стать дошкольнице

или подростку, но из-под бейсболки выбивалась копна седых кудрей, так что женщине было, надо полагать, лет шестьдесят-семьдесят. Кассира она определенно тревожила, и Боб шепотом осведомился:

— Все в порядке?

— Да фиг ее знает, — шепотом же ответил кассир. — Она вроде и ничего, и одежка у нее чистая, но она вперилась в энергетики и стоит так вот уже три четверти часа. Боюсь, как бы чего не выкинула.

— А заговорить с ней вы не пробовали?

— Да, спросил, могу ли я ей помочь. Ноль реакции.

— Хотите, попробую я?

— А если она психанет да выкинет что-нибудь идиотское?

— Что, например?

— Такое, что нормальному человеку и в голову не взбредет. А копы приедут, только если оружие пойдет в ход. А знаете, сколько есть способов выкинуть что-нибудь идиотское без оружия? Да мильон.

Разговаривая, они не спускали с женщины глаз.

— Пойду попробую, — сказал Боб.

— Давайте, но если начнет дурить, постарайтесь вывести ее вон, а? — Кассир развел руки, как когда отлавливают кого-нибудь или загоняют. — За то, что будет там на парковке, я уже не в ответе.

Боб направился к фигурке в розовом, благодушно себе что-то под нос мыча, как для того, чтобы известить о своем приближении, так и для того, чтобы обозначить дружественные намерения.

— О, привет, — сказал он так, будто только ее заметил. Насколько можно было судить, она никак на это не отозвалась, лица не разглядеть за бейсболкой, кудрями и солнечными очками. — Все в порядке, мэм, а? Я могу вам чем-то помочь?

По-прежнему никакой реакции, и Боб посмотрел на кассира, который коснулся предплечья жестом, выражающим убеждение, что Бобу следует женщину легонько встряхнуть. Трясти ее Боб не стал, но положил руку ей на плечо; и в тот момент, когда он коснулся ее, она активизировалась, как оживший робот, отвернулась от Боба и неторопливо направилась между стойками прямо к выходу из магазина. Боб воззрился ей вослед.

— И что мне теперь делать? — спросил он кассира.

— Понятия не имею, — отозвался тот, очень довольный тем, что она ушла, и еще тем, что случилось хоть что-нибудь интересное.

— Пойду-ка я за ней, — решил Боб и тоже вышел из магазина.

Держа дистанцию шагов в десять, он следовал за женщиной, прихлебывал кофе, и отмечал ее скудные успехи. Целых пять минут ушло у нее на то, чтобы пройти один квартал, а потом она снова окостенела, на этот раз на автобусной остановке, рядом со стеклянным навесом, уставилась на пустую скамейку. Пошел дождь, ее спортивный костюм стал намокать. Когда она задрожала, Боб подошел и накинул ей на плечи свое пальто. Но вскоре и он продрог, промокнув насквозь; когда полицейская машина остановилась на красный свет, Боб помахал полицейскому, чтобы привлечь его внимание. Полицейский помахал в ответ и уехал.

Боб перебрался под навес, где встал так, чтобы видеть женщину. Кофе совсем остыл, и Боб сообразил наконец, что так и не заплатил за него. Не задалась прогулка, подумал он, разумней будет смириться с потерями, махнуть рукой на пальто и отправиться домой на такси, но тут ему бросилась в глаза запаянная в пластик карточка,

которая на шнурке свисала у женщины с шеи. Он обошел укрытие и, чуть отклонив от себя ее тело, принялся разглядывать карточку. На ней была фотография женщины в солнцезащитных очках и бейсболке, а под фотографией текст: “Меня зовут Чирп, я живу в Гериатрическом центре Гэмбелла — Рида”. Под текстом адрес, а под адресом — изображение внушительного дома в стиле “искусства и ремесла”, предшествующего модерну, со средневековыми элементами: башней с флюгером и террасой по всему периметру. Боб, видавший этот дом во время своих прогулок, сказал:

— Знакомое место. Значит, здесь вы живете? Вас зовут Чирп?

Твердость духа вернулась к нему, и он решил, что доставит Чирп по указанному адресу.

Боб бережно взял ее под руку и повел по направлению к Центру. Каждые десять-пятнадцать шагов она останавливалась со стоном, но вообще-то почти не сопротивлялась, и худо-бедно они все-таки продвигались, невзирая на непогоду. Ее тянуло зайти в каждый магазин, мимо которого они проходили, и Бобу приходилось ее выправлять; всякий раз при этом она каменела и принималась стонать.

— Прошу прощенья, Чирп, — говорил он. — Я и

рад бы, чтобы мы зашли и там побродили, но ведь о вас будут беспокоиться, а мы разве хотим, чтобы они беспокоились, нет ведь? Так что пойдемте уж дальше, нам совсем немного осталось.

Вскоре показался Гериатрический центр. Раз сто, не меньше, Боб проходил мимо, порой спрашивая себя, что бы там могло находиться. Здание высилось на холме, подавляя соседние постройки, ни дать ни взять классический дом с привидениями. Вывески, поясняющей его назначение, не имелось, но у обочины стояли больничные автобусы-челноки и машины скорой помощи, и дорожка для инвалидных колясок зигзагом вела вверх от тротуара ко входу. Боб повел Чирп по этой дорожке и, пока они поднимались, разглядывал Центр. Он нашел, что здание здорово напоминает собой отель “Эльба”; и хотя мистике Боб был чужд, ввиду сна, который ему тем утром приснился, как было не удивиться сходству между двумя зданиями.

Входная дверь представляла собой внушительный заслон из окрашенного зеленой краской металла и пуленепробиваемого стекла, и она была заперта. Боб нажал на кнопку дверного звонка, дверь зажужжала в ответ, со щелчком отперлась и принялась медленно отворяться. Чирп вошла

своим ходом и исчезла за углом, в то время как Боб так и стоял, ожидая, что кто-нибудь выйдет встретить его на пороге; но никто не вышел, и после долгой, тягостной паузы дверь с механическим равнодушием начала закрываться. Боб собрался было развернуться да и уйти, когда за спиной у него взревело: “Попридержи дверь!” И столько убежденности крылось в реве, что Боб, не задумываясь, блокировал ход двери своей правой ступней, и ту в результате прищемило так крепко, что он еле сдержался, чтобы не вскрикнуть от боли. Дверь, найдя на препятствие, отскакнула и пошла распахиваться по новой.

Тем временем тот, кто издал рев, непомерно крупный, то есть высокий и широкоплечий мужчина в непомерно большом электронном инвалидном кресле, надвигался на Боба с огромной скоростью и выражением стальной уверенности в налитых кровью глазах. Просвистывая мимо Боба в Центр, в знак благодарности он со взмахом руки прищипнул пальцами край своего непомерно большого берета. И в тот самый миг, как он въехал, послышался зов невидимых голосов, ехидные, насмешливые приветствия, довольные, что продолжится нечто, происходившее ранее, будто за ночь собраны новые аргументы, кото-

рые изменят ход спора. “Пу-пу-пу”, — произнес мужчина, помахивая рукой в перчатке, чтобы погасить шум, и направил свое кресло куда-то вглубь Центра.

Женщина сорока с чем-то лет в бежевом кардигане поверх бледно-зеленого медицинского халата вышла навстречу Бобу. Спросила, чем она может ему помочь, и Боб объяснил, что доставил сюда Чирп. Женщина кивнула, что поняла, но заметного впечатления ни то, что Чирп сбежала, ни то, что она благополучно возвращена, на нее не произвело. Она представилась Марией, а Боб сказал, что его зовут Боб. Когда дверь снова поползла закрываться, Мария отступила, подняв руку в обезличенном жесте прощания; но тут Боб удивил и себя, и Марию, хромоного вскочив внутрь, а после стоял, отдуваясь легонько, пока Мария раздумывала, вызывать ей охрану или нет.

* * *

Мария Бобу моментально понравилась. Казалось, что на мировую чепуховину она взирает, как кошка, скептично и неопределенно, и тут же, как кошка, с настроем: удиви же меня. Боб сказал бы, что она вымотана физически и эмоционально; ее волосы, заметил он, еще мокры

после душа. Она спросила, что у Боба с ногой, он ответил: “Ваша входная дверь раздавила”, и она кивнула: “Понятно”. Она спросила, в силах ли он выдержать экскурсию по Центру, он ответил, что да, в силах, и она провела его по просторному помещению, обозначив его как Большую комнату. Посреди комнаты стоял длинный стол, вокруг которого разместилась дюжина или чуть больше пожилых женщин и мужчин. Некоторые оживленно болтали, другие сидели, склонив головы, за легкой работой над простенькими поделками, третьи дремали, уронив на грудь подбородки. Мужчины в инвалидном кресле видно нигде не было, зато Чирп сидела во главе стола, отдельно от остальных, дыша ртом, и все еще в пальто Боба, свисавшем у нее с плеч. Боб указал на это Марии, которая подошла к Чирп сзади, чтобы забрать одежду. На это ушло немало усилий, но все-таки Мария сумела вытащить пальто из-под Чирп и пересекла комнату, чтобы вернуть его Бобу. Он поблагодарил, но не стал надевать пальто сразу, пусть сначала развеется тепло тела Чирп.

Они с Марией возобновили свою прогулку.

— Итак, это Чирп. Она вольная птица. Убегает часто, как может. К счастью, недалеко и не быстро. В половине случаев мы и не догадываемся,

что ее нет, а потом вдруг кто-то стоит у двери, вот вроде вас, и ее возвращает.

Боб спросил, как в Центре помещается столько народу, сколько он сейчас видел; Мария ответила, что постоянных обитателей здесь всего пятеро, а остальных больничный автобус утром привозит из дому, а вечером, после ужина, увозит. Большинство из них живут со своими взрослыми детьми или родственниками. У них нет страховки или сбережений, объяснила Мария, обслуживание по полной программе им не по карману.

— А Чирп — она живет постоянно?

— На данный момент — да. Правду сказать, ей нужно от нас больше, чем мы можем ей дать. Повезло, конечно, что этот дом нам предоставлен, но, когда речь о сложных случаях, он не очень-то приспособлен для наших нужд. Нам недостает персонала, финансирования и всего остального. Чирп требуются специализированный уход и безопасная среда. Идеальный пациент для нас, с нашей точки зрения и ввиду того, что мы в состоянии предложить, это кто-то вроде Брайти, вот она тут. Как дела, Брайти?

В следующий момент Боб уже пожимал руку, или, верней, ему пожимала руку женщина, эта самая Брайти. Пристально глядя на Боба, обрати-

лась она все-таки к Марии.

— Кто это? Новое лицо? Свежая кровь? Что у него за история?

— Это Боб, Брайти, — сказала Мария. — Он так добр, что вернул нам Чирп, и я решила провести его по нашему дому.

— Ладно, это разумно, но где он живет?

— Я не знаю. Где вы живете, Боб?

— У меня домик на северо-востоке.

— Звучит шикарно, — сказала Брайти Марии.

— Да ну! — сказал Боб.

— Это он скромничает. Шикарно, я знаю. Жена, небось, очень довольна, что ей так повезло.

— У меня нет жены, — сказал Боб.

Теперь уж Брайти поглядела на Боба.

— Почему?

— Не знаю. Нет, и все. Но когда-то была.

— И что, одной хватило?

— Похоже, да.

— Так вы что, вдовец?

— Нет, разведен, — сказал Боб.

— И когда ж вам дарована была ваша свобода?

Боб посчитал в уме.

— Сорок пять лет назад.

Брайти присвистнула, но свист у нее не вышел, скорей пыхтенье.

— Брайти пять раз была замужем, — сообщила Мария.

— Что вы на это скажете? — поинтересовалась Брайти у Боба.

— Скажу, что для замужеств это немало, — ответил Боб.

— Мне по сердцу людные вечеринки, вот в чем финт, — сказала Брайти. — И потом, что ни говори, а свадьба все лучше, чем похороны. — Она отошла к разномастным банкеткам, стоявшим в ряд вдоль стены, села, откинув голову до упора, и закрыла глаза.

— Брайти! — сказала Мария Бобу.

Боб заметил, что Чирп не сидит больше за столом, а стоит, заняла пост рядом с входной дверью, глядя на нее так, будто и не глядит вовсе. Боб известил Марию об этой диспозиции Чирп, та вздохнула и повела его в дальний угол Большой комнаты, где женщина с хмурым лицом, сидевшая за раскладным карточным столиком, трудилась над пазлом в тысячу кусочков. На голове у нее была жесткая, грязноватая поросль с сединой, а на носу — очки для чтения поверх обычных очков.

— Это Джилл, — сказала Мария. — Джилл приходит к нам на день. Джилл, познакомьтесь

с Бобом, он наш новый друг, а я через минутку вернусь.

Она пошла забрать Чирп от входной двери, а Джилл в упор посмотрела на Боба, который сказал:

— Привет.

Она не ответила. Тогда Боб поинтересовался, как у нее дела, и она подняла руки тем жестом, каким хирурги держат их после того, как отскребли перед операцией, каждый палец отдельно и друг от дружки на расстоянии.

— Я не чувствую больших пальцев, — сказала она.

— Как это? — спросил Боб.

Она потрясла головой.

— Проснулась посреди ночи с ощущением, что в комнате кто-то есть. “Эй! — сказала я, — эй!” А потом поняла про пальцы.

— Что вы перестали их чувствовать.

— Да, и тогда, и сейчас. — Она опустила руки на колени. — Как вы думаете, что это значит?

— Не знаю, — сказал Боб. — А кто был тот, в комнате?

— Да никто. Может, тот, кто был, это было присутствие того нового, что неладно со мной? — Она склонила голову набок, обдумывая свою стран-

ную фразу. — Не подумайте, что хочу вас обидеть, но что-то вы не похожи на доктора.

— А я и не доктор.

Джилл отпрянула.

— А зачем же тогда выспрашиваете меня про здоровье?

Боб, не зная, что на это ответить, решил перевести разговор на головоломку:

— Что это будет, когда вы закончите?

Джилл взяла крышку от коробки и выставила ее напоказ рядом со своим мрачным лицом.

— Узнаете, что это?

— Сбор урожая, похоже.

Она кивнула, как бы признавая, что отчасти он прав, и поучительным тоном сказала:

— Это про осеннее чувство.

— Как это?

— Разве вы не знаете?

— Не уверен, что знаю.

— Осеннее чувство, — сказала Джилл, — это осознание того, что предстоят долгие сумерки. — И посмотрела многозначительно. На левой линзе ее очков для чтения еще держалась наклейка с надписью: “$ 3.99”.

Она снова взялась за пазл, выкапывая подходящие детальки, онемелые большие пальцы

оттопырены под странным углом, средний и указательный пожелтели от табака.

Боб попрощался и, отправившись на поиски Марии, помедлил перед доской объявлений, увешанной извещениями, картинками и информационными материалами. Одна листовка из многих приковала его внимание: призыв помочь Центру. Мария, подойдя, обнаружила, что Боб записывает в свой блокнотик на спирали телефон Американской ассоциации волонтеров.

— Зачем это вам? — спросила она.

— Не знаю. Наверное, меня зацепило.

— Вы уже волонтерствовали когда-нибудь?

— Нет.

Она жестом попросила Боба выйти с ней на крыльцо. Как только входная дверь с лязгом за ними захлопнулась, она сказала:

— Если я могу говорить с вами откровенно, то посоветую дважды подумать, прежде чем идти в волонтеры. Я говорю это и ради вас, и ради себя. Потому что волонтерская программа — не что иное как обуза для Центра. Я даже попросила Ассоциацию убрать нас из списка, потому что от каждого, кого нам присылали, было больше проблем, чем пользы. Каждый являлся, прямотаки лучась сознанием своей добродетели, но

ни один не продержался и месяца, потому что изнанка здешней ситуации жестче, чем со стороны можно себе это представить. Например, вас никогда не поблагодарят, но будут критиковать, приглядываться с пристрастием и оскорблять словесно. Мужчины и женщины здесь крайне чувствительны к своему статусу; один намек на благотворительность — и они вспыхнут, как порох, и, по чести, я не скажу, что ставлю им это в вину.

— Ну и ладно, — сказал Боб.

— Я ни в коей мере в вас лично не сомневаюсь, — продолжала Мария, — вы, похоже, человек очень хороший. — Она помолчала, и на лице ее отразилось решение подобраться к теме с другой стороны. — Вы ведь пенсионер, не так ли?

— Да.

— Какую должность вы занимали?

— Я работал библиотекарем.

— Долго?

— С двадцати двух до шестидесяти семи лет.

— Иногда, — сказала Мария, — пенсионеры приходят помочь нам в надежде, что мы заполним пустоту, образовавшуюся в их жизни, развеем хандру.

— Нет у меня хандры, — сказал Боб. — И не ду-

маю, что обижусь, если меня не поблагодарят. — Облачный покров поредел, и небо окрасилось в легкие розовые, пурпурные и оранжевые тона. Боб отмечал про себя эти цвета, когда у него возникла идея. — Я мог бы читать им.

— Читать кому?

Он указал на Центр.

— Читать им что?

— Рассказы.

— Какие рассказы?

— Увлекательные.

Мария покивала сначала, а потом затрясла головой.

— Да, но нет, — сказала она. — Ну какие из них читатели, Боб!

— Но когда читаешь не ты сам, а тебе кто-то, это ведь совсем другое дело, — возразил он. — Послушать историю всякий любит.

— Да, но наши? — спросила она.

Они спускались по высокой бетонной лестнице, расположенной сбоку от зигзагообразной дорожки. Мария еще раз усомнилась в том, что идея с чтением хороша; Боб отважно настаивал на своем, и она сдалась, сказала, что ж, ладно, давайте попробуем. Когда добрались до тротуара, она протянула ему свою визитную карточку и

сказала:

— Просто сообщите в Ассоциацию волонтеров телефон моего офиса, и мы вас зачислим.

Боб поблагодарил ее, пожал ей руку и ушел.

Пройдя с полквартала, он обернулся и увидел, что Мария наблюдает за ним. “Как вам Джилл?” — спросила она, и Боб сделал этакий половинчатый жест. Тут Мария улыбнулась, развернулась и поскакала вверх по ступенькам, чем весьма удивила Боба; до того он как-то не видел в ней скакунью вверх по ступенькам.

* * *

На следующий день утром Боб позвонил в Американскую ассоциацию волонтеров, а позже на неделе получил по почте пакет цветных брошюр с фотографиями довольных на вид пожилых людей — довольных на вид людей в инвалидных колясках. Еще там было сопроводительное письмо, в котором решение Боба протянуть руку помощи оценили хвалебно, прям погладили по головке, но, однако же, известили, что существует загвоздка, которая заключается в том, что следует пройти проверку, вроде как ветеринарный контроль, прежде чем ААВ официально примет его в свои ряды.

Субботним утром он поехал в заведение на Бродвее, которое специализировалось на таких делах, как фотографии на паспорт, нотариальные заверения и отпечатки пальцев, — как раз последнее от него и требовалось. Отпечатки его были отправлены в какое-то, как он себе представлял, подземное обиталище роботов, в бункер с базой данных, где под непробиваемым стеклом хранится черный список, по которому жизненную историю Боба проверят на предмет проявлений экстремальной жестокости и отклонений от норм морали. Боб не думал, что возникнут проблемы, и они не возникли, но все-таки он усомнился в себе, вспомнив опыт прохождения через барьер-детектор на выходе из аптеки, когда в голове поневоле всплывал вопрос, не сработает ли охранная сигнализация, даже если ты ничего не стащил.

Вообще говоря, Боб по жизни не был ни особенно плох, ни особо хорош. Как многие, как большинство, он держался осевой линии и, не сворачивая с пути, чтобы наказать недостойных, достойным тоже не слишком рвался помочь. Так что же случилось? Почему именно сейчас? Он и сам толком не понимал. В ночь перед его первым официальным походом в Центр в качестве волон-

тера ему приснилось, что вот он входит туда, и его так же говорливо, поддразнивая, встречают, как того субъекта в здоровенном берете. Видение коллективного приятия отрадно пьянило, но, когда Боб на следующее утро вошел в Центр, особенного внимания это не привлекло.

— Привет, — сказал он, но никто даже не взглянул на него, и он понял, что придется самому прокладывать себе путь к заметности, чтобы заслужить право быть увиденным этими людьми, и это, на его взгляд, было и справедливо, и правильно.

Боб разыскал Марию, которая разговаривала по телефону в своем темном неприбранном кабинетике. Она указала Бобу на заднюю часть Большой комнаты и, подняв большой палец, пожелала ему удачи; вскоре он уже стоял на подиуме перед аудиторией в двадцать душ. Он кратко представил себя и выбранный текст; поскольку это первое выступление состоялось за несколько дней до Хэллоуина, он решил начать с рассказа Эдгара Аллана По “Черный кот”. Чтение шло, в общем, неплохо, пока на третьей странице хозяин кота не вырезал ему перочинным ножом глаз, и треть небольшой аудитории вышла из зала. На четвертой странице все тот же несчастный кот

был вздернут за шею и повешен на ветке дерева, и теперь все остальные поднялись, чтобы уйти. После того как комната опустела, вошел бормочущий что-то себе под нос уборщик с ручной тележкой и принялся складывать стулья.

Мария подошла к Бобу с выражением “я же вам говорила”, написанным на лице.

— Я же вам говорила, — сказала она.

Боб шел домой по октябрьской погоде. Поток листьев, струясь вдоль дороги, подталкивал его к дому, выкрашенному в цвет мяты, местоположению его жизни, где он проходил сквозь время, из комнаты в комнату. Дом стоял в изгибе тихого тупичка, и всякий раз, когда Боб выходил на него, ему становилось уютно. Не свидетельствуя о мирском преуспевании, дом был хорошо устроен, удобно обставлен и обихожен. Ему было сто с лишним лет, мать Боба купила его у человека, который его построил. Этот человек, ослепнув на склоне лет, к каждой стене внутри дома прикрепил отрезок толстого, щетинистого морского каната, пропущенный через тяжелые латунные проушины, прибитые на уровне талии, чтобы направлять его в кухню, в ванную, спальню, вверх по лестнице и вниз, к мастерской в подвале. После того как этот человек умер и собственность

сменила владельца, мать Боба не стала снимать эти поручни, не из эстетических соображений не стала, а просто забыла; и когда она умерла и Боб унаследовал дом, он тоже оставил канаты на месте. Кое-где они залохматились, и иногда Боб налетал бедром на проушину, но ему нравилась эта особенность дома, обогащавшая его особой историей, нравилась на вид и нравилось, как канат колется, когда проходишься по нему ладонью.

Он вернул сборник По в мягкой обложке на его место на полке для книг в мягкой обложке. Он собирал книги с подросткового возраста, и в половине комнат стояли битком забитые полки, а в коридорах высились аккуратные книжные башни. Конни, когда-то жена Боба, иногда спрашивала его, зачем он так много читает. Она считала, что читает Боб больше, чем в целом принято, для личного удовольствия, и ставила вопрос так: не симптом ли это духовного или эмоционального вывиха. Боб же считал, что, по сути, вопрос состоял в следующем: *почему ты читаешь вместо того, чтобы жить?*

По мере того как день катился к концу, а Боб все переживал и переживал то, что случилось с ним в Центре, он пришел к выводу, что не в том беда, что он отнесся к заданию чересчур серьезно,

а в том, что серьезности ему не хватило. Даже не перечел рассказ предварительно! На первых же страницах там мучают и вешают кота — какая еще причина нужна, чтобы чтение провалилось! Он позвонил Марии, объяснил, почему у него не вышло, и сказал, что хотел бы попробовать еще раз. Мария вздохнула, что прозвучало как “нет”, но потом сказала “да, ладно, как пожелаете”, и следующие шесть дней Боб провел, готовясь к своему возвращению. Он составил программу, несколько рассказов и отрывков из произведений побольше, по его мнению, тематически связанных; кроме того, он написал введение, в котором объяснял, чем определен его выбор. Он сам себе удивлялся, что столько времени уделяет этой затее, но остановиться не мог, да и не хотел.

В ночь перед вторым чтением спал он плохо и на тридцать минут раньше нужного прибыл в Центр, где в Большой комнате уборщик расставлял стулья и снова что-то там бормотал. Боб стоял на трибуне, готовясь к выступлению; Мария подошла и спросила, можно ли ей взглянуть, что он в этот раз выбрал. Он пододвинул к ней стопку, и она полистала книжки одну за другой.

— Эта ваша фамилия, Комет, она что, русская? — спросила она.

— Нет.

— Но все эти книги написаны русскими!

— Так и есть.

Она вернула стопку Бобу.

— А вы читаете книги, которые написали нерусские?

— Конечно, — сказал он. — Я просто подумал, что людям может быть интересно доискаться до точки, где культуры перекликаются, и выявить политические взгляды, выраженные окольно.

— Ну, может, и так, — сказала Мария.

Очевидно, она считала, что его опять ждет провал, однако пожелала удачи и удалилась.

Люди понемногу стекались; народу пришло поменьше, чем в прошлый раз. Боб начал с заявления, которое выучил наизусть.

— Зачем вообще читать? Зачем кто-то вообще это делает? Зачем это делаю я? Разумеется, тут есть желание уйти от действительности, для которого жизнь дает полно оснований, и чтение, разумеется, утешает. Но, кроме того, чтение — это еще и способ примириться со случайностью нашего бытия. Читая книгу, плод наблюдательного, сочувствующего ума, мы вглядываемся в человеческую природу со всеми ее удивительными особенностями и говорим себе: “Да, сущая правда,

только я не знал, как это выразить". Так образуется братство: мы понимаем, что не одиноки. Иногда голос автора знаком нам с самой первой страницы, с первого же абзаца, даже если автор жил в другом столетии и в другой стране. — Боб поднял свою стопку русских. — Чем объяснить это чувство родства? Я искренне верю, что в наших лучших проявлениях мы едины, мы связаны неким звеном, некими узами. Жизнь, проведенная мною за чтением, подтверждает это. Этим чувством, этим чудом я хочу поделиться сегодня с вами. Я прочту выдержки из русского канона. Мы начнем с Гоголя — выбор очевидный, но очевидный не просто так. Язык, может быть, чуточку слишком литературный, но эмоциональная составляющая, я думаю, злободневна как никогда.

Боб начал с "Шинели". Он читал чистым, жизнерадостным голосом, с верой в скрытую красоту и суровый комизм произведения. Он знал, что сумел бы достучаться до этих людей, если б только они отдались словам, но не успел он дочесть до середины, как слушатели принялись ерзать. Вскоре они встряхнулись, начали приходить в себя, а потом и вовсе встали и разошлись. К тому времени, как Боб закончил рассказ, в комнате оставались только Чирп и вечно бормочущий

уборщик, который уже принялся уныло складывать стулья. Когда бормотание сделалось различимым, Боб узнал, что это его, Боба, уборщик винит в том, что считает лишней работой. Боб запретил себе извиняться; он собрал свои книги и по дороге к двери задержался, чтобы подойти к Чирп, которая, как он теперь увидел, крепко спала. Солнцезащитные очки сидели у нее на носу криво, он их поправил.

Он прошел мимо длинного стола в Большой комнате, за которым сидели люди, только что ушедшие с его чтения, бок о бок под тихо жужжащими люминесцентными лампами; кто болтал, кто не болтал, кто разгадывал кроссворд или судоку, кто безопасными ножницами кромсал цветную бумагу.

Боб пошел попрощаться с Марией, но увидел через дверь, что она снова разговаривает по телефону. Он постоял немного, а потом взял и ушел. Он чувствовал злость, что было совсем не свойственно Бобу, и даже поймал себя на том, что жалеет, что вообще пришел в Центр. Начался дождь, он, морщась от капель, спрятал книги под пальто. Отпирая входную дверь, услышал телефонный звонок. Свет в кухне не горел; в сумраке дня там царили чистота и порядок. Он положил

книги на столешницу, снял трубку настенного телефона и сказал в нее: “Алло”.

Это была Мария.

— Что случилось?

— Ничего не случилось. Вы оказались правы, и я ушел.

— Но вы не сказали мне, что уходите.

— Вы говорили по телефону.

— Ну, минутку бы подождали.

— Я несколько минуток прождал.

— Вы что, дуетесь? — спросила Мария.

— Да, есть такое.

— Что ж, не могу сказать, что вы этого не заслужили, и после того, как я положу трубку, можете дуться, пока не лопнете, а пока, будьте добры, повремените немного, ладно? Потому что у меня есть идея. Вы меня выслушаете?

— Я уже слушаю.

— Я хотела бы предложить, чтобы вы и дальше приходили сюда, но без книг.

— Приходить без книг?

— Да, оставьте книги дома, Боб.

— И что же я буду делать?

— Только одно: быть здесь.

— Быть там и делать что?

— Быть здесь, быть рядом. Те, о ком мы заботим-

ся в Центре, в большинстве своем на все махнули рукой, все пустили на самотек. Есть такие, кто принимает свое состояние как должное или совсем его не осознает; но есть и такие, кто сбит с толку, кого это тревожит и даже, бывает, злит. Вы же из тех, кто крепко держит штурвал, и, я думаю, ваше присутствие пойдет на пользу. Я вот только что говорила по телефону с фокусником, который хочет устроить для нас представление со всякими трюками, иллюзиями и прочей ловкостью рук. Половина людей в Центре, кто больше, кто меньше, страдает старческим слабоумием. Мир в целом и без того уже ловкий трюк, и в мою задачу не входит лишний раз ткнуть их носом в то, как он ненадежен. Вот тут-то, на мой взгляд, в дело входите вы.

Она стала уговаривать Боба, чтобы он навестил их на следующей неделе, но он изобразил холодность, заявил, что ему нужно подумать, и повесил трубку. По правде сказать, его тронуло то, как оценивает его характер Мария. Предназначение, которому Боб следовал в своей профессиональной жизни, было отставлено, когда он вышел на пенсию, но теперь, снова востребованная, эта часть его личности ожила. Утром он позвонил Марии, чтобы согласовать расписание, и в на-

значенный день безо всяких книг, как и было предписано, прибыл в Центр.

* * *

Однако, что ему делать, он толком так и не уразумел.

— Просто пройдитесь туда и сюда, — сказала ему Мария. — Спросите кого-нибудь, как его зовут, сами представьтесь. Это как коктейльная вечеринка, но без коктейлей.

Она дружески подтолкнула его в сторону Большой комнаты, и он обошел длинный стол, приветственно махая каждому, кто попадался ему на глаза, в надежде получить приглашение задержаться. Но никто не выказывал намерения с ним заговорить, и он шел и шел себе дальше. В дальнем конце комнаты женщина по имени Джилл снова сидела за карточным столом, складывая очередной пазл.

Боб направлялся к ней поздороваться, когда в противоположном углу, перед настенным телевизором, заметил электронное инвалидное кресло, а в нем — того самого субъекта в здоровенном берете. Из двух сценариев этот показался Бобу поперспективней; он подошел и пододвинул стул. Субъект в берете наблюдал

за теннисным матчем в мужском одиночном разряде; Боб воспользовался его увлеченностью, чтобы повнимательней разглядеть, и нашел его внешность воистину уродливой, без прикрас. Мясистая физиономия была испещрена чернильно-лиловыми пятнами, как у отравленных газом; широкий нос изрыт лопнувшими сосудами, в ямках и впадинах; ни бровей, ни ресниц, а белки глаз розовые до красноты. В совокупности все это складывалось в образ Гаргантюа, нездоровые привычки и гигантский аппетит которого десятки лет укороту не знали. Но при этом все-таки чувствовалась в нем некая одушевленность, говорившая о неуемной жизненной силе, некая мутантная разновидность веселости.

Какое-то время спустя к ним подошла, толкая тележку, медсестра с бейджиком “Нэнси” и золотым распятием на цепочке.

— Пора вам перекусить, мальчики, — сказала она.

В тележке лежали в четыре ряда округлые комочки, по десять в ряд, половина беловатая и шерстистая, половина темно-коричневая, похожая на миниатюрную модель мозга.

— И что это за штуки такие? — осведомился субъект в берете.

— Колобки. Эти с арахисовым маслом, а эти с изюмом.

— И что бы это могло быть?

— Колобки с арахисовым маслом — это арахисовое масло, скатанное в шарик и посыпанное кокосовой стружкой. Колобки с изюмом — это просто пюре из изюма.

— И кто же их сотворил?

— Я и сотворила.

— Могу я предположить, что при этом вы были в перчатках?

Медсестра Нэнси устало перевела взгляд на Боба, словно ища свидетеля, и оживилась, когда поняла, что раньше его не видела.

— Вы новенький? — спросила она.

— Да, здравствуйте, меня прислала Ассоциация волонтеров.

Оледенев лицом, она тут же откатила тележку подальше от Боба.

— Извините, но волонтерам полдник не полагается.

— Да все в порядке, — сказал ей Боб.

Этих ее колобков ему совсем не хотелось. Но она держалась настороже, как будто Боб мог ринуться и схватить какой-то из шариков, если она отвлечется. Субъект в большом берете напялил

очки для чтения и, запрокинув голову, воззрился поверх тележки.

— В кладовой что, не хватает продуктов? — спросил он. — Потому что, по-моему, дерьмо это, а не перекус.

— В самом деле, дефицит есть. И если вы думаете, что это легко — поддерживать здоровую диету, имея то, что мне дают, то сделайте одолжение и подумайте еще раз. А кроме того, я, кажется, уже говорила, что я думаю о вашем выборе выражений, разве нет?

— Действительно, говорила, но, должно быть, у меня выветрилось из головы. — Он снял очки для чтения. — Это неопровержимый факт, Нэнси. Сколько мне можно?

— Сколько вы хотите?

— Сколько я могу взять?

— Можете два.

— По два и тех, и других?

Медсестра Нэнси оглянулась через плечо, сдержанно кивнула, и мужчина в большом берете взял с тележки четыре колобка и разложил их в ряд на своем широком предплечье. Медсестра укатила тележку, а мужчина расторопно умял шарики один за другим, глядя в пространство, жевал и глотал, жевал и глотал. Закончив, он пе-

ревел дух, смахнул крошки с ладони и протянул Бобу руку для пожатия.

— Лайнус Уэбстер.

Он спросил, как зовут, Боб сказал.

— Боб Космик? Вы что, в шоу-бизнесе?

Боб еще раз повторил свое имя, но Лайнус отвлекся на телевизор и замахал рукой, требуя тишины.

На корт вышел квартет теннисисток, и он, тыкая в пульт управления, стал увеличивать громкость, все больше и больше, куда больше, чем целесообразно или приемлемо. Игра началась. Пространство Центра наполнилось звуками, которые издавали девушки, теми всем телом прочувствованными свидетельствами физического напряжения, которые в любых других обстоятельствах были бы сочтены непристойными.

Джилл, резко развернувшись на стуле, свирепо уставилась на Лайнуса.

— Он снова, снова! — выкрикнула она.

Боб поймал взгляд Джилл и помахал ей; ответом ему был взгляд безучастный. Перекрывая шум телевизора, он спросил:

— Как ваши пальцы?

Джилл недоуменно отпрянула.

— А ваши? — потребовала она.

Боб, покачав головой, объяснил:

— Большие пальцы у вас на руках. Когда я был здесь в прошлый раз, вы их не чувствовали, разве не помните?

Радость прозрения отразилась у нее на лице.

— Ах да! — сказала она, повернулась обратно лицом к стене и продолжила со своим пазлом.

Между тем Лайнус, откинув голову на спинку инвалидного кресла, вовсю наслаждался своими аудиопереживаниями, но тут вернулась медсестра Нэнси, выхватила пульт у него из рук и выключила телевизор. Шумно дыша, она впилась взглядом в физиономию Лайнуса.

— Стыд и позор! — сказала она.

— Если Господь не хотел, чтобы нам нравилось, как люди крякают, ухают и пыхтят, зачем Он вообще эти звуки придумал? — спросил Лайнус.

— Ладно, тогда знаете что? Только что вы на двадцать четыре часа лишились права смотреть телевизор. Может, стоит подняться в свою комнату, отдохнуть и все хорошенько обдумать?

— По-моему, за мою жизнь я и так уже обо всем передумал. Хотя остальное звучит вполне здраво. — Лайнус подмигнул Бобу и укатил в своем кресле.

Из-за стены донесся приглушенный лязг —

заработал дряхлый лифт, который доставлял жильцов в комнаты на втором и третьем этажах.

— Не поощряйте его, — сказала медсестра Нэнси, придвинула стул поближе и принялась щелкать каналами. Остановилась она на религиозной программе, и Боб ушел от телевизора, решив еще раз попытать счастья за длинным столом.

Он сел и принялся расспрашивать тех, кто поближе, как они поживают. Ответом ему был скорее вялый шумок, чем внятная речь, и общий настрой, сколько мог судить Боб, сводился к сдержанному разочарованию: дела шли не так уж плохо, это правда, но утверждать, что все так уж и хорошо, тоже никто не станет.

Чирп сидела напротив Боба и вроде как смотрела прямо на него, но поскольку она была в своем обычном прикиде, сказать наверняка было невозможно. Он помахал ей, она не помахала в ответ.

Посреди стола стояла корзинка с безопасными ножницами, клей-карандашами и обрезками бумаги всех цветов. Припомнив свои библиотечные дни, когда приходилось развлекать группки детей, Боб взял лист плотной красной бумаги, разгладил его рукой по столу, сложил вдвое, а потом еще и еще, так что получалась гармошка.

Делал он это как бы и рассеянно, но все-таки со старанием, чем пробудил любопытство кое-кого из соседей; а к тому времени, когда он взял ножницы и начал гармошку разрезать, все уже были поглощены тайной того, что творит этот новичок.

Наконец, развернув гармошку и продемонстрировав шаткую цепочку из человечков, держащихся за руки, он увидел, что его тактический ход увенчался успехом: он удивил этих мужчин и женщин, он развлек их и даже произвел впечатление. Кое-кто захотел и сам сделать такую бумажную цепочку, так что Боб провел краткий инструктаж. Прошло совсем немного времени, и группа утратила интерес к этому делу, но Боб был доволен своим первым контактом.

Брайти шла по комнате с таким видом, словно у нее, решил Боб, имелась какая-то почти срочная цель.

— Привет, Брайти, — сказал он.

Завидев Боба, она изменила курс, двинула прямо к нему, схватила за руку и выговорила:

— Представьте! Случалось, я отказывалась от танца, когда меня приглашали.

— В самом деле? — сказал Боб.

Сделав кокетливую мину, она поднесла к губам

воображаемую сигаретку:

— Пожалуй, я этот пересижу, спасибо. — Отбросила сигаретку и покачала головой на себя из воспоминания. — О чем я только, черт побери, думала?!

— Вы следовали своим желаниям и настроениям.

— Желаниям и настроениям — вот сказанул! — Она шлепнула Боба по руке и поспешила туда, куда до того направлялась.

Мария уведомляла Боба, что у него нет расписания, он волен приходить и уходить, когда заблагорассудится. Решив, что на сегодня с него хватит, он попрощался с группой за длинным столом и направился в кабинетик Марии. Дверь была приоткрыта, Мария разговаривала по телефону. Она глянула вопросительно, и Боб показал ей большой палец. Она сделала знак “окей”, он отдал ей честь и изобразил пальцами, что уходит. Она снова сделала знак “окей”, он поклонился и вышел из Центра.

Шагая вниз по дорожке, Боб осознал, что воспрял духом; Мария не ошиблась, внеся поправки в его визиты. Дорогой домой он думал о том, что попал в такое место, где, сближаясь с его обитателями, он, скорее всего, не соскучится никогда.

* * *

Джилл являла собой неподдельно негативную особь, вечно и неизменно незадачливую и посему не выпадавшую из состояния яростного негодования. Каждодневно сталкиваясь со свидетельствами того, что судьба настроена к ней враждебно, каждодневно прилагала она усилия не только вынести их, не только им противостоять, но еще и отыскивать людей, которым можно о них поведать. Оказалось, что Боб готов ее слушать, причем так охотно, что это, сказала она ему тихонько, будто бы по секрету, который она могла каким-то образом от него уберечь, в то же время делясь, это весьма необычное дело. В этом смысле он определенно представлял для нее ценность, но она никогда не была ласкова с ним, никогда не благодарила. Боб был словно лошадь, которую гнали и гнали, не кормили и не поили, а лишь хлестали. К концу того месяца, когда Боб наладился приходить в Центр безо всяких книг, у него с Джилл установилось что-то наподобие дружбы или того, что могло бы сойти за дружбу в ее вселенной. Ни намека на теплоту, нет, — фамильярность, короткость, устраивающая ту и другую стороны. Как Джилл к нему относится,

Боб сказать бы не смог, но сам он находил ее интересной и всякий раз, направляясь в сторону Гериатрического центра Гэмбелла — Рида, с нетерпением предвкушал, о чем пойдет у них разговор.

Это был мрачный день, непогожий. Боб прибыл в Центр и застал Джилл на обычном месте. Она сидела, трудясь над очередным пазлом в тысячу кусочков: пустыня на рассвете, небо над ней усеяно воздушными шарами. Она не поздоровалась с Бобом, потому что никогда не здоровалась, но он знал: она заметила, что он здесь, и знал: рано или поздно она заговорит, и первая же ее фраза укажет на жалобу. Так оно и случилось, с глубоким вздохом она сказала:

— Я так устала, Боб.

— Что, тяжелая ночь? — спросил он.

— Глупый вопрос.

Боб взял кусочек пазла и начал искать, куда бы его пристроить.

— Я-то думал, глупых вопросов не бывает, — сказал он.

— И где ж ты такое слыхал? В интернете? — скорбно хмыкнула Джилл, рьяная противница интернета. Боб почти что и не бывал на его необъятных просторах, но Джилл в какой-то момент

решила, что он его горячий поборник, а такое пристрастие заслуживало только презрения.

Она стала разминать руки, объясняя Бобу, что к ней наконец-то вернулась чувствительность в больших пальцах.

— Это хорошо, — сказал он.

— Ничего хорошего, — возразила она.

Оказывается, онемение больших пальцев сменилось пульсирующей болью там же в суставах. Упоминание о боли в пальце побудило ее задуматься о других видах боли, и, увлекшись, она пустилась в монолог о своих взаимоотношениях с болью: о страданиях юности, потом среднего возраста и о том, как она справляется с этим в настоящее время. Она трактовала боль как наказание, как кару, как епитимью, и, наконец, заговорила о том, насколько от боли больно.

— Ты ведь понимаешь это, не так ли? — спросила она.

— Что я понимаю?

— Что это всего лишь боль, когда что-то болит.

Вроде бы очевидность, но потом, как уже не раз случалось, под влиянием Джилл Боб усомнился в том, что считал очевидным. Вспомнил о недомоганиях, которых у него в последнее время становилось все больше, и спросил:

— Но как ты определишь, что такое боль?

— Скажи, ты подскакиваешь непроизвольно, когда сидишь? Зажмуриваешься? Всасываешь в себя воздух рывками? У тебя краснеет в глазах пятнистыми вспышками? Становится страшно, что ты сейчас упадешь?

— Нет.

— Значит, то, что ты испытываешь, — это не боль, — сказала Джилл. — Это дискомфорт, неудобство, всего лишь неприятные ощущения.

— Не боль?

— Неудобство — это не боль.

Ее-то боль почти не проходит, сказала Джилл, к ней невозможно привыкнуть, невозможно не поражаться ей. Хорошо бы ее измерить, определить объем или вес и поделиться этим знанием с врачами, со всеми подряд, с водителями автобусов.

— Люди ахнут, когда узнают, какого она масштаба, — сказала она. — В нынешних обстоятельствах они просто не могут понять. Ты не можешь.

Они трудились над пазлом всерьез, в молчаливом соперничестве. Работая с полной отдачей, закончили сборку за девяносто минут; как только картинка была готова, Джилл разобрала ее, сложив детальки в коробку.

Потом они сидели перед телевизором и смотрели шоу, в котором четыре взрослые женщины кричали друг на друга перед живой аудиторией, состоявшей из взрослых женщин, которые тоже кричали. Между женщинами на сцене и женщинами в аудитории установилась непостижимая эмоциональная связь; чем сильней голосили те, кто на сцене, тем громче взрывались криками те, кто сидел на зрительских местах. Временами обе группы вопили во всю мощь; что-то многовато страстей для часу дня, решил Боб.

Во время рекламной паузы наступила относительная тишина, и Боб повернулся к Джилл, которая пристально на него смотрела. Она спросила Боба, рассказывала ли она ему о своем новом обогревателе, и он ответил, что нет.

— Расскажи сейчас, — попросил он, и она рассказала.

Ее новый обогреватель, устройство непостоянное и таинственное, стоял себе в хладном молчании, несмотря на включенность, а затем с ревом оживал посреди ночи, когда Джилл спала, перегревался и дымил черным вонючим дымом, из-за чего включалась пожарная сигнализация, которая будила соседей, которые дважды вызывали пожарных, которые натоптали грязи своими

ботинками и погубили навеки ковры Джилл. В ее исполнении это было типичнейшее из плетений словес в том смысле, что проблемы слоились одна на другую и в совокупности их было не расплести. Слушая подобные истории, легко было заблудиться в зеркальном лабиринте ее несчастий; но Боб хотел быть полезным и потому старался докопаться до корня всякой проблемы в надежде найти решение и хоть чуть-чуть да улучшить качество ее жизни.

— Надо отключать обогреватель перед тем, как ложишься спать, — сказал он.

— Так я отключила, Боб. О том я и говорю. Он сам включился, когда был вытащен из розетки.

— Не думаю, что такое возможно, — сказал Боб.

— Во всяком случае, он точно был не включен, когда я легла спать, — сказала она.

— Ну, это не одно и то же.

Они посмотрели рекламу стирального порошка, в которой плюшевый мишка вкрадчиво подбирался к стиральной машинке.

Джилл сказала:

— Его ждет разочарование.

Крикливая передача возобновилась, но Джилл отключила звук.

— Я еще не закончила про обогреватель, — сказала она.

— Давай, — сказал Боб.

Джилл помолчала, словно сбираясь с духом.

— Думаю, он не просто обогреватель, — сказала она наконец.

— А что же еще?

— Думаю, обогреватель — он что-то вроде оракула.

— Как это? — переспросил Боб.

— В его повадках таится угроза.

— Ты веришь, что у обогревателя есть повадки?

— Я верю, что он транслирует дурные вести.

— И что он тебе транслирует?

— Он пророчит мне будущее.

— И какое оно у тебя?

— Сам подумай об этом, Боб. Где у нас жарко?

Боб глянул в глаза Джилл в поисках признаков легкомыслия, но увидел там только ее темную вращающуюся галактику. Она, понял он, признается в трудной и пугающей правде, что, с одной стороны, лестно, потому что Боб достиг статуса доверенного лица; но, с другой стороны, такое признание ввергало в тревогу.

Он спросил Джилл, сохранился ли у нее чек.

— Это была распродажа, — прошептала она. — Возврата нет.

Когда крикливое шоу закончилось, Боб распрощался с Джилл и направился в кабинетик Марии.

— Джилл считает, что обогреватель у нее — медиум и что он сулит ей дорогу в ад, — сказал он.

Мария посмотрела Бобу через плечо, а затем снова на Боба.

— Ладно, — сказала она и помахала, прощаясь, но Боб задержался в дверях.

— Я могу поделиться своим наблюдением? — спросил он.

— Можешь.

— Не хотелось бы нарушать границу.

— Выкладывай, Боб.

— Я думаю, для Джилл было бы лучше жить здесь постоянно.

Мария поморщилась.

— Джилл на полный день?

— Я знаю. Но, может, она будет не такой джиллистой, когда почувствует себя под защитой.

Мария вдохнула и выдохнула.

— Давай я об этом подумаю, — сказала она.

Боб пошел домой новым путем, подлинней и окольным. Не потому, что хотел убить время,

он был не из тех, кто его убивает, а потому, что знал, что, когда он войдет в свой дом, закончится та часть дня, когда может произойти что-то неожиданное, а к этому он пока готов не был. Шел, поглядывал в окна домов, проходя мимо, и задавался вопросом, что там за люди внутри.

Вечерело, осенняя сырость висла в воздухе, тротуары влажно блестели, но дождя не было. Вскоре в окнах зажглись огни, кое-где из труб повалил дым. Те ли это долгие сумерки, о которых предупреждала его Джилл? Бобу порой казалось, что внутри у него колодец, глубокий, облицованный кирпичом столб холодного воздуха со стоячей водой на дне.

* * *

Будучи безмерно тщеславен, Лайнус Уэбстер страдал из-за своего физического состояния, и тем больше страдал, что, как выяснил Боб, была в его жизни пора, когда самооценку свою он напрямую связывал со своей внешностью. Как-то он показал Бобу черно-белый снимок загорелого богоподобного молодца в облегающих плавках, мускулистого гиганта ростом в шесть с половиной футов, безупречного почти до неправдоподобия. Боб и не понял, зачем он ему этот

снимок показывает.

— Кто это? — спросил он.

— Это я.

Боб взял фотографию и всмотрелся в нее повнимательней.

— Нет, это не ты.

Лайнус достал старое удостоверение личности и протянул его Бобу. На снимке в удостоверении — та же не придраться чистая кожа, та же пышная блестящая грива, совпадало и имя. Боб понял, что двое этих разительно непохожих людей — одна и та ж личность, и растерялся, что на это сказать. Лайнус рассеянно глянул на снимок, пожал своими округлыми плечами и заговорил:

— Я блудил, Боб. Я спаривался с ожесточенной решимостью политического убийцы, да еще и с любовью к своему мастерству, как заправский ремесленник. И я думал, что это будет продолжаться вечно, что именно из этого и состоит жизнь — из прелюбодейства со всякой красивой партнершей, как за шведским столом, бери, на что упадет глаз.

— Но что же произошло? — спросил Боб.

— Хотел бы я преподнести тебе историю поярче и позанимательней. Хотел бы, чтобы там были главы, эпохи, но нет. Просто, скажем, в

воскресенье я был еще сущий Пол Ньюман, и стоило щелкнуть пальцами, как мир услужливо расстилался у ног. Но вот пришел понедельник, и утром я не смог поймать такси. Лифтер сказал: “Поднимайся по лестнице”. Мойры столковались вышвырнуть меня вон. Некоторое время я все еще оставался хорош, но если цветок не поливать, он точно засохнет. Внимание к моей персоне иссякло, плоть увяла, и быстро. Что-то угасло в моем мозгу.

— Мозг изменился?

— Правила изменились, пока я спал. Меня вышвырнули из членов.

— Наверное, тебя сглазили.

— Не смейся, — помрачнел Лайнус. — Я правда думаю, что да, сглазили. Прокляли. Думаю, моя история как раз про это.

— А кто ж проклял?

— Да было кому. В романтической сфере мне недоставало устойчивости, долговечности. Это смущало, тревожило, и не только женщин, но и их матерей, отцов, дядьев, бойфрендов, мужей — раз за разом. За каждым свиданием крылись десятикратные неприятности. Я даже спрашивал себя иногда: стоило ли оно того?

— И как, стоило?

— Скорее всего, что нет. Но я все равно продолжал в том же духе. — Его передернуло. — Знакомо тебе такое понятие, *Schadenfreude*?

— Да.

— Ты знаешь, что это значит?

— Да.

— Это значит, что люди желают тебе зла и рады, если тебе досталось.

— Я знаю, что это, Лайнус. Злорадство. С немецкого *Schaden* переводится как вредный, злобный, *Freude* — как радость.

— Ладно, яйцеголовый, уймись. Здесь ведь полно говнюков, которые говорят, что знают то, чего на самом деле не знают. А теперь позволь спросить тебя вот о чем: ты сам когда-либо злорадство испытывал?

Нет, Боб не испытывал, по крайней мере, в сколько-нибудь значительной степени. Ему показалось вдруг, что это достойно сожаления; не сигнал ли того, что он прожил жизнь не на всю катушку? Лайнус согласился, что да, вероятно, так оно и есть.

— Это мощная штука, — сказал он, — все равно что стать свидетелем какого-нибудь тайфуна или землетрясения. Я имею в виду, что оно страшно, конечно, но в то же время каким-то образом еще

и прекрасно. Как и велит природный социальный порядок. Думаю, что злорадство существовало еще до того, как на свете появился немецкий, ну или всякий другой язык.

— Зависть входит в число семи смертных грехов, — заметил Боб.

— Но злорадство — не просто зависть, Боб. Это зависть плюс месть. Знаешь, захватывающее было зрелище, видеть, как люди, кипя ненавистью, раскрываются, становятся сами собой. Некоторые из моих врагов так и говорили открыто, четко выражались в том смысле, что мне дано слишком много и что, на их взгляд, это несправедливо, что в их намерения входит установить равновесие.

— Что, применив силу?

— Иногда и силу, да. Но чаще то была мелкая подлость или попытка унизить. Также обычным делом было нашептать женщине, которой я добился, какую-нибудь неприглядную ложь про то, что я за личность. Или, пуще того, нашептать ей неприглядную правду про то, что я за тип. Но все это приводило всегда к одному и тому же, к моему возврату на рынок плотских утех. Торговля шла бойко, испытывать муки совести мне было недосуг — ну, до тех пор, пока меня вовсе не выставили за дверь.

Лайнус принялся потчевать Боба подробностями своих сексуальных приключений, наклонностями определенных партнерш, их причудами и повадками. Бобу претил грубый мужской взгляд на тайны и козни любовных игр. Безгрешен он не был, но чувствовал, что относиться к блуду как к спорту, в котором есть шанс победить, значит попирать и унижаться одновременно, и всегда мучил вопрос: зачем? Зачем это делать, когда можно, как вариант, не делать?

Лайнус заметил, что Боб не разделяет его энтузиазма, и замолчал.

— Никогда не увлекался подобными разговорами, — объяснил Боб.

— Солдату свойственно вспоминать битвы.

— С другими солдатами вспоминать.

— А разве ты не солдат, Боб? Ты что, не ходил на войну?

— Я любил только одну женщину в своей жизни, — сказал Боб.

Лайнус закрыл глаза и вдруг замер, будто погрузился в дремоту. Некоторое время спустя он шевельнулся, слегка приподнял веки и тихо спросил:

— А как по-немецки обозначить жалость, презрение и благоговение, когда их испытываешь

все сразу, одновременно?

* * *

Боб сидел в закутке у окна на кухне и наблюдал за соседом, жившим напротив, тот сгребал листья у себя во дворе. Сосед был небрит, физиономия красная, одутловатая; кто знает, может, его мутило с похмелья, но выглядел он довольным, и Боб представил себя на его месте: запах земли и истлевающих листьев, сердце бьется чуть чаще, когда забрасываешь их в мусорный бак.

“А ведь воскресенье сегодня”, — подумал Боб, из чего следовало, что ему самому стоило бы заняться домашним хозяйством, так что вторую половину дня он провел на чердаке. Мысль состояла в том, чтобы навести там порядок, но, забравшись наверх, он наткнулся на архив документов и собрание памятных вещей, скопившихся за целую жизнь, про намерение свое позабыл, принялся их пересматривать и погрузился в себя.

По всей длине чердачного помещения тянулась стена из картонных коробок, аккуратно сложенных до самого потолка так, словно они поддерживали собой вес крыши. Боб всю жизнь испытывал болезненный страх перед аудитом,

чем объяснялась его склонность ничего не выбрасывать: некоторые квитки хранились лет уже пятьдесят. Эти бумажки, если их рассматривать все вместе и одну за другой, могли бы служить дневником своего рода — в совокупной информации крылись сюжеты.

Взять, к примеру, отношения Боба с табаком: каждый день в течение семи лет он покупал пачку сигарет, вплоть до своих двадцати четырех, когда познакомился с Конни, которая тут же развернула запретительную кампанию, и тогда покупки утратили регулярность: передышка в неделю, потом снова за курево, перерыв в месяц, возврат и, наконец, после всяческих разбирательств — полный отказ от искушения никотином. Страсть к куреву притупилась, сошла на нет, но потом, когда Конни сбежала с лучшим другом Боба, Итаном Огастином, Боб купил блок сигарет и в тридцать шесть часов выкурил взатяг целых три пачки, сидел, очумелый, уязвленный, и прикуривал одну от другой. После этого ему стало так плохо, что его плоть приобрела зеленоватый оттенок, а слюна почернела, и он выбросил оставшиеся пачки в мусорное ведро и с тех пор уже больше ни одной сигареты не выкурил.

Боб нашел корешок билета на дневной показ

фильма “Мост через реку Квай”, на котором был в тот день, когда умерла мать, и, глядя на корешок, вспомнил, как вошел в больничную палату, насвистывая музыкальную тему из фильма, и увидел, что кровать матери пуста и разобрана до матраса. Он вызвал медсестру, которая вызвала еще двух сестер, те заполонили комнату и стали виться вокруг, проявляя заботу. Свистящая мелодия, застрявшая в голове, наложилась на бедствие момента так, что у него вырвался тихий, дрожащий смешок, который он заглушил кулаком и который был принят медсестрами за проявление горя. Боб закашлялся и спрятал лицо. Он смеялся тогда не над смертью матери, а над смертью вообще, или над жизнью в целом, или над тем и другим в равной мере. На самом деле, кончина матери ввергла его в страх, страх перед тем, как он станет жить сам по себе в этом доме — том самом, где он жил и сейчас. Это было еще до знакомства с Конни и Итаном, но уже после того, как он устроился в библиотеку.

Тут Бобу пришло в голову просмотреть бумажки, помеченные датой его свадьбы, 12 июля 1959 года. Ему казалось, что за этот день чеков и билетиков должно быть много, но отыскался только один. Расписка была карандашом,

дрожащей рукой и вся заглавными буквами: “воскр × 3 — ван ван шок”. Ниже была указана сумма в 2 доллара 75 центов. Еще ниже, прямыми буквами скоропись: “Поздравления + пожелания удачи! (Она тебе точно понадобится!!!)” Боб призадумался над распиской, не в силах поначалу понять, о какой покупке там речь.

Понемногу в сознании сложилась картинка: он, Конни и Итан сидят у киоска, в котором продавалась газировка, кроме них там никого нет, и все они пьют молочный коктейль. За десять минут до этого, на другой стороне улицы, в мраморных залах мэрии, где царила прохлада, Конни и Боб поженились, а Итан был у них шафером. После церемонии все трое стояли на тротуаре, прикрывая глаза от летнего солнца. Боб, довольный донельзя, смотрел на свою новехонькую жену. “Ты — Конни Комет”, — сказал он ей. “Что есть, то есть”, — сказала она. И когда Итан спросил: “И что теперь?” — Конни взмахнула рукой и указала букетом на киоск с газировкой на другой стороне широкого бульвара.

Они трое взяли друг друга под руки и сошли с тротуара; улица была пуста, но возникла машина, которая мчалась на них, сигналя, что приближается. Пустившись групповой рысью,

они проскочили перед автомобилем, но затем Конни высвободилась из цепи и, развернувшись, успела швырнуть букет в открытое окно машины, когда та проносилась мимо. Водитель, пугало скоростных дорог, вцепился в руль так, что белели костяшки пальцев; букет упал ему на колени бомбой замедленного действия, и было радостно видеть, как седан соскальзывает через всю ширину дороги, в итоге с визгом свернув направо, на улицу с односторонним движением, и пропадает из виду.

Продавец газировки, старик в бумажной шляпе, нахлобученной на крапчатую голову, кивнул, когда трио уселось на красные кожаные табуреты. Он понимал, “что им надо”; по его словам, молодожены нередко приходили к нему после церемонии. Конни попросила продавца угадать, кто жених, и тот, оглядев Боба и Итана, сказал, что, никаких сомнений, это Итан. Они все расхохотались, и Боб громче всех, в надежде скрыть, как сильно задела его ошибка продавца газировки. Старик смутился; он потрепал Боба по руке и сказал ему:

— Просто он как-то сияет, но, конечно же, ты тот самый, я теперь вижу, что это ты. У тебя этот затравленный взгляд “я-больше-не-одинок, да-

вай-разделим-все-навсегда”.

Он спросил их, чего они хотят, и они заказали — ванильный коктейль, еще ванильный и шоколадный.

Сорок шесть лет назад этот клочок бумаги выдали едва узнаваемой версии того Боба, который теперь стал стариканом на чердаке, и сердце его заглохло, когда он убирал расписку обратно в папку. Мелькнула мысль, что лучше покончить с раскопками, но следующая коробка, попавшаяся ему на глаза, была надписана рукой Конни, и он не смог отвести от нее глаз. “Айлин-Сью” — гласила надпись, так Конни именовала “Армию спасения”, куда они отдавали ненужное.

Открыв коробку, он обнаружил аккуратную стопку своих же вещей. В самом верху лежал домашний халат, кричащее, красное с золотом одеяние из вискозы; “искусственный шелк”, указывалось на бирке, и сбоку от этих слов была пришита маленькая зеленая пальма, согнутая ураганным ветром. Примерив халат на себя, он увидел, что рукава его подвернуты в два слоя, что означало, что последней, кто надевал халат, была Конни.

Дома Конни часто носила его одежду и всегда так же подворачивала рукава, так что, случалось,

он наденет какую-нибудь рубашку или какой-то свитер, а на них вот такой ее след. Или еще была у нее привычка как закладку использовать свои светлые волоски; он сам видел, как она вырывала волос и вкладывала между страниц книжки, к которой, может, вернется, а может, и нет. Боб, бывало, потом на них натыкался. Пока они были вместе, это ощущалось как сладостное напоминание о том, что она есть, но после того, как они с Итаном Огастином сбежали, Боб, наткнувшись, испытывал прилив горечи, подобный тому, когда тебя немилосердно обжулили. Теперь, по прошествии десятилетий, когда в доме не осталось ни следа Конни, а Итан давным-давно мертв, подвернутые рукава выглядели донельзя несуразно. Он стоял, глядя на свои костлявые, некрасивые запястья, и вспоминал, как поддразнивал Конни тем, что ей приходится закатывать рукава, дескать, ручки у нее, как у тираннозавра рекса, даже странно, что ей удается дотянуться до носа и высморкаться.

Боб раскатал рукава халата и вернулся к осмотру коробки. Там лежало несколько пар брюк и рубашек на пуговицах, довольно точная картина того, что Боб носил в пятьдесят девятом или шестидесятом году. Это сбивало с толку, потому что

ни одна из вещей не была старой или поношенной, и не то чтобы у Конни с Бобом хватало денег разбрасываться и легкомысленно относиться к покупкам — нет, одежду покупали нечасто и выбрасывали только тогда, когда она приближалась к распаду. Впрочем, у Конни действительно имелось твердое мнение по поводу некоторых предметов одежды из гардероба мужа; если она не одобряла его рубашку, она могла сказать ему: “Мне не нравится эта рубашка”. Если он надевал ее еще раз, она говорила: “Давай обсудим, как нам изъять эту рубашку из нашей жизни”. Вспомнив об этом, Боб выработал гипотезу, состоявшую в том, что в коробку попали те из его вещей, от которых Конни хотела избавиться. Почему коробка не добралась до “Армии спасения”, было загадкой, на которую он не мог ответить — может, дело было в том, что их брак распался до того, как коробка заполнилась.

На дне Боб нашел платье Конни. Летнее платье на тонких бретельках, изношенный хлопок цвета выгоревшей на солнце кости с разноцветными крапинками: красными, синими, желтыми и зелеными. Боб платье помнил, но представить в нем Конни не мог — он видел в нем скорей предмет материальной культуры, чем сувенир. Но его

потянуло с ним пообщаться, он достал платье из коробки и принес с чердака. Надел на плечики, а те повесил на гвоздь, вбитый в незанятую больше ничем стену на кухне, и уселся в своем закутке, чтобы обдумать как само платье, так и те ощущения, которые оно у него вызывало.

Он унесся мыслью назад, и показалось, что он помнит, как видел ее, освещенную солнцем, в этом платье на заднем дворе. Может, этого вообще не было, но на вид воспоминание выглядело вполне реальным, и он погрузился в него, мыслями одновременно где-то далеко и тут, рядом, когда краем глаза увидел, что платье на плечиках движется и колышется. Потребовалось несколько секунд, чтобы вникнуть, в чем дело: оказалось, он повесил платье над обогревателем, — но за этот короткий срок Боб испытал бездонный ужас перед видением призрака.

Его накрыло радостью облегчения, он покачал головой сам на себя, но не отвел взгляда от танцующего, раздувающегося платья. Это Конни смеялась над ним так, как смеялась, когда они были влюблены, — беззлобно, сочувственно, с заботой о нем и его глубоком и неизменном бобстве. “Что за странное воскресенье”, — подумал он, проведя пальцами по слежавшимся складкам

на рукавах своего халата. Когда обогреватель перестал нагнетать воздух, платье, как кинопленка, прокрученная задом наперед, снова утихло и присмирело.

* * *

После того как Конни сбежала с Итаном Огастином, в жизнь Боба вошло осознание опасности окружающего пространства. Столь наглядная, выпуклая и красочная обида со стороны тех единственных, кого он любил, представлялась таким воплощением жестокости, что он отказывался воспринять ее как реальность. Он узнал, что если чье-то сердце разбить вдребезги, то человек впадет в глубочайшую, неподдельную оторопь. В первые несколько недель он взял отпуск в библиотеке и лишь изредка выходил из дому, ел и спал, как придется, а не согласно привычному распорядку, и гигиенические навыки его оказались утрачены. Предался мечтаниям о том, как бы покончить с собой, и стал взвешивать плюсы и минусы каждого способа, утешаясь мыслью о долгом и безмятежном сне.

Конни прислала письмо, которое он выбросил, не читая; Итан прислал письмо, которое он сжег.

Через шесть месяцев после того, как Конни

сбежала, Боб получил по почте бумаги с заявлением на развод. Он сел, все прочел, подписал и отправил обратно, а потом пять часов бродил по городу без пальто и простудился, обеспечив себя телесной хворью под стать состоянию духа. После двух тяжких ночей температура спала, утром он отлепил себя от матраса и направился в ванную. Там, глядя в зеркало на свою бледную физиономию, он решил, что умирать погодит и что пришло ему время вернуться к своему прежнему поведению, прихотливым и щепетильным привычкам.

— Ладно-ладно, — сказал он себе.

Одиннадцать месяцев спустя он узнал, что Итан погиб. Боб завтракал в кафе через дорогу от дома, сидел на барном стуле, разложив по стойке газету, и просматривал раздел местных городских новостей, когда на глаза ему попалось имя Итана. Не успев еще прочитать заметку, он понял, что произошло что-то страшное, и слез со стула, словно отстраняясь от новости, которая на него надвигалась. Он прочел ее стоя, уперев руки в бока и глядя вниз на газету:

ВОДИТЕЛЬ
СБИЛ ПЕШЕХОДА И СКРЫЛСЯ. 26-летний

> Итан Огастин погиб вчера днем под колесами автомобиля перед своим домом на северо-западе Портленда. Мистер Огастин недавно переехал в этот район со своей женой Конни Огастин 22 лет. Свидетелей происшествия нет. Всех, кому что-то известно по этому поводу, просят обратиться в Портлендское отделение полиции.

Боб сел, сложил газету и встал. Из кафе он вышел, позабыв там газету, явился домой, сел на диван в гостиной и стал глазеть на клубки пыли, порхающие туда и сюда. Тем же днем, позже, проходя через кухню, он увидел в окно, что на подъездной дорожке стоит на четвереньках мужчина. Решив, что тот, наверное, повредил себе что-то или, может, у него приступ, Боб поспешил на помощь.

— Вы в порядке? — спросил он.

Тот с тяжким вздохом поднялся, опершись на передний бампер Бобова “шевроле”.

— Да в целом, в общем, да, в порядке, спасибо. Вы Боб Комет?

Он представился полицейским детективом, достал блокнот, ручку и попросил Боба сказать,

где он находился в момент смерти Итана Огастина. Боб ответил, что был на работе, и детектив записал адрес и номер телефона библиотеки. Потом он спросил, нельзя ли ему позвонить, и Боб проводил его на кухню и постоял рядом, слушая, о чем разговор. Повесив трубку, детектив сказал Бобу: “Все чисто, приятель. Не провожайте, я сам найду выход”. Боб понял, что детектив, когда он увидел того на подъездной дорожке, проверял, нет ли на переднем бампере “шевроле” вмятин, которые его, Боба, уличат в причастности к преступлению.

Остаток дня и вечер он провел, дожидаясь, чтобы множество разноречивых переживаний, вызванных известием о смерти Итана, срослись в единое целое, но срослись они только на следующее утро, когда он понял, что чувство, которое он испытывает, есть, по сути говоря, торжество справедливости.

Он не верил ни в Бога, ни в судьбу, ни в карму, ни даже в удачу, но не мог отделаться от ощущения, что смерть Итана пришла как отклик на предательство, которое он, Итан, совершил; и Боб не в силах был притворяться, что хотел бы, чтобы Итан остался жив. Боб понимал, конечно, что есть благодать прощения, и к благодати стремился,

но что тут было поделать? По отношению к нему была совершена мерзость, положившая конец тому строю жизни, который он считал наилучшим; виновные наказаны, и он отомщен, да как, высшей мерой! Он воспарил, зарядился энергией, и всем своим существом насладился несчастьем, постигшим Итана.

Ночами он теперь прибирался, отмывал каждую комнату, каждый предмет в доме до такой чистоты, что это выходило за рамки необходимого и разумного, он будто пытался вернуть имущество к состоянию новизны: отдраил внутренность бачка туалета, оттер трубы под кухонной мойкой.

В какой-то момент он признался себе, что готовится к возвращению Конни. Ну, да, пусть так, и что тут такого? Дайте же помечтать человеку. Лучше всего, если это случится в дождь, ночью. Раздастся стук в дверь, и она будет стоять там, вся насквозь промокшая. “Ох, Боб”. Боб откроет ей дверь и пойдет на кухню варить кофе, все молча, ни слова не говоря. Чем меньше речей, тем лучше, решил он. И не стоит со всех ног торопиться ее прощать; нужно выстроить все так, чтобы казалось, будто он, кто его знает, может, совсем не в силах впустить ее обратно в свою жизнь.

Эти выдумки и сценарии годились, чтобы скоротать время, но нетерпеливое ожидание само по себе стало пыткой, да и Конни с возвращением тянула дольше, чем он того ожидал. Тогда он сказал себе, что с течением дней вся история становится только ярче; чем длительнее разлука, тем прекрасней будет соединение. Но в итоге случилось то, что ничего не случилось. Пошли дожди, но в дверь никто не стучал. Наступила весна, на клумбах поднялись торчком многолетники, которые посадила Конни, а телефон не звонил.

Долгое и на редкость сырое лето Боб коротал, сидя на диване, но в почтовый ящик не упало ни одного письма. Конни не дала о себе знать. Осознание того, что все впрямь и вконец завершилось, утвердило его в том, что чужая душа — потемки, и несколько месяцев после он ковылял по жизни подранком.

Со временем оказалось, что он вернулся к тому пути, каким шел до того, как встретил Конни и Итана. С ними он здорово отклонился от прежнего образа жизни; они увели его от уединения, от привычных занятий и помыслов, обращенных внутрь. Теперь, заново ступив на знакомую почву, он возобновил свое по ней продвижение.

Бобу было покойно внутри себя, в окружении книг и историй про то, как жили другие люди. Призадумавшись, можно было поддаться впечатлению, что живет он уныло, но на самом деле он был счастлив, счастливее большинства, сколько сам мог судить. Потому что скука — болезнь века, а Боб никогда не скучал. Надо было ходить на работу, и работу свою он любил. Работа была нужная, значимая, он хорошо с ней справлялся. Когда ж с работой было покончено, при нем остались заботы о доме и о себе и, конечно же, чтение, живое для него дело, вечно движущееся, ускользающее, растущее, и он знал, что оно не может закончиться, закончиться чтению не суждено.

В конечном счете именно эти свойства, отсутствие тщеславия и умение радоваться самым малым своим успехам, позволили Бобу на протяжении десятилетий не жаловаться на жизнь. Он любил Конни, которая любила его, но это была случайность; он любил Итана Огастина и понимал, какая удача иметь настоящего товарища, но это тоже была случайность. Смириться с предательством и потерей двух этих людей оказалось непросто, но горе себя изжило. Осталось что-то вроде осадка: ощущение пропажи, прорехи, воспоминание о том, как было больно, — но и это,

далекое, смутное, затаилось где-то в углу его мятного дома. Он мог забыть о том, что случилось, когда на час, а когда и на год. Но если вспоминал, то никогда с горечью, а как пережитое неудобство. Дни загладили боль, так проявляло себя милосердное устройство вещей.

Ударили в колокол, и он запел от удара, но шум насилия угасал, уходил все дальше и дальше, и вскоре колокол, как ни в чем не бывало, стал холодным, немым.

* * *

Однажды февральским утром Чирп убежала, и когда Боб днем пришел в Центр, ее еще не нашли. Было холодно, и становилось все холодней, и, похоже, предстоял снегопад, а пальто Чирп висело на крючке у двери. Мария сама натягивала свое пальто, когда Боб подошел к ней. Она объяснила, что произошло, и попросила Боба посидеть у телефона на случай, если Чирп вернется или кто-нибудь вдруг позвонит и сообщит, где ее видели. Центр был пуст; Боб спросил, куда все подевались.

— Тех, кто ночует дома, не привезли, — сказала Мария. — Дороги обледенели, и маршрутки не ходят. Весь персонал отправился на поиски Чирп, а

постоянные обитатели сидят у себя по комнатам. Оставайся у телефона, хорошо? И поглядывай в окно, ладно?

Она торопливо вышла, а Боб уселся за ее стол, сунул нос туда и сюда, но интересного ничего не нашел. Тут раздался скулеж инвалидной коляски Лайнуса, и вскоре тот припарковался у входа в кабинет.

— Тук-тук.

— Кто там?

— Чем это мы тут занимаемся?

— А чем мы тут занимаемся?

— Сидим, как киски, когда могли бы со всеми искать Чирп.

— Странно слышать, что тебя это волнует.

— Обидно слышать, что тебе это странно.

— Приношу извинения, обижать не хотел.

— Извинения принимаю.

Боб указал на стол.

— Мария попросила меня остаться на случай, если Чирп вернется или кто-нибудь насчет нее позвонит.

— Вот как? Но давай все равно пойдем. Посмотри-ка, вот срань господня, идет снег!

Да, повалил снег, теперь и Боб это заметил, косой, обильный. Подумав, каково сейчас Чирп

на улице в ее розовом спортивном костюме, Боб склонился к тому, что Лайнус прав, им следует мобилизоваться и принять участие. Когда он произнес это вслух, Лайнус хлопнул в ладоши, щелкнул пальцами, ткнул во что-то, развернул коляску и отчалил за вещами, которые были в его комнате наверху.

Боб оделся для улицы и стоял в полутемной Большой комнате, дожидаясь возвращения Лайнуса, когда заметил Джилл, которая сидела за своим карточным столиком и с прищуром вглядывалась в очередной пазл. Не так давно Джилл с подачи Боба стала постоянным обитателем Центра. Однако, вопреки его теории, непохоже было, чтобы это развеяло валящиеся на нее несчастья; Боб решил, что выглядит она даже трагичней обыкновенного, и пригласил ее составить им с Лайнусом компанию. Глянув в окно, она покачала головой.

— А ничего, если ты тут побудешь одна? — спросил Боб.

— Да пока вроде все хорошо.

Лайнус и Боб вышли из Центра и начали осторожно спускаться по скользкому от снега зигзагу дорожки. Почти уже добрались до тротуара, когда в дверях появилась Джилл и окликнула Боба:

— Обождите меня! Я передумала! Я с вами!

Боб показал ей два поднятых больших пальца, и Джилл нырнула обратно в Центр, чтобы одеться. Двигалась она так ловко и споро, что Боб удивился. Он вообще-то, поскольку раньше ни разу не видел ее стоймя, а также в контексте всего, что происходило в Центре, предполагал, что она не ходячая.

— Я и не знал, что Джилл может ходить, — сказал Боб Лайнусу, и тот выразил лицом изумление.

Когда Джилл к ним спустилась, Лайнус, теперь уже улыбаясь, сказал:

— Боб не знал, что ты можешь ходить, Джилл.

Джилл остановилась как вкопанная.

— Ты что ль охренел, Боб?

— Эй, полегче, — сказал Боб.

— Вот тебе и “эй”. — Подняв руку в перчатке, она потрогала свои волосы. — Черт, я забыла надеть шапку. Сейчас вернусь. Подождете меня, ребята, ладно?

— Подождем, — сказал Боб.

— Только поторопись, — сказал Лайнус.

Джилл замерла.

— Хорошо, но вы точно меня дождетесь?

— Да, — сказал Боб.

— Только поторопись, — повторил Лайнус.

Джилл пошла назад по дорожке к Центру.

— Ты ее ранил, Боб, — сказал Лайнус. — Ты задел ее чувства.

— Вообще-то, это ты ее ранил, трепло.

Лайнус поднял невинный взгляд.

— Откуда мне было знать, что следует промолчать?

— Это само собой разумелось.

— На каком основании?

— На основании правил приличия.

Джилл, вернувшись без шапки, объяснила, что входная дверь заперта, не открыть, и попросила у Боба ключ, но ключа ни у него, ни у Лайнуса не имелось. Небо с приближением сумерек темнело, снег все валил и валил, температура снижалась.

— Что будем делать? — спросила Джилл.

— Ответ на любую проблему — деньги, — уверенно заявил Лайнус. — Итак, сколько у нас есть? Лично у меня — ничего.

— У меня тоже, — сказала Джилл.

— У меня есть, — сказал Боб.

— Если Боб при деньгах, значит, мы тоже, Джилл. Теперь возникает вопрос, на что мы потратим наше богатство?

Шутить Джилл была не в настроении. Снег

лупил ей в лицо и хрустальной лепешкой укладывался поверх ее миниатюрной головки. Боб лепешку стряхнул, снял с себя вязаную шапку и натянул ее Джилл на уши. Поступил он так отчасти из рыцарских соображений, но, кроме того, в надежде, что жест сработает в его пользу и Джилл простит ему его светский промах. Она поблагодарила его, не бурно, но искренне, что он воспринял как знак того, что между ними, скорее всего, мир.

Троица отправилась искать Чирп, Лайнус во главе, Боб и Джилл, плечом к плечу, шествие замыкали. Не одолев еще двух кварталов, Лайнус указал на кинотеатр через дорогу:

— А не пойти ли нам на дневной сеанс?

— Мы ищем Чирп, Лайнус, — напомнил ему Боб.

— Но там подают пиццу, пиво и шоколад. И, может быть, именно там находится Чирп, ты не думал об этом? Просто сидит и ждет нас.

Боб, ничего не ответив, пошел дальше.

Лайнус сказал:

— Это огромная ошибка.

Боб промолчал.

Лайнус развернул коляску лицом к Бобу.

— Зачем я только тебя послушал!

— Но это была твоя идея, — напомнил ему Боб.

— Хорошо, — сказал Лайнус, — напраслину возводить не будем.

Так или иначе, но Боб признал, что долго на улице в такую погоду оставаться нельзя, и когда он предложил зайти куда-нибудь и выпить горячего кофейку, Лайнус пришел в восторг. Джилл, однако же, покачала головой.

— От кофе меня в туалет тянет.

— Так сходить в туалет — чем это не приключение? — спросил Лайнус.

Джилл не знала, что на это сказать.

— А как насчет горячего шоколада? — спросил Боб, и Джилл ответила, что вот эта идея пожалуй что неплоха. Боб сказал, что знает одно заведеньице в четырех или пяти кварталах отсюда; на это Джилл сказала: “Если нам так далеко идти, мне понадобится курнуть”, — и остановилась выбить сигарету из пачки. Боб заметил, что у нее “Кэмел”. Он в свое время тоже курил “Кэмел”, и ему захотелось попросить у Джилл сигаретку. Он этого не сделал, но потом, когда Лайнус сказал: “А давай выкурим по сигарете, Боб, Джилл нас угостит”, — сам себя удивил тем, что согласился мгновенно.

Джилл выдала каждому по “кэмелу” и пустила

по кругу свою зажигалку. Все закурили и постояли немного, вдыхая и выдыхая, наслаждаясь проказливым днем, несмотря на погоду.

— Это все равно как когда школу прогуливаешь, правда похоже? — сказала Джилл.

Она была почти что в добром расположении духа, ни Лайнус, ни Боб раньше ее такой никогда не видели, так что втайне обменялись между собой взглядами в честь такого ее необычного состояния.

Снегопад, казалось, замедливался по мере того, как никотин пропитывал их тела.

Лайнус сказал:

— Я не курил уже десять лет.

А Боб сказал:

— А я с 1959 года.

И оба перенеслись в те времена, когда они беззаветно любили табак; ужасающая эффективность процесса захватывала и в равной мере пугала.

Они продвигались к кафе, а Джилл, все более оживляясь, радостно повествовала о повальных смертях в ее семействе. Все поумирали, кроме нее, сказала она. Мать и отец, это само собой, но они умерли не от старости, а в расцвете сил от ужасной хвори. От того, что Джилл назвала пожирательными болезнями.

— Что ты имеешь в виду, пожирательными? — переспросил Боб.

— Я имею в виду болезни, которые их пожрали.

— Это, что ль, как проказа? — спросил Лайнус.

— Да, они с проказой одного вида. Не припомню сейчас правильное название. Что-то там экзотическое, с кучей букв.

Сестры Джилл были мертвы, и ее братья были мертвы, дядья и тетки были мертвы, и двоюродные братья были мертвы. Ее муж был мертв, но что-то в ее тоне подсказывало, что эта трагедия не столь значительна, как другие. Боб предположил про себя, что Джилл угодила в ловушку многолетнего брака с тираном-алкоголиком; но, когда он осведомился, был ли союз воинственным, Джилл покачала головой.

— О боже, нет. В Кларке не было ни капли злой крови. Но вот кисляк он был, это да.

— Кто? — переспросил Лайнус.

— Душнила.

— Это как? — переспросил Боб.

— Да скучный же, — недовольно пояснила она. — Но это был его сознательный выбор.

— А, так он был против веселья.

— Категорически. Он тяготел к торжествен-

ному.

— А вот это достойно восхищения, вообще говоря.

— Спасибо, Боб. Я и вправду им восхищалась. Мне просто хотелось, чтобы он хоть иногда сводил меня поужинать и угостил гамбургером. — В последний раз затянувшись, она бросила свой “кэмел” на проезжую часть. — Когда Кларк умер, я подумала, что вот теперь-то уж оторвусь. Но нет. Нет, так и не вышло.

Боб сказал, что удивлен тем, что она испытывает тягу к развлечениям.

— Еще как испытываю! Разве ты не видишь, что я их ну прямо жажду?

— Нет, не вижу. А ты, Лайнус?

— Нет, я тоже не вижу, — сказал Лайнус. — Но ведь меня — и вы, надо полагать, это заметили, — по правде сказать, очень мало волнует чье-нибудь умонастроение, кроме моего собственного.

Они прибыли в кафе и укрылись там за обитыми искусственной кожей стеночками кабинки. Отогреваясь в тепле, решили побаловать себя полноценным питанием. Бобу захотелось позавтракать; Джилл и Лайнус последовали его примеру, и вскоре им принесли еду. Джилл взяла

с тарелки ломтик бекона, принюхалась к нему, протянула им и спросила:

— Как вам этот бекон, не странный ли у него запах?

Боб сказал, что не хочет нюхать чужой бекон, а Лайнус сказал, что хочет, и Джилл поднесла ломтик к его носу.

— Бекон как бекон, — был его приговор, и Джилл бекон съела.

Они закончили трапезу, но посидели еще немного; на улице все валил снег. Боб приметил кого-то в розовом, кто шел мимо кафе, и поспешил через зал, чтобы выглянуть за входную дверь, не Чирп ли там, но это была не Чирп. Когда он вернулся к столу, Джилл и Лайнус обсуждали высадку на Луну.

— Нил Армстронг хитрил, — говорил Лайнус, — что его озарило и свои исторические слова он сказал под влиянием момента, а на самом деле он их вызубрил, эти слова, еще до того, как "Аполлон" от земли оторвался. Он всегда утверждал, что сымпровизировал эту фразу, между тем как факты свидетельствуют о том, что ее сочинили в рекламном агентстве, нанятом через НАСА.

— Ну, может, он все-таки сам сочинил, — сказала Джилл. — Может, действительно придумал

с лету.

— Да я тебя умоляю, — сказал Лайнус. — Ты когда-нибудь вглядывалась в глаза Нила Армстронга? В них космическая пустота. Можно прозреть вечность в его красивеньком личике. Да он список покупок и то составить не смог бы. Конечно, нам нравится видеть в астронавтах воплощение всего самого распрекрасного, что наличествует в нашей коллективной плоти и крови, но на деле наполовину они манекены, а может, и больше, чем наполовину.

— Один маленький шажок для человека, — низким голосом произнесла Джилл.

— Для человечества! Он так сказанул, что острота весь смысл потеряла. Но сам Армстронг потом говорил, что там тогда связь прервалась, а сказал он все правильно.

— А ты что, не веришь ему? — спросил Боб.

— Питаю сомнения.

— Похоже, ты об астронавтах вообще неважного мнения.

— Любовью не горю, это точно.

— Ну, — сказала Джилл, — все-таки, на мой взгляд, мистер Армстронг справился со своим делом неплохо.

— Можешь утешиться тем, немногословная по-

друга моя, что твое мнение совпадает с мнением большинства.

— А интересно, что сказал второй человек на Луне? — сказал Боб.

И Лайнус ответил:

— Базз Олдрин: “Прекрасный вид. Великолепное запустение”.

— И что ты скажешь на это?

— Первая часть ужасает своей банальностью. Но вторая в общих чертах указывает, что все-таки выражена человеческим существом, хотя это совсем не то существо, с которым я был бы рад, знаете ли, выехать на природу.

Они направились обратно в Центр, следуя своим собственным отчасти занесенным вьюгой следам и колеям от инвалидной коляски.

Прибыв на место, они обнаружили, что Чирп нет как не было, а Мария сдалась и позвонила по 911, в службу спасения. Мускулистый полицейский чуть постарше лет двадцати беседовал с ней у нее в кабинете.

Боб, Джилл и Лайнус притаились у двери; Мария попала в беду, им хотелось как-нибудь ее защитить.

Наконец полицейский отошел от стола Марии и, задержавшись в открытом дверном проеме, с

хлопком закрыл свой блокнот.

— Сделаем, что можем, это понятно, — сказал он. — Но, согласитесь, разве не срам, что мы вообще оказались в такой ситуации?

Мария сокрушенно кивнула, но, когда полицейский отвернулся, вскинула в затылок ему средний палец, отчего Лайнус заерзал у себя на сиденье, возбудился почти до одури; позже он с восхищением опишет этот жест словами “ай, молодец”. После того как полицейский ушел, Мария заметила, что Боб, Джилл и Лайнус вернулись.

— Где, черт возьми, ты был? — спросила она Боба, отведя его от остальных.

— Мы ходили искать Чирп, — сказал он.

— В такую погоду? Так поздно? Ты не можешь взять и вывести отсюда человека, никому не сказав, Боб. У Джилл до того низкое давление, что она практически при смерти. И с Лайнусом так много всего не так, что я даже не знаю, с чего начать список. Они оба на грани — в любой момент могут рухнуть.

— Мы все слышим! — выкрикнул Лайнус.

Мария оттащила Боба на несколько шагов дальше.

— Ну, и что скажешь?

— Ладно, извини, — сказал он. — Ты что, на

меня злишься?

— Разве ты не видишь, что злюсь?

— Похоже, что злишься.

— Так я и злюсь! Все время, пока я втолковывала этому надутому говнюку всякие сведения про Чирп, я знала, что обязана сказать ему и о том, что вы трое тоже пропали. Но я просто… я просто не смогла это сделать.

Схватившись за щеку, она вроде как обмерла. Но тут в кабинете зазвонил телефон, она прогнала Боба и ушла туда, закрыв за собой дверь.

Из лифта вышагнула Брайти и подошла к остальным.

— Я продрыхла весь чертов день напролет, — сказала она. — Что тут без меня было?

Лайнус вводил ее в курс дела, когда Мария, выйдя из кабинета, объявила, что сейчас приедет сын Чирп.

— У Чирп есть сын? — удивилась Брайти.

— Да. И, похоже, он в гневе. — Сказав это, Мария вернулась в свой кабинет и легла головой на стол.

Собравшиеся меж тем обсуждали таинственную биографию Чирп. Поделились всей имевшейся у них информацией и обнаружили, что ее нет; о Чирп они ничего не знали.

— Даже имени у нее нет, — сказала Брайти.

— Она Чирп Такая-то, — услужливо подсказала Джилл.

Брайти покачала головой.

— Нет, это я дала ей такое имя, когда ее сюда привезли. Чирп — это как птичка поет, понятно?

— Но она совсем не поет, — сказала Джилл.

— Да, Джилл, я это заметила. В подоплеке прозвища — ирония. — Она посмотрела на Боба и Лайнуса. — Старайтесь не отставать, дети.

— А Брайти — это прозвище тоже? — спросил Боб.

— Кто дал тебе зеленый свет переходить на личности? — поинтересовалась Брайти.

Сага о Чирп продолжалась до поздней ночи, и Боб задержался в Центре гораздо дольше обычного. От того, что он там находился, особого толку не наблюдалось, но вечер был отмечен таким ощущением бдения, оторваться от которого он не смог.

С наступлением темноты Большая комната внешне преобразилась: свет, исходящий от бра, приглушили, деревянная отделка приобрела медовый оттенок, Центр снова выглядел как поместье, каким он когда-то был. Боб и Лайнус играли в карты, а Джилл наблюдала за игрой и

комментировала ее в духе циничного теледиктора, который думает, что игроки его не услышат.

— Это был глупый ход. Жадничать нехорошо.

Они играли на гроши, но что-то в том, как эти гроши сгребались со стола и выкладывались на стол, пробудило в Лайнусе азартный порыв, и он высказал идею, что Бобу следует одеться и сходить в магазин за пачкой билетиков моментальной лотереи из тех, которые требуется поскрести.

— Ты хочешь сказать, что мы пойдем вместе? — спросил Боб.

— Ну, нет.

— А кто оплатит покупку?

— Я, — сказал Лайнус.

На самом деле Боб был не против пройтись; он снова надел пальто и вышел из Центра. Снаружи все было тихо; снег больше не падал, но землю он покрыл слоем в фут, а в небе всходила луна. Вдалеке проехала одинокая машина, и Боб шагал себе в охотку, компостируя ботинками нетронутый снег.

Войдя в “Севен-Илевен”, он узнал кассира, которого видел тут в прошлый раз, и парень тоже сразу узнал его, соскочил со своего табурета и ткнул двухфутовым прутом для вяления говяди-

ны, будто то была абордажная сабля, в заднюю часть магазина, где у стеклянных дверок стояла Чирп, вцепившись, чтобы не упасть, в ручку и не отрывая глаз от банок-бутылок с охлажденным питьем.

Кассир сказал, что она пришла как раз когда он заступил на смену, целых пять часов назад; и если в первый раз ее присутствие его беспокоило, то теперь он за нее болел, как можно болеть за участницу танцмарафона или за того, кто сидит на верхушке флагштока, соревнуясь, кто продержится дольше, потому что растроган и впечатлен ее преданностью своей туманной задаче.

Боб позаимствовал у кассира телефон позвонить в Центр. Он вызвался проводить Чирп обратно, но Мария попросила, чтобы он остался на месте и дождался “скорой помощи”, и так он и поступил, стоял рядом с Чирп и рассуждал о погоде, хвалил ее за упорство и безуспешно пытался заставить попить воды из бутылки. У нее ноги тряслись от усталости, а когда приехала “скорая”, парамедикам пришлось силой оторвать ее от ручки стеклянной дверки. Она стонала, увозимая на каталке, и руки ее все хватали воздух перед собой.

После того Боб приобрел билетики лотерей

разных видов, всего двадцать штук, по пять на каждого из тех, кто ждал его в Центре, хотя ему в голову не пришло купить их и для Марии.

— Как дела вообще? — спросил он кассира, который сделал жест “да так как-то”.

Боб признался, что в прошлый раз, все эти месяцы назад, забыл заплатить за свой кофе, и вызвался заплатить сейчас; кассир поднял свой прут для говядины над головой Боба, а затем легонько постучал им по его правому и левому плечу.

— От имени и по поручению корпорации “Севен-Илевен” я освобождаю вас от вашего долга.

Боб поблагодарил его и вышел обратно в ночь.

К тому времени, когда он вернулся в Центр, в Большой комнате было уже темно, если не считать света, проникавшего из кабинета Марии, где напротив нее сидел мужчина в синих джинсах и потертой джинсовой куртке. Смотрел он в другую сторону, и что там у него на лице, Боб не видел, но Мария была напряжена, всем телом выражая раскаяние, просьбу простить, стыд.

Лайнус зашипел из глубины Большой комнаты, и Боб пошел присесть рядом с ним.

— Что ты тут делаешь в темноте?

— Шпионю, разве не видишь?

— Где все?
— Пошли спать.
— А где Чирп?
— В больницу отправили.
— Как она?
— Как всегда.
— И это ее сын?
— Ага.
— Злится?
— Еще б. Ты как, билеты купил?

Лайнус приготовил две монетки по четвертаку: он намеревался соскребать защитный слой на всех лотерейках локоть к локтю вместе с Бобом. Боб отсчитал по десять штук на каждого; Лайнус подравнял свою стопку и взял монетку. “Готов?” — спросил он, Боб ответил, что да, и они начали.

Весь день наблюдались приметы прихотливых извивов судьбы, и Лайнус с Бобом прониклись ее молчаливым потенциалом. “Надо ж было в этакой-то денек да сорвать джекпот!” — так они стали бы говорить потом, после выигрыша. Но ничего они не выиграли, ничегошеньки, ни единого доллара, и некоторое время сидели молча, подавленные своей неудачей.

Лайнус сказал:

— Садясь за азартные игры, мы спрашиваем Вселенную, чего мы стоим, и Вселенная, нам на страх, отвечает. — И, прихлопнув рукой по столу, прищипнул край своего берета: — Спокойной ночи, амиго.

— Спокойной ночи, — сказал Боб.

Лайнус укатил, а Боб остался сидеть в темноте, глядя, что там в кабинете Марии. Сын Чирп уже стоял, натягивая перчатки и шапку, и покачивал головой на Марию, которая устало смотрела на него, ничего ему не говоря.

Боб сумел рассмотреть сына Чирп, когда тот уходил из Центра. Лет за сорок, он явно был из рабочих, красивое его лицо было сурово, он что-то бубнил, тихонько, но все еще гневно, и Боб понимал, что для ярости у него основания есть. Но Марию Бобу было жаль больше, чем сына Чирп или даже саму Чирп. Он смотрел, как она встала, как надела пальто, а когда она вышла из кабинета, Боб скрипнул стулом, подавая ей знак, что он здесь; она вздрогнула и прищурилась, вглядываясь в темноту.

— Боб? Что ты там делаешь?

Было уже за полночь. Боб сказал, что хорошо бы она его подвезла.

— Ну, почему ж нет? — вслух сказала Мария

самой себе.

Тесная машинка Марии была полна хлама: всюду валялись пустые картонки от фастфуда и смятые бумажные стаканчики из-под кофе.

Движения на дорогах не было, и Боб руководил:

— Здесь налево. Снова налево. Здесь прямо.

Машинка плавно огибала повороты и проскальзывала мимо знаков “стоп”, а Мария только посмеивалась; она ног под собой не чует, сказала она. Перед домом Боба они остановились.

— Славное местечко, — сказала Мария.

Бобу, который видел, как она расстроена и подавлена из-за истории с Чирп, хотелось утешить ее, напомнить, как все в Центре любят и ценят ее. Мария же, в свой черед, учуяв, что на нее катится некий наплыв откровений, предупредила Боба, что слишком устала, чтобы такое в себя принять.

— Одно доброе слово, и я разревусь, Боб, правда.

— Понял, — сказал Боб, поблагодарил ее за доставку, вышел из машины и заснеженной дорожкой пошел к дому. Только и слышалось, что его шаги да звук того, как отъезжает Мария. Ну, еще перезвон ключей и слабый сип его собственного дыхания. А в доме стояла тишина.

Он поднялся наверх, наполнил ванну, выкупался, надел пижаму и лег, но заснуть не смог. Накинул халат, спустился вниз и сел на диван почитать, но читать не смог тоже. Пересел в кухонный закуток и уперся взглядом в окно.

За окном был мир и покой, снег блестел в лунном свете, нетронутый, если не считать отпечатков, оставленных машиной Марии, и его же следов. Боб думал о событиях прошедшего дня. Никто не поздравил его с тем, что он нашел Чирп, и еще вопрос, поздравит ли кто-то когда-нибудь. “Никто никогда не поблагодарит тебя”, — в первую их встречу сказала ему Мария. Ему пришло в голову, что, если б не Чирп, он вообще не забрел бы в Центр; и как любопытно, что их с Чирп история закольцована в “Севен-Илевен”.

Боб подумал о сыне Чирп, о гневе, который написан был у того на лице, а еще о том, до чего он красив и как это несообразно, что у Чирп в сыновьях такой красавец. И кого-то он Бобу напоминает, будто бы кого-то из знаменитых в прошлом киноактеров или политиков. Или просто лицо из прошлого, какой-нибудь завсегдатай библиотеки? Вопрос растревожил Боба, он решил отыскать ответ.

Включившись, в подвале тяжко вздохнула

топка, от конвертора пошел теплый воздух, и заколыхалось платье Конни, которое Боб так и оставил висеть. Что-то в этом зрительном впечатлении подтолкнуло Боба к ответу, и когда ответ прояснился, Боб на мгновение оторвался от самого себя и воспарил, как если бы его освободили от привязи.

На Итана похож сын Чирп, вот на кого. Боб схватился за рот. Да, он решил эту задачку. Ответ верен. Где-то была у него визитная карточка Марии. Он обошел кухню и обнаружил ту приколотой к пробковой доске рядом с телефоном, который висел на стене. Часы, встроенные в духовку, показывали, что уже почти два ночи, но не позвонить Боб не мог.

Он набрал номер и стал ждать. После четвертого звонка включился автоответчик. Он нажал на рычаг и позвонил снова, и теперь Мария сняла трубку, но не отозвалась.

— Как зовут Чирп? По-настоящему? — спросил Боб.

Марии, не сразу проснувшейся, показалось, что она угодила в еще одну камеру страшного сна, навеянного исчезновением Чирп, сна, в котором за тобой гонятся, а ты убегаешь. Сдавленным голосом она произнесла:

— Конни Огастин.
И повесила трубку.

2
1942–1960

Боб пристрастился к чтению с детства. Все та же старая история про то, как одинокий отрок находит утешение в школьной библиотеке, в то время как его сверстники носятся по спортплощадке, воплями оповещая округу о своих победах и поражениях.

Книги привели Боба в библиотеку, где были библиотекари, что привело к тому, что он стал одним из них. Его первая библиотекарша звалась мисс Миддлтон. Благовоспитанна она была до кротости, Боб ей нравился, и ей нравилось его баловать. Время от времени она пересекала бесшумно комнату и ставила на стол рядом с ним очищенный апельсин или чашку с водой. И не то чтобы улыбалась ему, но одаривала порой мягкой косой усмешкой, в чем Боб усматривал доказательство ее расположения, и впрямь оно так и было.

Читал он исключительно книжки про приключения, читал запоем, с беспримесной, всепоглощающей увлеченностью наркомана — вплоть

до поры, когда наступил подростковый возраст и Боб открыл для себя такие важные литературные темы, как утрата, смерть, разбитое сердце и одиночество, отчужденность.

В выпускном классе средней школы он начал подумывать о том, чтобы выбрать профессию библиотекаря, и способствовала этому дружба или некоторое сродство с человеком по имени Сэнди Андерсон, самоучкой средних лет и скрытым гомосексуалом, который, так уж случилось, подвизался библиотекарем в альма-матер Боба. Приглядевшись поближе к мальчику, Сэнди оценил глубину его литературных интересов и вскоре принялся приобщать его к темноватым по смыслу произведениям, а Боб был рад руководству и польщен тем, что ему предоставлен доступ к той личной программе обучения, которую практиковал Сэнди.

Однажды Боб спросил его:

— Как вы стали библиотекарем?

Сэнди унесся мысленно в прошлое.

— Мне кажется, ради этого я ходил в школу, но, возможно, это просто ночной кошмар, который мне когда-то приснился.

Держался он в духе “видали мы это все!” и ко всему под солнцем и под луной относился

как к шутке; искренние заявления любого толка нещадно высмеивал. Поначалу, когда Боб только проявил интерес к тому, что Сэнди именовал библиотекаризмом, он избегал отвечать на вопросы серьезного юноши напрямик.

— Неплохая идея, Боб, но библиотекаризм, подобно многим прочим узким специальностям, не отвечает насущным запросам общества.

— Что вы имеете в виду?

— Это дело, полезность которого себя исчерпала. Язык был инструментом мышления, и жизнь разума, основанная на языке, была необходимостью в медлительные, вязкие, как сироп, времена наших предков, но у кого сейчас есть на это досуг? Не стало уже ковалей, отливщиков литер, и скоро не станет авторов, издателей, книготорговцев — вся индустрия утонет, как Атлантида; и библиотекаристы увязнут глубже всех в тине.

Однако Боба это не убедило, и Сэнди сказал, что не в силах не признать болезненной страсти в глазах Боба. Он сдался и принес стопку информационных брошюрок о библиотечных школах, где получают необходимую степень. Боб принял их с энтузиазмом, свойственным утру Рождества, когда разбирают подарки, в то время как Сэнди, наблюдая за этим, покачивал головой.

— Ты разбиваешь мне сердце. По сути, тебе следовало бы сейчас брюхатить девушек, всех подряд, которая подвернется.

— Нет, вот это как раз то, что мне нужно.

— Тебе следовало бы состоять в уличной шайке, Боб, и участвовать в поножовщинах.

Боб принес брошюрки домой и показал их матери. Та потрогала кончиком указательного пальца обложку и сделала вопросительное лицо.

— Я намерен пойти в библиотекари, — сказал ей Боб.

— В самом деле?

— Да.

— Позволь спросить, почему?

— Не знаю. Но почему бы и нет?

Мать нахмурилась.

— По-моему, ты еще слишком молод, чтобы задавать себе *этот вопрос*, разве не так?

Боб пожал плечами, и тогда она сказала:

— Я имею в виду, что, как только ты начинаешь задавать себе *этот вопрос*, остановиться не так-то просто. А потом не успеешь и осознать, куда оно все делось, раз — и ты все упустил. — Она посмотрела Бобу в лицо так, словно заглядывала за угол. — Разве нет чего-то еще, чем ты предпочел бы заняться в своей жизни?

— Например? — спросил Боб.

Он-то считал, что так он займет достойное уважения, соответствующее его интересам и способностям место, и ничего похожего на соглашательство, на компромисс в этом не видел. Чего еще ожидала от него мать? Очевидная неприязнь Сэнди Андерсона к этой сфере деятельности обусловливалась причинами личными, связанными с неизбывным разочарованием в жизни; но объяснить себе скепсис матери по поводу выбранной им профессии Боб так ничем и не смог.

Он окончил среднюю школу со средним баллом “А”, то есть отлично, не обретя близкого друга ни в школьном дворе, ни за его пределами. И почему? Некоторые обладают харизмой, то есть способностью внушать симпатию и заручаться преданностью других людей, чтобы употребить их себе на пользу; обратная сторона харизмы — антипатия, тот ужас, когда человек портит жизнь всем в комнате просто одним своим там присутствием. Боб не обладал ни тем, ни другим и при этом не находился посередине между крайностями. Находился он в стороне, сразу выбыв из гонки. С ранних лет у него был дар невидимки; сверстники не мучили его, потому что не замечали, а школьные учителя то и дело забывали

его имя. Из него вышел бы весьма удачливый грабитель банков; он мог бы выстоять сотню опознаний, и никто бы его не признал, он ускользнул бы свободным. Конечно, и у него в школьные годы случались вспышки товарищеского сближения, иногда даже романтического, но ни одна из них не приобрела значимой формы. Дело было в том, что Боб от людей уставал.

Окончив среднюю школу, он сразу же поступил в университет штата Орегон в Портленде изучать библиотечное дело, даже на летние каникулы не прервался. Курс был рассчитан на три года, но Боб справился с ним меньше чем за два. В голове у него был выстроен определенный ход жизни, как декорации на сцене, ожидающие начала пьесы, и хотя счесть его честолюбцем было никак нельзя, двигало им непоколебимое убеждение, что ту жизнь, которую он себе сочинил и на которую надеялся, пора начинать.

Годы учебы прошли непримечательно, но Боб был доволен. Самый ранний урок начинался в десять утра, и дом был пуст, когда он вставал с постели, чтобы встретить свой день. Сами занятия были скучны, и часто скучны впечатляюще. Кто-то из преподавателей предуведомил Боба, что очень немногое из того, чему там учат, ко-

гда-нибудь ему пригодится; и действительно, он обнаружил, что почти ничего из этого так больше и не всплыло. Тот же преподаватель также сказал Бобу, что столько времени на получение степени выделено для того, чтобы отпугнуть бездельников, которые посматривают на стезю библиотекаря как на легкий путь сделать карьеру; Боб потом сам увидел, что это сразу и так, и не так.

Библиотечную школу Боб окончил с отличием, что особых выгод ему не сулило. Он решил было, что на выпускной не пойдет, но мать и Сэнди Андерсон взбунтовались, так что ему подобрали шапочку и мантию, и вот день настал. Вручение дипломов проходило душным летним вечером в открытом амфитеатре, расположенном меж холмов юго-западной части города, на высоковато устроенной сцене. Мать Боба и Сэнди наблюдали за происходящим из толпы; прежде им встречаться не доводилось, но они как-то сразу поладили, наклонялись друг к другу и обменивались шутливыми откровениями. После церемонии мать Боба настояла, чтобы Сэнди поехал с ними на праздничный ужин; когда тот уселся на переднее сиденье “шевроле”, Боба овеяло предчувствием катастрофы.

Они направились в ресторан, где кормили морепродуктами, хотя морепродукты Боб не любил. Сэнди и мать Боба выпили по четыре мартини и так спелись, что совсем уже хором стали поддразнивать Боба, уж больно он, дескать, замкнут и чересчур серьезно к себе относится.

— Подумать только, все это время я жила с библиотекарем и даже не подозревала об этом, — сказала мать. — Скажи мне об этом кто-нибудь, когда он родился, тогда бы я хоть что-нибудь понимала. Ведь годами тихонько сидел у себя в спальне!

Когда мать Боба пошла в туалет, Сэнди сунул Бобу письмо. Сказал, что это подарок на выпускной, только Боб должен открыть его, когда он будет один.

В разгар трапезы настроение у всех было приподнятое, но к тому времени, когда принесли десерт, мать Боба и Сэнди одолела угрюмость, навеянная, надо полагать, джином. Мать притихла, скрестив на груди руки, а Сэнди принялся отпускать в свой же адрес колкие, ехидные замечания, и его обычно насмешливые, добрые, но усталые глаза затуманились, как будто его одолевали мысли порочные. Принесли счет, Боб вызвался по нему заплатить, и, к его удивлению,

никто этому жесту не воспротивился. Боб извлек вялую мать из выгородки и через ресторанный зал и парковку повел к “шевроле”. Устроив ее на заднем сиденье, сел за руль и завел машину. Сэнди стоял в свете фар, безуспешно пытаясь совместить пламя зажигалки с кончиком сигареты. Боб опустил стекло и спросил, что он делает, и Сэнди ответил:

— Я знаю место, которое подходит нам идеально.

— Мне нужно отвезти мать домой.

— Оставь ее, пусть отоспится. Вряд ли это в первый раз будет, когда она проснется в машине одна. И нам столько всего есть отпраздновать. — Он махнул в сторону центра. — Хочешь, я поймаю нам такси? Давай поймаю. Поймать?

Боб дал задний ход, и свет фар отступил от Сэнди.

На полпути домой мать Боба, совсем вдруг проснувшись, спросила:

— Почему ты мне не сказал?

— Что не сказал?

Она сидела, глядя на окружающий мир, а они ехали вдоль него, мимо.

— Ты думал, я что, расстроюсь? Будь справедлив, я все-таки уже пожила, Боб. Послушай, я вот

о чем: можешь держать подробности при себе, но я о том, что мир пестрый, и все в нем к месту, и удачи вам обоим.

Сама мысль о том, что у Боба может быть что-то вроде романа с Сэнди, была настолько далека от его сознания, что он дотумкал, о чем мать толкует, только на следующее утро. За завтраком он попытался ее вразумить, но у нее голова болела с похмелья, и она явно не верила тому, что он говорит. В период между ее знакомством с Сэнди и ее смертью, пятнадцать месяцев спустя, она иногда справлялась, как поживает Сэнди.

— Ты же знаешь, я буду рада, если он к нам зайдет. Отчего бы тебе не пригласить его как-нибудь на ужин? Мы так смеялись с ним на твоем выпускном.

Письмо, которое Сэнди передал Бобу, оказалось пассивно-агрессивным, стабильно увертливым признанием в том, что сам он назвал “приверженностью особой дружбе”, но Боб в этом письме, при всей своей неискушенности, смог разглядеть что-то плотское, любовное. Боб совсем не был решительно против гомосексуализма, но он не разделял чувств Сэнди Андерсона и впал в растерянность, не зная, что же ему ответить.

Шли месяцы, они не обменялись ни словом. Боб

из-за раскола страдал, он скучал по своему другу; ему было интересно, что тот читает. Поступив под руководство грозной мисс Огилви на первую свою библиотечную должность в северо-западном филиале Портлендской публичной библиотеки, он решил сообщить Сэнди эту новость, и Сэнди принял ее с искренним энтузиазмом. Он пригласил Боба к себе на ужин, и Боб с радостью согласился.

Сэнди открыл дверь, окутанный кухонными парами, со свисающей с губы сигаретой.

— Пирог с заварным кремом остывает, — сказал он.

Он привел Боба в свое логово, поставил пластинку Мартина Денни и недолго думая подкатил. Боб отпрянул, вытер рот и выразил свое нежелание; Сэнди посмотрел на него удивленно, почти с недоверием.

— Ты хочешь сказать, что не голубой? — сказал он.

— Да, это так.

Сэнди сел.

— Ты говоришь это потому, что не доверяешь мне? Потому, Боб? Я ведь голубой до кончиков пальцев на ногах.

— Да, я понимаю. Но нет, я говорю это не потому.

— Ха, — сказал Сэнди. — Все это время я был уверен, что ты он и есть.

Боб хотел было извиниться, но ощутил, что извиниться будет неправильно, нечестно и неправдиво, поэтому он сказал:

— Мне жаль, что мы друг друга не поняли.

Сэнди пожал плечами, на лице его отразилось разочарование.

— Эх, сколько времени я на тебя убил, — сказал он.

Бобу было больно узнать, что продолжительное внимание Сэнди к нему коренилось в чем-то ином, помимо приятельства. Сэнди, поняв, что Боба это задело, сказал:

— Прости, Боб. Я знаю, что веду себя, как говнюк. Но, видишь ли, ты должен понять, для меня это был сюжет. Я думал, что это начало чего-то, но теперь оказывается, что нет, и это нормально, но мне понадобится минутка, чтобы прийти в себя.

Они сели за пирог с заварным кремом, и Сэнди поведал Бобу, каково ему придется работать под началом мисс Огилви.

— Огилви — чудовище. Ее называют стервой, и в защиту тех, кто так считает, скажу, что она стерва и есть. Но в то же самое время она и венец творения, лучше ее никого нет. Она держит севе-

ро-западный филиал в наиежовейших рукавицах, оттого к ней благоволит высшее руководство, и оттого она получает все книжные новинки и периодику, раз в пять лет меняет ковровые покрытия, все перекрашивает, благоустраивает и прочее. На самом деле, Боб, возможно, тут тебе повезло. Суть в том, что Огилви не молодеет — как, впрочем, и все мы. Скоро она уйдет, и тот, кто заслужит ее рекомендацию, унаследует, скорее всего, королевство. Это тебе мой совет. Ты меня слушаешь?

— Да.

— Естественным движением всякого разумного молодого человека было бы пойти против нее. Это был бы правильный ход, потому что идеи ее замшели и никуда не годятся, и, правду сказать, ей давно уж пора в отставку; но, если ты хочешь добиться перемен долгосрочных, это будет ошибочный ход. Не дерись с драчуном, вот что я тебе говорю. Когда ее отправят на покой или когда она получит последнюю заслуженную награду, ты сможешь влезть в ее кованые сапоги и реформировать все дело.

Вечер сгущался, и Сэнди, мысленно оглядываясь назад, делался все сентиментальней.

— Всю свою жизнь я хотел остаться один в

комнате, полной книг. Но потом случилось нечто ужасное, Боб, а именно то, что так оно и исполнилось.

— Но это как раз то, чего я хочу, — сказал Боб.

— Что ж, тогда придерживай свою шляпу, чудачок, потому что, похоже, тебе она тоже достанется.

Позже, когда он проводил Боба до двери и Боб протянул ему руку для рукопожатия, Сэнди посмотрел на эту его руку и произнес: “О мой бог”.

Боб больше ни разу не выходил на контакт с Сэнди, и Сэнди тоже не выходил на контакт с Бобом, что, на самом деле, было отлично, хотя Боб всегда думал о нем с нежностью и почти с восхищением. Бобу нравились в нем его вредность, его кусачесть, его ум и общий, антимирно нигилистический, настрой; но собственная относительная простота Бобу была утешительней, если это была простота, конечно.

* * *

Бобу шел двадцать третий год, когда его мать внезапно вдруг умерла, оставив ему дом цвета мяты, которым безраздельно владела, купленный два года назад “шевроле” и сумму почти в двадцать тысяч долларов. Он не обременился

чрезмерно ее уходом, но чувствовал себя одиноким из-за того, что не понимал, кем была его мать при жизни и с чего она вообще завела ребенка. Человеком она была ни в коем случае не плохим, но разочарованным и, соответственно, разочаровывающим, по крайней мере, так это ощущал Боб.

Никто не живет в предвкушении, что до срока умрет от болезни, но мать Боба эта новость не удивила. Как-то утром она позвала Боба в гостиную, чтобы поговорить, как она выразилась, по нескольким поводам, но повод оказался только один, и заключался он в том, что у нее обнаружен рак мозга и скоро она умрет, и это все подтвердилось: в феврале она вышла на пенсию, а к июню ее не стало.

Живой в последний раз Боб видел свою мать на больничной кровати. Похудела она почти вполовину, и вид у нее был человека, все мысли которого заняты предстоящим отъездом. Но при сократившемся телосложении она, на взгляд Боба, держалась веско, и это ей шло. Сама ее болезнь впечатляла, а в глазах тлел огонек, намекавший на причастность к некоей тайне.

Медсестра, просунув в дверь голову, сказала Бобу: “Пять минут”. По тому, как она это произ-

несла, размеренно, глубоким грудным голосом, и по тому, как глаза в глаза посмотрела, Боб понял, что, похоже, пришла пора навек попрощаться. И мать Боба, возможно, мыслила в этом же направлении, когда сказала:

— Мы прежде никогда не говорили о твоем отце.

Кто был его отец, Бобу в прошлом узнать хотелось, особенно когда он был маленьким; но каждый раз, когда он заговаривал об этом, мать отвечала уклончиво. А уж теперь, когда вырос, да в контексте больничной палаты, он решил, что предпочел бы вообще эту тему не поднимать.

— Нет нужды говорить об этом, если тебе не хочется, — сказал он.

— Нет, я бы не возражала, — сказала она.

— Ладно, но если это что-то плохое, я бы лучше не знал.

— Да нет, не так уж и плохое. Во всяком случае, я никогда не считала это плохим.

Она смолкла и молчала так долго, что Боб уж подумал, что она потеряла нить разговора; но потом она начала.

— Это было в самый разгар Депрессии. Я снимала квартиру с двумя подругами, и каждую пятницу мы куда-то вместе ходили, все равно

куда, лишь бы исхитриться да повеселиться так, чтобы истратить не больше доллара на троих. В тот вечер нас занесло в салун, где за пять центов подавали вискарь с бокальчиком пива. Ладно, мы чуток выпили, и все было хорошо, пока у одной из нас не скрутило живот, так что другой пришлось повезти ее домой, и я осталась одна и тут приметила парня, который поглядывал на меня из угла, украдкой поглядывал, когда думал, что я не обращаю внимания. Но я обращала. На вид как все, в приличном костюме, и выглядел респектабельно, но какой-то он был… понурый. Что поделать, он действительно так и выглядел, Боб.

— Печальным.

— Да. Будто что-то в его жизни было не так. Откуда мне было знать, может, он всегда был таким, но у меня включилось чутье и подсказало, что нет, не всегда, а вот как раз именно в ту ночь или на той неделе его одолевает хандра, и я поймала себя на том, что мне хочется знать, в чем дело, и хочется подбодрить его. И что я тогда сделала? Я встала и на свои последние десять центов заказала нам еще по стаканчику и по пивку, подошла к нему с напитками на подносе, переставила их на стол и сказала: “Привет, парень, давай-ка я тебя угощу. А то на вид ты унылей, чем старый

бинт, когда тот плавает по остывшей ванне!”

Мать улыбалась, вспомнив, как это было.

— Ну, он не смог на это не рассмеяться. Смех у него был приятный. И знаешь, сын, порой рассмешить человека — это все, что нужно, чтобы он стал тебе симпатичен. К тому ж я попала в самую точку, так иногда бывает, и он даже по столу хлопнул, развеселившись. Так и вышло, что мы с твоим отцом подружились. Ну, он купил нам еще по паре стаканчиков, а потом сказал, что проводит меня домой.

Мать Боба остановилась, сомкнула веки и снова открыла глаза.

— Наутро мы были не в лучшей форме, но никакой кислой отрыжки, понимаешь, да, что я имею в виду? Романтизмом особым я, тогдашняя молодка, не отличалась, но все-таки кое-что уже испытала и могла сказать, что наутро бывает так, что чувствуешь себя неловко и даже хуже того. Потому что, знаешь, можно нарваться на одного из тех недоносков, который вечером морочит тебе голову, представляясь таким и этаким, и только потом, когда уже слишком поздно, ты видишь, кто он на самом-то деле. Но этот, он утром оказался точно таким, как ночью, — самим собой и, в общем, приятным парнем. И вот

мы проговорили все утро, и я приготовила ему завтрак, и мы выкурили по сигаретке, и как бы встал вопрос о том, что же дальше. Но чары будто рассеялись, он встал и сказал, что ему пора. Мне нужно идти, сказал он. И, может, я принимала желаемое за действительное, но мне показалось, что расставаться ему не хотелось, хотелось побыть подольше.

— Как его звали?

— Не помню.

— Я на него похож?

— Нет, не очень.

— Почему вы больше не виделись?

— Не знаю, Боб. Может, он был женат или помолвлен. Может, у него были дети. Кто знает? — Она пожала плечами. — Но мне хотелось, чтобы ты понял: наша история с твоим отцом, его и моя, она коротенькая, но это не значит, что несчастливая. Я не могу притворяться, что любила этого человека или даже что хотя бы знала его, но он мне нравился, ясно? И я ему тоже нравилась. И это не так уж мало, если иметь в виду весь тот ад, который люди друг дружке устраивают.

Исхудалая мать Боба лежала там и говорила ему все это, сжав костлявую ладонь в кулачок, укрытая больничной простыней, натянутой до

самого подбородка. Вернулась медсестра и сказала Бобу, что пришло время его матери отдохнуть, и он ушел.

Что касается похоронной церемонии, то принимать никаких решений ему не пришлось, потому что мать загодя продумала все до мелочей. Присутствовало человек десять-одиннадцать; кое-кого из них Боб узнал, то были женщины, с которыми она вместе работала, некоторые явились с мужьями, но никто из них не подошел познакомиться. Бобу пришло в голову, что эти люди, возможно, смотрят на него не как на сына покойной, а как на бремя, которое той пришлось нести на своих плечах при жизни, — несчастное внебрачное дитя во плоти.

Священник читал знакомые, даже, пожалуй, знакомые чересчур, зачитанные библейские тексты; похоже было на бубнеж присяги на верность, когда слова формируют фигуры в воздухе, но смысла в них нет. То, что оставалось еще от матери Боба, являлось свидетелем этому, удобно лежа в гробу, приоткрытом настолько, чтобы можно было увидеть лишь верхушку волос и затененную часть лица сбоку. Боб отметил такое расположение крышки сразу, как только вошел в зал, и поначалу предпринимать ничего не стал.

Но вскоре это вызвало у него раздражение, сперва легкое, а потом и не очень. Перед скамьями стояла распорядительница похорон; когда ситуация с гробом стала Бобу невыносима, он поднялся со своего места и подошел к распорядительнице.

— Здравствуйте, — сказал он.

— Здравствуйте и вы, — отвечала она.

Боб объяснил, что он сын покойной, и распорядительница выразила ему сочувствие, сжав ему предплечье рукой в белой перчатке, и спросила, доволен ли он тем, как организовано прощание. Он ответил, что да, но его смущает вид гроба. Почему он так выглядит?

— Как именно, сэр?

— Совсем немного открыт.

Распорядительница понизила голос почти до шепота.

— Крышка гроба установлена согласно положению покойной.

Боб встревожился.

— О каком положении вы говорите?

Глаза женщины внезапно расширились, а лицо залилось краской до горла.

— Простите меня, боже мой! Я имела в виду указание. Положение — это указание. — Она выдохнула, сосредотачиваясь. — Гроб представлен в

соответствии с распоряжением вашей матушки.

— Значит, это она решила, что все будет именно так? — спросил Боб.

— Совершенно верно, сэр, и, правду сказать, тут нет ничего необычного. Как полностью открытый, так и полностью закрытый гроб может выглядеть крайностью, стоит подумать о том, что там, внутри, находишься, понимаете ли, ты.

— Думаю, ей просто хотелось подглядеть.

— Да, сэр, вполне может быть, что и так.

— Что ж, благодарю вас.

— Да, сэр, спасибо.

Вернувшись к своему месту, Боб обнаружил, что там кто-то уже сидит. Это был упитанный джентльмен лет шестидесяти, предприниматель или что-то такое на вид, от которого разило одеколоном. Боб остановился над ним; мужчина мученически возвел на него глаза с выражением, которое говорило: сделай милость, уйди. Боб сел прямо перед ним в ряду поближе и возобновил свои наблюдения над похоронным процессом.

Два служителя в одинаковых белых рубашках, под горло застегнутых, вышли вперед, чтобы закрыть гроб. Один из них был молодой и в новой рубашке, в то время как другой — постарше и в рубашке уже поношенной; Боб подумал, надо

же, как похожи, и задался вопросом, не связаны ли они кровными узами.

Выкатив гроб за дверь, служители покатили его по кладбищу, располагавшемуся окрест, а скорбящие, шаркая, извилистой тропкой кучно направились к вершине поросшего травкой холма. Там была установлена зеленая брезентовая палатка-тент, и под ней четыре ряда складных стульев; Боб занял место в хвосте стаи, и разящий одеколоном мужчина уселся с ним рядом.

Служители перенесли глянцевито блеснувший гроб на металлический поддон, установленный над открытой могилой. Служитель постарше что-то сказал на ухо младшему и пошел вниз по холму в направлении церкви. Младший некоторое время постоял, глядя в небо, а потом развернулся и с помощью лебедки начал опускать мать Боба в землю. Однако механизм лебедки то ли проржавел, то ли был засорен, и поэтому так скрипел, скрежетал и пронзительно визжал временами, что занял собой все внимание присутствующих, и они морщились от него, а некоторые затыкали уши. Мать Боба наполовину была уже под землей, когда скрежет затих, потому что рукоять лебедки застопорило, и намертво. Младший служитель принялся дергать ее в надежде, что она сдвинет-

ся, отчего поддон с гробом задергался так же, и всю группку зрителей неприятно задела мысль о том, что труп внутри гроба ерзает туда и сюда.

И Боб, и разящий одеколоном мужчина встали, вытянувшись вперед, готовые подойти и помочь служителю помоложе, когда служитель постарше вернулся, откуда уж он там шел, шагая так быстро, как только может идти человек, о котором не скажешь, что он бежит, и лицо у него было сосредоточенное и суровое, когда он своей рукой остановил руку младшего, охватив ее сверху. Тот, что постарше, снова сказал что-то на ухо тому, что помладше, и теперь уже младший направился вниз по склону. Служитель постарше обратился лицом к скорбящим и сказал голосом, который удивил Боба своей мелодичной деликатностью:

— Прошу вас, леди и джентльмены, проявить снисхождение. Я приношу извинения за срыв и задержку. Все та же история о противостоянии человека и машины! Уверяю вас, что человек одержит победу, но прошу потерпеть немного и буду благодарен за понимание.

Служитель постарше занялся осмотром механизма лебедки, в то время как наодеколоненный и Боб снова уселись. Все присутствующие молчали; сидели, глядя на гроб или не глядя, каждый

погружен в свои мысли.

Тут с покатых кладбищенских холмов порывом налетел ветер, и брезентовый тент над головами туго надулся. Порыв стих, и брезент провис; но через несколько секунд ветер вернулся, причем сильней прежнего, так что палатку всю целиком приподняло над землей, как будто невидимая рука сверху схватила ее и вырвала с корнем. Боб вытянул шею, чтобы проследить за полетом палатки, как она вознеслась вертикально в воздух, а потом в том же положении приземлилась, и при этом опоры ее двигались подобно ногам, как у пьяной лошади, которая изо всех сил пытается на них устоять.

Палатка споткнулась, рухнула и улеглась плоско, а Боб, оглядываясь в поисках кого-нибудь, с кем можно было бы перекинуться озадаченным взглядом, приметил, что наодеколоненный тихо плачет. Глядит горестно на гроб и видеть не видит ни того, что Боб на него смотрит, ни даже того, что тент унесло ветром.

Служитель постарше тем временем ринулся за обрушившейся палаткой, и Боб последовал за ним, чтобы предложить свою помощь. Вместе они подняли палатку стоймя и повели назад, на место, по опоре в каждой руке, чтобы упрятать

под ней — или переупрятать скорей — щурящихся теперь, потрепанных ветром скорбящих. Боб, вставляя доставшиеся ему опоры обратно в лунки в земле, отметил, что наодеколоненный больше не плачет, а сидит с отсутствующим лицом, и в кулаке у него стиснут носовой платок, сложенный наподобие растаявшего рожка мороженого. Вернувшись на место, Боб вгляделся, узнал вышитые золотом в уголке платка инициалы и понял, что человек этот — Джордж Бейкер-Бейли, у которого издавна служила его мать, тот самый, что присылал на Рождество ветчину и поздними вечерами звонил. Он излучал собой богатство и значительность, важничанье или, может быть, просто важность, и он, должно быть, ощутил интерес Боба, потому что повернулся к нему, когда Боб сел.

Протянув руку, Боб сказал:

— Папочка? — И мужчина съежился на своем стуле в ответ на прозвучавший в этом слове сарказм. — Да ладно, это я не всерьез. Здравствуйте, меня зовут Боб.

Пока старший служитель подбивал тут и там палатку, чтобы опоры угнездились в лунках покрепче, младший вернулся, неся молоток с круглым бойком. Он приблизился к лебедке ши-

роким шагом, встал, надежно расставив ноги, и принялся куда придется лупить; и прежде чем старший служитель успел до него добраться, рукоять стронулась, гроб освободился и в свободном падении пролетел оставшийся фут, а из могилы поднялся столб пыли.

Младший служитель повернулся к скорбящим, своим зрителям. Он тяжело дышал, и лицо его выражало его личную правду, состояла которая в том, что он старался, причем изо всех сил. В глазах его был вызов, но и просьба о прощении в то же время, в свою меру. Было ясно, что он жертва как невезения, так и глупости, данной ему от природы.

Старший служитель шагнул вперед и забрал молоток у младшего. Теперь он тоже стоял лицом к небольшой толпе. У Боба мимолетно возникло желание, чтобы эти двое взялись за руки, подняли их над головами и поклонились.

* * *

Мистер Бейкер-Бейли надумал с Бобом потолковать. Боб сказал, что ничего такого не хочет, но поскольку мистер Бейкер-Бейли в расстановке сил не брал в расчет пожелания Боба, вышло так, что они встретились в стейк-хаусе в центре

города. Войдя в ресторан, Боб обнаружил, что мистер Бейкер-Бейли уже допил свой первый стакан и примеривается к тому, как ляжет в его ладонь второй.

Официант стоял у столика, прижимая поднос к груди, и в поклоне выслушивал указания мистера Бейкера-Бейли:

— Я хочу, чтобы ты был начеку и чтобы в руке у меня всегда была свежая выпивка. Чтобы не приходилось об этом напоминать, понятно? Потому что сегодня я похоронил святую, и твоя забота — снабжать меня бурбоном до тех пор, покуда у меня язык не откажет и я не смогу скомандовать "стоп".

Официант разворачивался, чтобы уйти, когда Боб занял свое место; мистер Бейкер-Бейли ухватил официанта за локоть: "Не так быстро, мы готовы сделать заказ" — и велел принести два "ти-бонс", то есть стейки на Т-образной косточке, а на гарнир по печеной картошине и по порции пряного риса с изюмом. Записав заказ, официант удалился, а мистер Бейкер-Бейли решил обосновать свое поведение и сказал Бобу:

— Ти-бонс в этом заведении — фирменное блюдо. Тут уж точно не прогадаешь.

После чего он расслабился, развалился на стуле

и загляделся в окно на продвижение прохожих по тротуару. Дыхание его сделалось медленным и размеренным, и Боб заподозрил, что он настраивается на то, чтобы поднять вопрос о жизни и смерти матери Боба, и именно так оно и оказалось.

— Вот же денек выдался, а? — проговорил он.

— Да, — согласился Боб.

— Ты доволен, как прошла церемония?

— Пожалуй.

— Пожалуй?! Хотелось бы думать, ты отдаешь себе отчет в том, сколько это все стоило, боже милостивый. — Мистер Бейкер-Бейли покосился на стакан с водой в руке Боба. — Что это ты пьешь?

— Воду.

— Издеваешься, что ли? В такой день, как сегодня, воду не пьют. — Он вскинул руку и принялся прищелкивать пальцами.

— Все в порядке, — сказал Боб. — Я спиртного не буду.

Рука мистера Бейкера-Бейли медленно опустилась на стол.

— Ты что, вообще не пьешь?

— Вообще пью, только сейчас не буду.

— Почему?

— Просто не хочу, чтобы это сейчас влияло.

Мистеру Бейкеру-Бейли потребовалось время, чтобы освоиться с таким заявлением; в конце концов, сочтя, видно, что Боб парень некомпанейский, он пожал плечами:

— Ну, в общем, скажу я тебе, священник оказался на высоте. Обошелся недешево, но думаю, он того стоил. Твоей матери было чертовски важно, чтобы ей достался именно этот священник, и я ей пообещал, так что вот. Тут деньги не в счет, чего их жалеть, верно? А ты знал, что мы с ней проработали вместе больше двадцати лет?

— Да.

— Двадцать лет! Что ни говори, а срок долгий. — Помолчав, он продолжил: — А странно, правда, что у нас с тобой столько времени ушло на то, чтобы познакомиться?

— Думаю, да, — сказал Боб. — Хотя, на самом деле, я вас однажды видел до этого.

— Вот как? И когда ж это было?

— Мне было одиннадцать лет, и вы с матерью танцевали в нашей гостиной.

Мистер Бейкер-Бейли в легкой вспышке паники залпом допил свой бурбон. Глядя на кубики льда в своем стакане, он позвякал ими немного, а затем поднял голову и гаркнул через весь ресторан:

— Я что тебе говорил?!

Подлетел официант с полным стаканом, забрал пустой. Мистер Бейкер-Бейли, прожегши взглядом его удаляющуюся спину, сказал Бобу:

— Я расстроен. Ты понимаешь, что я имею в виду?

— Что вы расстроены, — сказал Боб, подумывая уже о том, как бы ему уйти, не вызвав недовольства и ненужного шума.

Мистер Бейкер-Бейли сделал еще один немалый глоток.

— Ну, и чем ты занят в последнее время?

— Приступаю к работе библиотекарем.

— Неплохо, неплохо. Дело полезное, нужное. — Он поднял палец, словно проверяя, куда дует ветер. — Кому-то нужна книга, но он не уверен, что хочет ее купить. Что ж, приятель, вот, держи, возьми домой и прочти до конца. Да еще и бесплатно. Я такое дело поддерживаю. Правда, ты, скорей всего, вряд ли разбогатеешь, но ведь суть-то не в этом, верно?

— Не в этом, пожалуй, да.

— Эта книжная блажь, она, должно быть, у тебя от матери, верно?

— Должно быть, — сказал Боб, хотя в жизни не видел, чтобы мать читала что-то помимо газет

и журналов.

Мистер Бейкер-Бейли вернулся к наблюдениям за людьми, которые шли мимо по тротуару, и заговорил с Бобом, на него не глядя, целиком беря на себя функцию выражения скорби:

— Твоя мать… Она была моей правой рукой… и кем-то еще. А мы двое вместе? Не было ничего, с чем мы не справились бы, не было проблемы, которую мы не смогли бы решить. Потому что я знал ее. Я знал эту женщину. Я знал ее лучше, чем собственную жену! — Он хмыкнул. — Господи, она была совсем девочкой, когда все началось. Да мы оба были детьми, в самом-то деле. Молодыми, глупыми, битком набитыми всяким вздором и чепухой.

Он допил свой стакан, и перед ним возник следующий, а также два одинаковых блюда. Мистер Бейкер-Бейли, ободренный появлением еды, с воодушевлением схватившись за нож, принялся пилить свой стейк; но вскоре что-то внутри у него сдвинулось, что-то неприятное сбило ему настрой.

— В любом случае, — произнес он, — сдается, со мной она не прогадала. — Боб на это ничего не сказал; и тогда мистер Бейкер-Бейли добавил: — Я подразумеваю под этим, что, по-моему, ей могло

повезти меньше. — Боб посмотрел на мистера Бейкер-Бейли, и нечто в его взгляде побудило того поинтересоваться: — Как ты думаешь, кто купил ей этот дом?

— Я думал, она и купила.

— Хорошо, но где она взяла на это деньги?

— Я думал, что заработала.

Мистер Бейкер-Бейли сидел и смотрел на Боба. Носовой проход у него забило, и при каждом выдохе звучал коротенький свист.

— У тебя есть что-нибудь, что тебя тяготит? — спросил он. — Потому что вот он я, и я весь внимание.

Боб обдумал это и покачал головой.

— Ничего не могу на это сказать.

— Отчего ж?

— У меня нет нужных слов.

— Да почему же?

— Не знаю. Просто нет у меня для вас слов.

Мистер Бейкер-Бейли сморгнул, глядя на Боба, и вернулся к своей еде. Смотреть, как он ест, было противно, потому что голова его была того же цвета, что стейк. Он запихивал красное мясо в свой красный рот, и голова у него была красная, и это было все равно что наблюдать, как животное пожирает само себя.

— Хороший стейк, — сказал он с набитым ртом.

— Вот и ладно, — сказал Боб.

— А ты почему не ешь?

— Меня тошнит.

— А ты поешь мясца, станет лучше.

Но Боб есть не мог, даже и не пытался. Мистер Бейкер-Бейли, закончив, приказал официанту убрать тарелки. После этого он закурил, глядя, как тянется над их головами дымок.

— И все-таки знаешь что? — спросил он, и тут самообладание слетело с него, и он расплакался, причем не деликатно, как на похоронах, а тяжело, громко, с ревом.

Все в ресторане, посетители и персонал, замерли, чтобы глянуть и подивиться; Боб положил салфетку на стол, встал и вышел, по пути к двери пройдя мимо официанта. Тот направлялся с целью обновить клиенту запас бурбона, но теперь встал рядом, наблюдая за плачущим и гадая, нести тому питье или нет. Положению официанта Боб посочувствовал: можно было привести доводы как за, так и против того, чтобы обеспечить плачущего еще одним бурбоном, и подобный тупик в практике обслуживания почти что наверняка прецедентов себе не имел.

* * *

Не было на свете библиотекаря, менее мисс Огилви склонного и пригодного к тому, чтобы споспешествовать беспредельной славе литературы. Ни в малейшей степени не заботило ее ни состояние грамотности, ни обучение чтению, ни воспевание и продвижение какой-либо литературной школы или какого-то автора, и Боб ни разу не видел, чтобы она взяла в руки книгу просто удовольствия ради. Должностные обязанности мисс Огилви, как она их себе представляла, заключались в том, чтобы поддерживать священную бесшумность библиотечной среды. “Что там люди делают в тишине — это за рамками моей компетенции, — говаривала она Бобу, — но тишину я им обеспечу”. Человеческий голос, когда он звучал громче шепота, вселял в нее то, что можно было бы назвать откровенной ненавистью; таким образом, руководимая ею библиотека была самой тихой в городе Портленд и, вероятно, во всем штате Орегон.

Несмотря на строгость своих стандартов, мисс Огилви не пересекала границ разумного и к каждому случаю искала индивидуальный подход. К бездомному населению, по крайней мере к тем

его представителям, что оставались в здравом уме, по большей части относилась терпимо. Если держишь рот на замке и пахнешь не так уж и вызывающе, если читаешь или правдоподобно притворяешься, что читаешь книгу или журнал, тогда да, добро пожаловать, укройся от послеполуденного дождя. У старшеклассников и учащихся колледжей, полных жизни, и порой через край, наличествовала склонность шуметь, но, несмотря на весь их боевой дух, на взгляд мисс Огилви, усмирить их не составляло труда. Настоящей проблемой являлись маленькие детишки, первейший объект гневливости мисс Огилви, и она приберегала для них самый свой ядовитый яд. О мире без детей она говорила так же, как другие говорят о мире без голода и болезней. Выселить всех на остров, вот в чем состояла ее идея, на дальний-предальний остров, окруженный ледяными смертоносными волнами и скалами столь острыми и зазубренными, что и морским птицам не усесться на них. Пусть дети шумят там себе сколько вздумается, так они дадут дожить спокойно тем, кому уже с лихвой хватит криков и болтовни.

В первый год службы Боба мисс Огилви медленно и постепенно посвящала его в свои сложные

тайны. Она рассказала Бобу о днях своего ученичества, когда разрешалось и даже поощрялось бить трудных детей. Во время Второй мировой столько отцов оказались на фронте, что в семьях выродилось представление о дисциплине. Незрелая личность, если в сознании ее не маячит угроза ремня, сдается перед своим животным началом. Женщины Америки собрались, чтобы обсудить эту проблему; все больше проникались они идеей применения исправительных мер.

— Насилие было дозволено лишь мужчинам, — говорила мисс Огилви. — Они принимали это как бремя, полагая, что нам, женщинам, повезло оказаться в сторонке от драки. Они и не подозревали, что среди нас есть такие, и их немало, кто давно мечтает в ней поучаствовать.

— Вы были из их числа, — сказал Боб.

— О да. К тому же я возложила на себя роль лидера, что страшно удивило и меня самое, и моих коллег. Это был тот случай, когда ты и не догадываешься, какие сильные чувства испытываешь, пока не взойдешь на трибуну и не начнешь выкрикивать, что тебя донимает. — Она выпрямилась на стуле. — Знаешь, что мне больше всего нравится в жизни, Боб? Действенность. Вот смотри: ребенок неуправляем. Ты его бьешь.

Наказываешь. Ребенок становится управляем, он слушается. Это математика сердца. О, отличный был инструмент. Но у нас его отняли наряду с многими другими, и молодежь становится все более тупой, все более бессмысленной, все более грубой. Чего я не понимаю, так это с какой стати именно мы должны учить их хорошим манерам? Почему это пало на меня?

Точек соприкосновения у мисс Огилви с Бобом не было ни эстетических, ни интеллектуальных, но Боб, помня советы Сэнди Андерсона, поддерживал ее в стремлении установить и соблюдать тишину и не делал попыток склонить ее к модернизации. Она твердо стояла на своем и была, возможно, даже слегка с приветом; кроме того, она уже два года как пересидела срок полагающегося выхода на пенсию. Еще немного, и она уйдет; тем временем Боб учился своему ремеслу.

Сама по себе работа никогда не была сложной, по крайней мере для Боба. Он испытывал незамысловатую любовь к таким вещам, как бумага и карандаш, к тому, чтобы карандашом писать по бумаге, к ластикам, ножницам и скрепкам, к запаху книг и к словам на книжных страницах. Иногда он думал о тех мужчинах и женщинах, которые все это сочинили, сидя за своими стола-

ми, целясь в неуловимое яблочко и почти всегда промахиваясь, но порой все-таки нет, и Боб твердо верил, что комната, заставленная печатной продукцией, — это комната, которая ни в чем не нуждается.

Коллеги его держались не то чтобы недружелюбно, но на лицах у них стыло нечто неуловимое, и сказать они мало что находили. Некоторые жаловались, что не профессия у них, а скучища, и Боб всегда выражал им свое сочувствие, но сам он ничуть этого мнения не разделял. Он считал, что люди, которым скучно в роли библиотекаря, просто выбрали себе не то дело. Он не осуждал их за это, но тихо радовался, что не таков, как они.

Как новенького и младшего по чину, его поставили в утреннюю смену, часы которой считались самыми неудобными, но для Боба это стало идеальным образом жизни.

Будильник звонил в пять утра. Боб в пижаме спускался вниз, чтобы разжечь камин, приготовленный вечером накануне. Огонь занимался, и Боб уходил наверх, принять душ и одеться. У него было два костюма, которые он носил попеременно, каждый третий день являясь на службу одетым неформально: под темным джемпером с V-образным вырезом белая рубашка без гал-

стука, черные слаксы, черные носки, черные мокасины. Одетый, чисто выбритый, с кожей, пощипываемой лосьоном, Боб спускался в гостиную, где потрескивал, разбрасывая блики света на пол и стены, камин. Позавтракав, готовил и упаковывал что-нибудь себе на обед. Если утро выдавалось особо холодное, заводил “шевроле”, оставлял его греться на холостом ходу на дорожке, а сам мыл посуду.

Ребенком и подростком Боб боялся стать взрослым. Так отложилась в нем невольно внушенная матерью мысль, что и жизнь, и работа суть сплошные несчастья и компромисс. Но мать Боба не умела понять ни радостей, доставляемых сознанием своей действенности и расторопности, ни удовольствий, приносимых устройством вокруг себя земных благ и материальных удобств. Она готовила, но стряпню ненавидела. Убирала, но с чувством, что занятие это ее недостойно. Боб был устроен иначе; действия, которые он предпринимал каждое утро, были разумны, потому что необходимы, и каждое из них служило началом следующего.

На работу он ехал пустыми, мокрыми от дождя улицами, пересекал по мосту реку. Автостоянка пуста, в библиотеке тишь. Пройдя по ковру фойе,

он усаживался за свой стол, включал лампу с зеленым абажуром, выкуривал сигарету, просматривал библиотечную газетку. Настроившись на рабочий лад, всюду зажигал свет, отпирал двери, и начинался обычный библиотечный день. Поначалу Боб смущался, вступая в общение с посетителями, но застенчивость его прошла, стоило ему осознать, что обращаются к нему не как к человеку, а как к инструменту, механизму библиотечной машины.

Мисс Огилви, распознав в Бобе библиотекаря в своей стихии, предоставила его самому себе. Когда она сообщила ему, что намерена перевести его с утренней в дневную смену, он спросил, нельзя ли оставить ему прежнее расписание. Но почему же, спросила она. Он объяснил, что ему нравится по утрам, когда тихо, и мисс Огилви воззрилась на него, пораженная тем, что еще способна, после стольких-то лет, чувствовать хоть какую-то связь с другим человеком. Не в пример Бобу, ее путь всегда был суровей, прямолинейней, жестокосердней; но ей нравилось, что Боб таков, как он есть, и она мирилась с ним, несмотря на то, что повадки его не очень-то соответствовали ее личному опыту.

В общем, Боб Комет там обжился, нимало не

недовольный тем, что так получилось. Северо-западный филиал публичной библиотеки — именно то место, где Боб Комет стал самим собой. Там же он познакомился с Конни и Итаном. Конни явилась первой, но как Конни возникла лишь после Итана, так что на деле первей оказался он.

* * *

Конни явилась первой, но ее заслонил отец. Об отце в округе ходили легенды, не заметить его и впрямь было трудно: он носил самострочную накидку с капюшоном и демонстрировал склонность к вспышкам публичного красноречия. Его разум кишел видениями бед и угрозами, проницательности, как сам он считал, непревзойденной, так что для общего блага желательно, чтобы они были услышаны. Однако ж вещать на площадях с каких попало трибун вышло из моды; за неимением форума он излагал свои взгляды на улицах, в парках, часто на автобусных остановках и еще чаще в автобусах, из которых людям некуда деться. Содержание речей было разнообразным, но, как правило, отличались они ожесточенной критикой современного состояния человечества, при этом особое внимание

уделялось обличениям католической церкви.

Водители автобусов не одобряли выступлений отца Конни, некоторые попросту выгоняли его, но попадались и те, кто, стесняясь или робея, позволяли ему ехать дальше и дальше. Один водитель даже подбадривал его по звуковой связи, подначивал чем-то вроде “Не могли бы вы повторить это, сэр?”, или “У вас что, есть подтверждающие документы?”, или “Похоже, он это всерьез, ребята”, или “Давайте же поаплодируем этому славному парню в сандаликах”.

За спиной этого рьяного изобличителя крылся некто, и то была Конни. Какое-то время Боб не замечал ее, так как она пряталась под собственной накидкой, снабженной вместительным капюшоном, не позволяющим разглядеть не только ее лицо, но и какого она пола. Она не говорила ни слова и не делала резких движений; она следовала за отцом или сидела в кресле при входе в библиотеку, ожидая его, иногда с час, очень прямо, сложив на коленях руки, уперев взгляд в пол.

В библиотеке отец Конни вел себя поприличней. Конечно, он был, как всегда, резок, но сдержанно резок. Когда Боб обращался к нему с вопросом, отец Конни не скрывал своего презрения, но и не бранил Боба, что наверняка сделал

бы, столкнись они на тротуаре. Что до тематики чтения, в сферу интересов отца Конни входила американская история, начиная с зарождения страны и вплоть до текущего 1958 года. Молодые сотрудники библиотеки вовлеклись во что-то вроде игры с целью раскрыть тайны этого человека; однажды утром у стойки Боб спросил его:

— А европейская история вас совсем не интересует, сэр?

Отец Конни вздохнул при мысли о том, сколько сил ему придется потратить, чтобы ответить на этот вопрос, и сказал:

— Европа осталась в прошлом, она умерла, и не это моя забота. Опасность грозит Америке, и почти наверняка Америка последует за Европой, но пока мы еще не пали, пока мы здесь, в то время, что еще нам осталось, мы обязаны приложить все силы.

— Я и не знал, что с Европой так плохо, — сказал Боб.

— А ты попробуй открыть глаза. Попробуй открыть газету.

— Непременно, сэр. Хорошего вам дня.

Отец Конни отошел, а на его месте оказалась Конни, которая из-под капюшона хитро смотрела на Боба, и во взгляде ее читалось, что она знает,

что отец ее — полоумный, и знает, что Бобу это тоже известно, и что она рада, что по этому поводу расхождений во мнениях у них нет. С этого момента и впредь, когда Конни появлялась в библиотеке, они с Бобом изучающе посматривали друг на друга, пусть и сдержанно, не обмениваясь ни словом.

Время шло, и неделя за неделей отец Конни вел себя сносно; но и Боба, и Конни не отпускало ощущение шаткости ситуации, опаска, что наступит момент, когда отец Конни утратит контроль над собой, сорвется. Стрястись это могло в любой день, когда угодно и вообще без причины, но стряслось летом и спровоцировано было присутствием двух священников.

Ничего необычного не было в том, чтобы застать в библиотеке священника или, чаще всего, пару священников. В нескольких милях отсюда, в Форест-Парке, располагалась семинария, так что Боб регулярно общался с семинаристами. Спрашивали они неизменно о чем-то неинтересном, беседы заводили неинтересные, поражали своей однотипностью и, по опыту Боба, все как один стремились войти в контакт с миром за пределами их собственного. У них и в заводе не было получить на стойке книгу и просто уйти;

нет, обсудят того и этого автора, спросят совета, поговорят о погоде: как она, правда же, получше вчерашней? Предпочтение отдавали современной беллетристике с динамичным сюжетом: уютным детективам, шпионским историям, приключениям военного времени — при условии, что повествование развивается в темпе, лишено стилистических изысков и не касается секса и прочих пороков. В общем, Боб не слишком ценил литературные вкусы священников. Когда они заговаривали с ним, он улавливал наигранное смирение, проистекавшее, полагал он, из убежденности в том, что на земле они представительствуют за Бога. Как неверующий, Боб находил это утомительным, но настраивался на то, чтобы видеть в священниках скорей чудаков, чем невеж.

Тех двоих, что пришли в тот день, когда отцу Конни запретили посещать библиотеку, Боб хорошо знал. Один из служителей божиих был полнолицый, румяный, приземистый, лет тридцати с небольшим; второй — постарше, классического ирландского образца: высокий, поджарый, с кустистыми бровями и густой, зачесанной назад седой шевелюрой. Они ходили между стеллажами, седовласый указывал на ту

или иную книгу, в то время как румяный слушал его с преувеличенным, льстивым вниманием.

Боб, поглядывая на перемещения этих двоих, заметил, как с волчьей ухмылкой на физиономии к ним подкрадывается отец Конни. Сама Конни держалась у него за спиной; из-за капюшона Боб не мог видеть, что у нее на лице, но в целом ее фигура выражала тревогу: стиснув перед собой руки, она прокрадывалась вперед: шажок, другой — а затем замирала. Будто знала, что что-то произойдет, и не просто что-то, а неприятность, и ей оставалось только выжидать, наблюдать… И вот оно началось: седовласый священник читал текст на задней обложке, когда отец Конни приблизился и выхватил у него книгу из рук.

— Простите, — сказал священник, — но я просматривал эту книгу.

— Да, и заляпал ее всю своими грязными отпечатками! — сказал отец Конни. — Как не стыдно, явиться сюда с немытыми руками!

Священника до того поразила эта атака, что он не смог подобрать слов; с недоумением, написанном на лице, он повернулся к своему собрату, призывая того вступиться. Румяный пришел на помощь, обратившись к отцу Конни:

— Слушайте, с чего это вы, а? Что вам нужно?

Отец Конни развернулся к нему.

— И ты! — сказал он. — Разгуливаешь тут, а у самого грязища на морде. Да как ты смеешь обращаться к приличным людям, рожа немытая!

И он двинул румяному в нос. Удар был не такой уж и сильный, ничего не сломалось, но священник, ошарашенный нападением, отскочил и вскинул руку к лицу, защищаясь, чтобы не досталось еще.

Отец Конни, весьма довольный собой, похоже, считал, что его вмешательство пошло этим двоим на пользу.

— Что такое, водопровода там нет, что ли, в вашей убогой академии? Или вы оба такие лентяи, что не соблюдаете самые элементарные правила гигиены?

Мисс Огилви и Боб, стоявшие бок о бок у стойки книговыдачи, явились свидетелями этого эпизода. Боб собирался вмешаться, когда мисс Огилви придержала его за предплечье. Искоса, жутковато посверкивая глазом, как будто в трансе, она обошла стойку, двинулась к отцу Конни и, дойдя, длинным пальцем коснулась его плеча:

— Прошу прощенья, могу я взглянуть на ваш читательский билет?

Отец Конни отвлекся от священников, чтобы

рассмотреть мисс Огилви.

Они примеривались друг к другу уже не один месяц, каждый из них знал, что поединка не избежать, и вот момент настал, и невыносимо долго, как показалось Бобу, они стояли, упершись взором друг в друга. Уж какой там информацией на уровне эмоций они обменивались, неведомо; но очевидно, что некие военные действия в сфере психики состоялись. Корона победительницы в итоге досталась мисс Огилви: на глазах у Боба рука отца Конни задвигалась, как бы сама собой, помимо воли владельца, вынула и протянула читательский билет.

Мисс Огилви взяла билет, подняла повыше и с великолепной медлительностью разорвала пополам. Засунув два обрывка в карман своего кардигана, она сказала отцу Конни:

— Вы безвозвратно утратили право на доступ к системе публичных библиотек штата Орегон. Данное решение вступает в силу незамедлительно. Если вы когда-либо переступите порог этого или любого другого из библиотечных филиалов штата, вы будете немедленно арестованы и привлечены к ответственности как злостный нарушитель. А теперь я попрошу вас пройти сюда.

Она указала на выход и шагнула в том направ-

лении. Отец Конни не последовал за ней сразу, а стоял рядом, моргая и пытаясь собраться с мыслями. Его временно ослепила сокрушительная уверенность мисс Огилви в своем праве на вето, но теперь, когда он начал осознавать, что его триумф позади, к нему вернулся негативизм, свойственная душевнобольным жажда, что бы там ни было, противодействовать внешним силам: повернувшись к священникам, он наклонился и плюнул им под ноги. На этом он вышел из библиотеки, и Конни тенью удалилась за ним.

Когда они ушли, Боб выступил вперед с тряпкой, чтобы стереть плевок; мисс Огилви отняла тряпку у Боба, опустилась на колени и сама вытерла пол, покачивая костлявым задом. Боб посмотрел на священников, как они отнесутся к такому нежданному повороту, но румяный священник осторожно ощупывал свой нос, проверяя, не больно ли, в то время как седовласый присматривался к своим рукам, стараясь делать это понезаметней.

Через неделю после этого события Конни пришла в библиотеку одна. Одета она была как всегда, но капюшон лежал на плечах. Волосы у нее оказались средней длины, светлые и прямые, на лице ни следа косметики, но у Боба создалось

впечатление, что она наслаждается уже тем, что ее видят, вообще тем, что она молодая женщина, в отличие от бесполой фигуры, какой хотел видеть ее отец, когда они были вместе.

Выложив на стойку высокую стопку книг, она встала рядом, не спуская глаз с Боба.

— Сдаете? — спросил он, и она кивнула.

Он уже спрашивал себя, может, ей не разрешено высказываться публично или вообще как-нибудь, когда она шевельнулась и сказала скрипуче:

— Не знаю, признали вы меня или нет.

— Признал, — сказал он. — Вас выдает накидка.

— О, точно, — сказала она, глянув вниз. — Что ж, возвращаю вам папины книги. Но у меня есть еще список, который мне поручено проверить, есть ли эти книги у вас. Это можно или нельзя?

— С чего бы это было нельзя?

— С того, что произошло. Книги нужны отцу, а не мне.

— Не мое это дело, спрашивать, кому нужны книги, — сказал Боб, — и вам не обязательно это мне сообщать. Если у вас есть действующий читательский билет и нет непогашенных штрафов, вы вправе взять любые книги, какие хотите.

— А если у меня нет читательского билета?

— Тогда мы его вам оформим.

— А что, если у меня нет документов, удостоверяющих личность?

— Вы хотите сказать, что у вас при себе их нет?

— Я хочу сказать, что у меня их нет вообще. Идентификация личности входит в число пунктов, против которых выступает отец.

Боб не стал бы высказываться по этому поводу, если бы не видел, что девушку явно забавляет обсуждать закидоны отца, почему и решился заметить:

— Он и впрямь производит впечатление человека, который много против чего.

— Да уж, и чем дальше, тем больше. — И девушка принялась перечислять: — Телевидение, это само собой, и движущиеся изображения в кино. Но также и радио, и вымышленные писания любого рода. Те автомобили, что в частной собственности. Все неестественные запахи или привкусы. Вся музыка. Упражнения ради упражнений. Солнцезащитные очки. Календари, часы. Эскалаторы, лифты. Полиция, правительство, врачи, медицина.

— Тогда за что же он выступает?

— За гендерную сегрегацию. За стерилизацию

преступников. За общественный транспорт. За смертную казнь. За болезни. За садоводство.

— То есть садоводство ему по нраву?

— Сам он этим не занимается, но занятие одобряет; оно из очень немногих, в чем он меня поощряет.

— Вам нравится садоводство?

— Да, очень.

— Декоративное садоводство или плодовое?

— И то, и другое.

Ей понравилось, что он задал этот вопрос. Вообще она смотрела на него без опаски, и Боб почувствовал себя беззащитным, но, насколько сумел, сымитировал непринужденность.

— Но как можно быть за болезни? — спросил он.

— Он верит, что на все Божья воля.

— Не очень-то это человеколюбиво.

— Ну, человеколюбие — совсем не по его части. И все-таки это не так просто, как если бы он верил в то, что тот, кто умирает от рака, заслуживает такой смерти. Он говорит, что есть много людей, которых Господь призывает к себе потому, что хочет, чтобы они были с ним рядом.

Боб и Конни улыбнулись друг другу.

— А как, интересно, он думает, вы получите

книги без удостоверения личности?

— Он считает, что я потерплю неудачу, но готов к тому, что я попытаюсь.

— Так, значит, это ваша идея?

— О да. Книги по истории хоть сколько-то его занимают. Он уходит в них с головой, по нескольку часов каждый день читает, читает, пока видят глаза. Для меня это часы драгоценные и очень нужные, и я, честно сказать, не знаю, что мне делать, если я останусь без них, так что вот… — Она сделала паузу. — Я не хочу ставить вас в неловкое положение. Я понимаю, что, возможно, вы не захотите вмешаться. Я бы вообще эту тему, с читательским билетом, не подняла, но мне казалось, в последние несколько месяцев, что вы мне сочувствуете.

Боб понял из этого, что он — необходимая часть планов молодой женщины, и так обрадовался, что присутствует в ее мыслях, что дал бы ей ключи от своей машины, если бы она захотела ее одолжить.

— Ну конечно, мы сделаем вам билет, — сказал он.

— Правда? Вы уверены, что это сойдет вам с рук?

— Сойдет. Но просил бы не распространяться,

что я в этом участвовал.

— Ну конечно.

— И посоветовал бы в следующий раз оставить эту вашу накидку дома. Даже когда вы без капюшона, мисс Огилви может сложить два и два.

— Это та женщина, которая напустилась на моего отца?

— Да.

— Она потрясающая. Отец думает, что в ней сидит Сатана.

— Это популярное мнение, — сказал Боб. — Но сам я так не считаю.

Он достал бланки, необходимые для получения читательского билета, сам их за нее заполнил, воспользовавшись этим, чтобы провести с ней побольше времени и задать всякие личные вопросы. Так он узнал ее имя: Конни Коулман.

— Сколько вам лет, Конни Коулман?

— Двадцать.

— А мне двадцать четыре.

— Здорово.

Он протянул ей временный билет и, глядя, как она смотрит, что там на обороте, спросил себя, так ли мала ее жизнь, как его собственная. Понимая, что переходит границу дозволенного, он сказал:

— Интересно, верите ли вы во что-нибудь из

того, что проповедует ваш отец?

Конни спрятала свой билет в складках накидки.

— Ну, — сказала она, — я ведь живу в ненормальной среде. Значит, я и сама должна, хотя бы немного, быть ненормальной, верно?

— Верно, — сказал Боб.

— И хотя отчасти правда заключается в том, что нет, я не верю, более полная правда в том, что я верю ровно настолько, чтобы мне совестно было признаться в своем неверии.

Боб поднял руку, как бы говоря, что все понял и больше вопросов не будет.

— Я стремлюсь к тому, чтобы стать абсолютно нормальной, — сказала Конни.

— Это и мое стремление тоже, — сказал Боб и, сочтя, что разговор завершен, решил сделать это на благожелательной ноте: — Знаете, я сожалею о том, что с вашим отцом так вышло.

— Да ладно, — беспечно сказала Конни.

— Я имею в виду… мне жаль, что все произошло именно так.

— Что ж, спасибо, — сказала она. — Но так оно всегда и бывает.

На этом Боб пожелал ей доброго дня и отошел — однако ж недалеко, остановился и стал наблю-

дать, как она просматривает список названий, составленный ее отцом. Увидев, как она возвела глаза к потолку, явно пытаясь определить, где именно в библиотеке находится, Боб вернулся и вызвался помочь подобрать книги, и она согласилась.

— Списочек не соскучишься, — предупредила она.

— Я тот, кто вам нужен, — ответил Боб, и они вместе принялись бродить взад-вперед между стеллажами.

Вскоре он нашел все книги, заказанные ее отцом, и оформил их выдачу. После этого он проводил ее к выходу, и они еще постояли немного, не зная, как попрощаться. Конни сказала Бобу:

— Мне не жаль, что отсюда отца погнали. Потому что это так здорово, прийти сюда и поболтать нормально с людьми, когда его нет рядом. Честно скажу, так здорово, что я и слов найти не могу. Спасибо огромное.

— Не за что.

— Может, еще увидимся.

Боб указал на стойку книговыдачи.

— Вот тут я люблю стоять.

Конни ушла, а Боб пошел в туалет и заперся там в кабинке, постоять и заново пережить свою

встречу с новым человеком, с этой девушкой. Он был смущен и напуган. У него голова шла кругом. Додумался до того, что усомнился, способен ли он кого-то привлечь. Раньше не был. Или же дело в том, что раньше не было случая расстараться?

К тому времени у Боба завязались дружеские отношения с Итаном Огастином. Мужское товарищество, как и романтическая любовь, не давались Бобу на протяжении всей его предыдущей жизни, но тут возник Итан, обаятельный, славный или, может, работающий под славного, и Боб, который определенно ему нравился, не совсем понимая, с чего бы такое вдруг, пошел у него на поводу хотя бы для того, чтобы увидеть, куда это их заведет.

Вечером того дня, когда Боб впервые поговорил с Конни, они с Итаном пошли в бар в квартале от библиотеки, где Боб в подробностях поведал Итану, что ему довелось пережить. В процессе пересказа вся история показалась самому Бобу хлипкой, как будто ничего особенного и не случилось. Но отчего ж тогда он никак не может перестать думать о Конни? И не дурак ли он, что думает, будто чувство взаимно?

— Может быть, это все только у меня в голове, — сказал Боб, на что Итан, который как никто

понимал, что романтические чувства словами зачастую не выразить, ответил:

— Но, возможно, и в ее голове тоже.

Боб в этом сомневался, но после того дни напролет стал следить за библиотечной дверью, следить и мучиться ожиданием. Когда он увидел ее в следующий раз, она была без накидки, в свитере винного цвета и твидовой юбке, черных колготках и туфлях без каблука. Их взгляды встретились, и он понял, что болен недугом древним и ужасающим, болен, и очень всерьез.

* * *

С Итаном Боб познакомился тихим библиотечным утром, которые так любил.

Заехав на стоянку, он обнаружил, что на положенном ему, Бобу, месте косо стоит сильно потрепанный и без колесных колпаков “меркурий” 1951 года. Не заглушив двигателя, Боб посидел в своем “шевроле” и в который уж раз подумал о том, что все проблемы в этой жизни создают людям люди. Потом припарковался все-таки и подошел к “меркурию”.

На переднем сиденье лицом вниз лежало тело, Бобу даже показалось на миг, что это труп. Но потом, когда он стукнул в окно, тело шевельну-

лось и застонало, и то был Итан. Он сел, поднял глаза на Боба, уже улыбаясь, красивый, пусть и растрепанный, и было сразу понятно, как ему здоровски в его теле, удобно и ладно.

— Привет, — сказал он, опуская стекло. — Как жизнь?

— Вам нельзя тут парковаться, — сказал Боб.

— Нельзя? — Итан оглядел пустую парковку. — Почему?

Боб указал на знак, торчавший перед самой машиной: “Только для сотрудников библиотеки”. Итан, глянув на знак, сказал:

— А, так я занял ваше особое место!

Боб толком не понял, насмехается над ним этот человек или нет.

— Просто уезжайте и все, ладно? — попросил он, и Итан приступил к ритуалу запуска двигателя: нажал на газ и повертел рулевым колесом. Протянул руку к ключу в замке зажигания — и замер.

— Нет, я тут кое-что вспомнил.

— Что?

— Я уехать сейчас не могу. То есть могу, но не могу вернуться домой, поэтому предпочел бы не уезжать, потому что деваться мне сейчас некуда, — объяснил Итан. — А давайте я переставлюсь

на какое-нибудь еще, не такое особое место?

— А с чего это вы не можете поехать домой?

— Ну, это долгая история, но если вот в двух словах, то это может плохо сказаться на моем самочувствии.

— Как это?

— Мне придется вам все рассказать, чтобы ответить на этот вопрос.

Боб глянул на библиотеку, потом опять на “меркурий”.

— А если версию покороче?

— Ну, можно и покороче, — сказал Итан и сел прямо, чтобы приступить к изложению.

Живет он в квартире над аптекой, через дорогу от библиотеки. Накануне вечером, вернувшись домой из кино и объезжая квартал в поисках, где бы припарковаться, Итан заметил, что в его квартире горит свет, хотя отчетливо помнил, что, уходя из дому, свет проверял. Он посидел в машине, не выключая двигателя, и вскоре увидел в окно, как человек, которого он теперь обозначил Бобу как “того, кто, я знаю, хочет меня убить”, расхаживает по его спальне. Решив переждать, Итан отогнал свою машину с улицы на библиотечную стоянку, за кустарник, отделяющий территорию библиотеки от тротуара. С этой

выгодной позиции, объяснил Итан, он мог видеть свою квартиру, а сам оставался не на виду. Таким образом, он провел ночь в засаде и заснул лишь с восходом солнца.

— Откуда вы знаете, что он все еще там? — спросил Боб.

— Вон стоит его белый пикап, — ответил Итан.

— Тогда, может, вызвать полицию?

— Справедливый вопрос, но сложный, и ответ на него, увы, в том, что тот, кто хочет меня убить, сам является полицейским.

Итан, закурив сигарету, сидел с таким видом, будто обдумывает, нравится ему курить или нет. В этот момент Боб осознал, что Итан ему симпатичен. Это явилось как озарение и сбило его с толку, ведь не понять было, что случилось такого, чтобы вдохновить на симпатию. Во всяком случае, исходная его обида на то, что ему испортили идеальное утро, прошла.

— Ладно, — сказал он. — Тогда следующий вопрос. Почему он надумал убить вас?

— Ну, тут тоже история.

— Длинная?

— Нет, короткая. — Он стряхнул пепел в окно. — Могу я узнать ваше имя?

— Боб.

— Рад познакомиться, Боб. Я Итан.

— Привет, Итан.

— Привет. Ну, по сути, убить этот человек хочет меня потому, что в деле замешана жена.

— Жена этого человека.

— Да, Боб, верно, его жена, не моя. Старая пыльная история, про это дело тысяча дурацких песен написана, но что ж тут поделаешь? У нас с его женой близкие отношения. Я полагал, что разглашать мы с ней это не будем. Так что, наверно, либо я допустил ошибку, не добившись полного понимания, либо она ошиблась и себя выдала. В любом случае, вот он я тут сижу.

В тот момент, когда Итан объяснял свое положение, они оба смотрели на окна квартиры, так что оба увидели в одном из окон фигуру, размытое пятно красноватой плоти, заметное лицо с густыми бровями, которое выглянуло наружу, осмотрелось по сторонам и исчезло.

— Ты видел? — взволнованно спросил Итан.

— Видел. Крупный парень, а?

— Да уж не маленький, — кивнул Итан.

— Он что, без рубашки?

— Снял примерно в четыре утра.

Боб переступил с ноги на ногу.

— Зачем же он снял рубашку?

Итан развел руками, дескать, понятия не имею, а на лице его пропечаталась мировая скорбь.

Боб пригласил Итана зайти на чашку кофе.

— Не хочу втягивать тебя в неприятности, — ответил тот, но с ухмылкой, и тут же потянулся открыть дверцу своей машины.

Они вошли в библиотеку, и пока Боб возился с кофейником, Итан осматривался вокруг. Держался он так, словно утренние события не удивили его и не вызвали беспокойства. Потом Боб занялся обычной утренней подготовкой к открытию, а Итан следовал за ним по пятам. Он вмиг просек, что Боба подкупает в библиотеке.

— А здесь славно, — сказал он. — Так тихо!

Боб немного смутился, будто раскрыт его тайный порок, но отозвался:

— Мне нравится.

— И, похоже, ты помешан на книгах.

— Пожалуй.

— А я вот все подумываю добраться до книг, но жизнь меня отвлекает.

— Ну, со мной все ровно наоборот, — сказал Боб, подумав, что вышла неплохая острота, но качество ее не вызвало комментария. — А чем ты занимаешься? — спросил он Итана.

— Да, в общем, ничем. Отец часто спрашивал

меня: “Чем ты думаешь заработать себе на жизнь, Итан?” И я отвечал: “Не знаю, папа”. И ведь не лгал — как тогда не знал, так и теперь не знаю.

— Ты вообще работаешь где-нибудь?

— Я где только не работал, Боб, спасибо, что спрашиваешь. Но ни одна из работ не заинтересовала меня надолго, а сейчас я в лучшей точке своей безработицы.

— Чем же она хороша?

— Тем, что только еще началась, и несколько месяцев мне не нужно думать о том, что когда-то она закончится.

— А чем занимаешься в свободное время?

— Дурачусь и влипаю во всякие переделки. — Он пожал плечами. — Мне двадцать четыре, не время ломать себе голову.

— И мне двадцать четыре, — сказал Боб.

— Ты не выглядишь на двадцать четыре.

— И не чувствую тоже.

Итан решил, что побудет еще в библиотеке и спросил, что бы ему почитать, скоротать время, пока он здесь. Боб, про себя усмехнувшись, дал ему “Преступление и наказание”.

— О чем это? — спросил Итан.

— Вот как раз об этих вещах.

Итан пожал плечами, вздохнул, уселся за пу-

стой столик и открыл книгу на первой странице.

В восемь тридцать Боб отпер входные двери. Все утро шел дождь, посетителей было мало. Итан сидел над Достоевским, время от времени поглядывая в окно, стоит ли белый пикап, и тот был на месте. За обедом они разделили сэндвич Боба. Боб спросил Итана, что тот думает о книге, и Итан сказал:

— Сначала было неинтересно, а теперь не могу оторваться. Но почему у них у всех по два имени?

После сэндвича они сидели и курили в комнате отдыха. Итан сказал:

— Я тут вот что подумал. Может, тебе сходить постучаться в мою дверь?

— Зачем?

— Посмотреть, как оно там.

— А что, у тебя представление о том, как оно там, не такое ясное, как у меня?

— Да, но ты мог бы поговорить с этим типом, прикинуть, долго ли он намерен еще там торчать, понимаешь?

Боб сам удивился, что принял эту идею всерьез, но в утренней истории с Итаном было нечто, помимо того, как тот подошел к ситуации, что и Боба подвигло на столь же легкое отношение.

Он забавлялся, и это было так непривычно, что непреодолимо захотелось продолжить.

Боб стал натягивать пальто, и тут Итан встревожился.

— Как бы он тебя, чего доброго, не убил, — сказал он.

— Зачем ему меня убивать, — отмахнулся Боб, неожиданно для себя вступаясь за навязанный ему план.

— Это мы так думаем. Но что, если его механизм засбоило и ему вздумается убить ради убийства?

Боб сказал, что, по его мнению, это маловероятно. Стал бы человек прятаться в пустой квартире, если бы вообще хотел убивать? Сочтя аргумент разумным, Итан пожелал Бобу удачи, здоровья и скорейшего возвращения.

Боб перешел улицу, поднялся по лестнице и постучал в дверь. Та распахнулась. На пороге стоял мужчина лет сорока, с блестящим, высоко взбитым коком, остекленелыми глазами и таким выражением на лице, словно его веселит хвороба, которая постигла его и до того еще ни с кем не случалась. Он был в рубашке, но распахнутой и не заправленной в брюки, так что наружу шаром торчал огромный голый живот, в красных пятнах и упругий на вид, словно надутый. Боб сразу ре-

шил про себя, что мужик сумасшедший и жуткий и что причинить ему боль будет непросто.

Пожелав доброго утра, Боб осведомился, дома ли Итан; мужчина ответил абсурдно высоким, клоунским голосом:

— Нет, сейчас его нет!

— А вы знаете, где он? — спросил Боб.

— Нет, не знаю!

— Но вы ждете его, так что, видимо, он скоро должен прийти?

Мужчина помрачнел.

— Ну, — сказал он, — насколько я понимаю, в какой-то момент ему придется прийти, разве не так?

— Да, я думаю, что вы правы, — сказал Боб, стараясь разглядеть через плечо мужчины, в каком состоянии квартира Итана, нет ли признаков порчи и разрушений, и тут приметил коротенький, тупорылый черный пистолет, который лежал на журнальном столике. Боб, велев себе не пялиться на пистолет, сразу же обнаружил, что не в силах не пялиться. И мужчина, проследив направление его взгляда, теперь тоже смотрел на пистолет. Физиономия его озарилась каким-то мрачным весельем, и он покивал, словно подтверждая присутствие оружия.

— Я бы пригласил вас войти и подождать, — сказал он, — но не думаю, что я вправе!

— Конечно, да, я все понимаю, — пробормотал Боб, пятясь на лестничную площадку. — Приду-ка я, пожалуй, как-нибудь в другой раз.

— Вот именно, — с этими словами мужчина закрыл дверь, а Боб спустился по лестнице и, перейдя улицу, вернулся в библиотеку.

Итан так и сидел за своим столом, увлеченно читая. Когда Боб подошел, Итан загнул уголок страницы и вопросительно на него посмотрел.

— Да, — сказал Боб, — определенно, пока что тебе лучше не возвращаться домой.

Итана передернуло.

— Он что, в ярости?

— Нет, на вид он довольно мирный. Но, знаешь, похоже все-таки, что он псих. — Боб понизил голос. — Мне показалось, на журнальном столике лежал пистолет.

— Показалось или он там лежал?

— Ну, это было похоже на пистолет.

— Ничто не похоже на пистолет, кроме пистолета.

— Наверное, я хотел сказать, что, может, это игрушка.

— Кому придет в голову принести игрушечный

пистолет в квартиру человека, которого ты намерен убить?

— Не знаю. Может, и никому.

— Вот и я думаю, вряд ли, — согласился Итан. — Тогда давай предположим, что это был пистолет, и пистолет настоящий, и что этим пистолетом он намерен меня убить.

— Давай, — кивнул Боб, а затем, просветлев, добавил: — Он надел рубашку. Она была не застегнута и не заправлена в брюки, но все равно — дело движется в правильном направлении. — Эта новость сменилась долгим молчанием. Его прервал Боб: — Может, пришло время подыскать себе новую квартиру?

Итан покачал головой.

— И речи быть не может, Боб. Мне нравится эта. Нет, я его пережду; он отвалит, и мне просто придется быть начеку еще примерно с неделю. Горечь его неизбывна, но гнев пройдет. Он расскажет себе и своим друганам в пивнушке, что честно намеревался убить меня, пытался, но не нашел. Потом он напьется и поимеет свою жену, целых сорок пять секунд будет ее иметь — в общем, во всю мощь даст ей понять, кто в доме хозяин. И назавтра к обеду вольется в круговорот своей жалкой жизни, а я стану еще одним невесе-

лым воспоминанием в его зеркале заднего вида.

Прозвучало это так небрежно и беззаботно, что Боб увидел за словами не более чем случай ложной бравады; но со временем он узнал, что Итан вряд ли когда испытывал такие чувства, как страх, смущение, беспокойство и сожаление.

Боб вернулся к работе, а Итан к “Преступлению и наказанию”.

Только после трех дня Итан увидел, что белый пикап уехал.

— И ведь выключил свет за собой, вот молодец. — Он встал, потянулся и спросил: — Можно мне взять домой эту книгу?

— У нас здесь библиотека, — ответил Боб, — так что да, можно.

Но Итан не был записан, и поэтому, как и в случае с Конни, Боб заполнил карточку и вручил ему временный читательский билет. Итан, поблагодарив Боба за помощь, повернулся, чтобы уйти.

— Но что, если это уловка и он все еще ждет там? — спросил Боб.

— Мне уже все равно, — сказал Итан. — Я пошел. Если меня убьют, сделай одолжение, извести мир, что я умер за любовь или что-то вроде того.

Боб смотрел, как Итан перегнал свой “меркурий” с библиотечной стоянки на другую сторону

улицы, припарковался на том самом месте, где только что стоял белый пикап, а потом прошмыгнул по лестнице внутрь дома. Поскольку пальбы после того не случилось, Боб решил, что обошлось без убийства.

На следующий день Итан вернул Достоевского, которого и вечером допоздна читал, и все утро. Он сказал, что хотел бы прочесть еще книгу, которая пробуждает такие же точно чувства, и если у Боба есть что ему посоветовать, не будет ли он так добр, на что Боб ответил ему, что да, уж так оно получилось, что да, может.

* * *

Отец Конни, приятно удивленный ее успехом в обеспечении его книгами, при всем том страшно боялся, что операция провалится, если к ней догадаются присмотреться; он принялся поглощать тексты в каком-то бешеном темпе, и потому Боб все чаще видел, как настороженное личико Конни возникает в дверях библиотеки.

Она ввела в обыкновение сначала найти на полках те книги, которые заказал отец, а потом присесть на краешек табурета у стойки выдачи, напротив Боба. К Бобу у нее обнаружилась масса вопросов, она их задавала, и ответы находила

внушающими надежду: у него имелся свой дом, он жил один, свою работу любил и не имел склонности к сомнительным развлечениям молодых американских самцов.

Ей показалось странным, что у него всего один друг; а потом она еще и узнала, что это дружба недавняя, свежая. Чем он раньше-то занимался в свое свободное время? И почему улыбнулся так странно при словах “свободное время”? Когда она указала ему на удивительное для его возраста благонравие, он попытался оправдать себя, рассказав ей историю про отель “Эльба”, которая вкратце сводилась к тому, что в одиннадцать лет Боб убежал из дома, сел в поезд, а затем и в автобус, добрался до океана и сумел внушить окружающим, что является полноправным постояльцем приморского отеля. Он пробыл там несколько дней, один между людьми-курьезами, людьми-диковинками, которые сохранились в его памяти как персонажи некоей загадочной книги. Конни с трудом верилось, что такое могло быть, но ей нравилось, что Боб сбежал, и она умилилась при мысли о том, что маленький Боб рванул в неведомый мир в поисках впечатлений, превосходящих те, которые выпали ему дома.

И у Боба, в его черед, сложился набор вопросов

к Конни, и отвечала она на них откровенно, драматизма не нагнетая, отчего расспрашивать ее было легко и приятно. Жизнь Конни не всегда была такой необычной; подразумевалось под этим, что ее отец не всегда был так неразумен. К примеру, она получила стандартное образование: детский сад и полный курс средней школы. Только после того, как умерла ее мать, что случилось, когда Конни было семнадцать, отца отнесло от традиционно набожных жителей предместья и забросило в царство фанатиков.

Недели вежливых расспросов подвели к территории потернистей, и однажды Боб решился спросить: “А что именно не так там с твоим отцом?” Конни не особенно ранил этот вопрос, но ответить на него было не слишком-то просто, поскольку ответ слагался из многоэтапного, многослойного повествования и изрядного количества допусков и догадок. В общем, если совсем кратко, то, сказала она, жизнь — вот что не так с отцом. Но ответ более полный сложился только после многих встреч и бесед.

Подкосило ее отца не то, что с ним случилось, а то, что не произошло; подобно многим несчастным, его судьба определилась его неудачей. Еще в детстве он ощутил призвание служить церкви

и, достигнув совершеннолетия, с разбегу рванул в священники. Однако церковь не сочла, что ему есть место в ее рядах; его старания сначала окоротили, а затем резко пресекли. Отец Конни потребовал поставить его в известность, в чем состоит проблема, и тогда представитель прихода объяснил ему, что членам церковной общины, мужчинам и женщинам, не нравится находиться с ним рядом, *он сам* им не нравится, и, следовательно, идея как таковая, что церковь будет обучать его, готовя к должности, которая приведет его к тесным контактам с указанным сообществом, противоречит здравому смыслу. “Ваша вера не вызывает сомнений, — сказал ему представитель прихода, — возражения вызывают ваши навыки общения или то, как вы их применяете”. Такую оценку отец Конни воспринял как удар, как травму, оправиться от которой он так и не смог. Даже после того, как он отдалился от церкви, женился и произвел на свет дочь, его сознание продолжала саднить, течением времени не притупляясь, неистребимая потребность в мести любых мастей.

Мать Конни обладала умением ситуацию сгладить, мужа уравновесить, самые буйные из его устремлений рассредоточить и распылить: так,

она разрешала ему писать письма в редакции, но подвела черту под рукопашными стычками и демонстрациями в одиночку. Конни отзывалась о матери одобрительно, но без любви.

— То, что она решилась посвятить свою жизнь такому человеку, как мой отец, на мой взгляд, доказывало, что она вступила во взрослую жизнь, настроенная на компромисс, и поэтому я не уважала ее, но, поскольку по сравнению с ним она была приземленной, в целом ее влияние на мою жизнь оказалось полезно. Оглядываясь назад, я думаю, мне есть за что ее поблагодарить. Потому что мой детский опыт и вполовину не был таким непрочным и опасным, как сейчас моя домашняя жизнь. После ее смерти мой отец сорвался с узды.

Мать Конни располагала скромным состоянием, доставшимся ей по наследству, на эти средства они и существовали; как только ее не стало, по завещанию выяснилось, что состояние, в общем-то, не такое и скромное, что было бы неплохой новостью, кабы не сопутствующее ей ощущение обмана. Отец Конни и понятия не имел, что принадлежит к верхушке, а не к низам среднего класса, и был шокирован тем, что его в это не посвятили. Это неприятное пережива-

ние, слившись вместе с прочими неприятными переживаниями, превратилось в одно огромное и крайне неприятное чувство. Теперь, вольный делать все, что взбредет в голову, и имея вдосталь денег для поддержания избранного им образа жизни, отец Конни уступил своим давно подавляемым и диковатым наклонностям.

Свои требования к дочери он выдвигал малопомалу и поначалу почти что робко. Предъявлял очередную идею так, словно то была некая проскользнувшая у него полумысль: “Я тут подумал, не стоит ли нам внести некоторые перемены в то, как ты одеваешься, Конни”. Но как только вопрос был поднят и перемены вступали в силу, он держался, будто так и было всегда и это была норма, — а отклоняться от нормы греховно, немыслимо. За полтора года он превратился в маньяка, несгибаемого и деспотичного, для которого выйти из дома было все равно что выйти на поле боя.

— Да и пожалуйста, — сказал Боб, — пусть делает, что хочет, но почему в этих боях вынуждена участвовать ты, Конни?

— Ну, это непростой вопрос, Боб. Если коротко, то, пожалуй, ответ в том, что он верит, что зарабатывает себе пропуск в рай, и хочет, чтобы я

спаслась вместе с ним. Тебе это трудно принять, знаю, но отец по-своему очень ко мне привязан. — Она сделала паузу. — Ты же понимаешь, да, что он никогда не бил меня или что-то такое? — Сообщение было полезное, потому что нет, Боб не понимал, и эта мысль не давала ему покоя. Конни, почувствовав, что озадаченность еще не исчерпана, прибавила: — И он не из этих, не извращенец, тоже.

— Уже хорошо, — сказал Боб.

Окончив среднюю школу два года назад, Конни не имела ни планов, ни желания продолжать образование. Как и в случае с Бобом, серьезных дружеских отношений у нее в школе не завязалось, но если Боба сверстники просто не замечали, то у Конни опыт был вовлеченнее и конфликтней. Она подпала под категорию иных, поскольку ее язык и поведение были окружающим непонятны. Парни посмелей, случалось, делали романтические пассы в ее сторону, но сталкивались со стойкой уклончивостью и загадочным безразличием; те же самые парни сходились в кучку, чтобы перетереть, какая страхолюдина эта Конни Коулман, просто жуть.

С юношами, да и с молодняком в целом, ей было не по себе. На взгляд Конни, они до того были

лишены сочувствия и способности представить себя на месте другого, что им следовало бы не дозволять ходить там, где ходят другие люди, не говоря уж о разрешении управлять автомобилем на улицах и шоссе. А вот сверстницы, сказала она Бобу, считали ее снобкой и ведьмой одновременно. “Одновременно! Только представь!” Словцо “снобка” не вполне совпадало с тем, как Боб трактовал Конни, но то, что оно пошло в ход, не удивляло его. Показная скромность совсем не была ей свойственна, и держалась она уверенно, что в женщинах середины — конца пятидесятых отнюдь не приветствовалось. Остракизм, которому ее подвергали, полагал Боб, был вызван своего рода завистью к тем, кто, как Конни, знал себе цену. Свидетельств, подтверждающих версию о том, что она ведьма, Боб никаких не нашел.

Пять недель прошло у стойки книговыдачи, где Боб и Конни встречались, стремясь узнать друг друга поближе. Боб считал, что отношения развиваются превосходно, и так оно все и было, но следующий их уровень виделся ему где-то там вдалеке. Конни не раз намекала, что не прочь прийти к Бобу в гости, и намеки делались декларацией:

— Хотелось бы мне увидеть твой знаменитый

дом!

— Да, конечно, конечно, — отвечал Боб, а затем, извинившись, ретировался в туалет, чтобы вытереть пот со лба.

Конни видела, что он растерян и что нужно его подтолкнуть; наконец, шлепнув по звонку на стойке, она заявила:

— Если ты сию же секунду не пригласишь меня к себе домой, я уйду навсегда, Боб Комет. Как тебе такой вот читательский запрос?

Боб прижал медный купол звонка, чтобы тот затих, и сказал, что да, она приглашена по всей форме, так что в следующее воскресенье Конни сказалась отцу больной, чтобы не отправляться с ним в рутинный агитационный тур на автобусе, и когда отец ушел на весь день, оделась, срезала цветов у себя в саду и на такси поехала через реку к дому Боба. С букетом в руке она постучалась в его парадную дверь; когда Боб открыл, он тоже держал букетик.

Обменявшись букетами, они перешли на кухню, где Конни отыскала вазу и наполнила ее водой, перемешав цветы вместе. Она поставила вазу на столик в закутке и отправилась осматривать дом. Боб шел за ней по пятам, сообщая, что где: здесь он читает; здесь он тоже читает; здесь

его детская спальня; а здесь мастерская. Конни шла, заложив руки за спину, как посетительница музея. Веревочные поручни произвели на нее впечатление, и она согласилась, что хорошо, что их оставили, не сняли. Они стояли бок о бок в комнате Боба, и Конни сказала:

— Ты, небось, думаешь, что я нацелилась прыгнуть к тебе в постель и заняться любовью?

Боб так покраснел, что Конни подумала, уж не удушье ли у него.

Приготовить что-то поесть он не сообразил, но зато сварил кофе, хотя хотелось ей чаю.

— Я куплю чай в следующий раз, — пообещал Боб: такой у него был замах на флирт, намек на будущую встречу, будто понятно само собой, что не в последний раз они вместе.

Они вышли с кофе на задний двор и уселись там на замшелой скамейке в зарослях сорняков и кустарника. Конни с каменным лицом огляделась вокруг.

— Это безобразие, а не сад. Твоя мать занималась садом при жизни?

— Нет, ей бы в голову не пришло.

— И ты в этом в нее?

— Думаю, любое сходство между мной и моей матерью — случайное совпадение.

Но, в самом деле, Боб и не думал ни разу заняться садом. Тут его разум воспарил вверх, к кронам деревьев. На Конни был красный свитер крупной вязки, и от нее сквозило, чуть слышно, розовой водой. Моросило, в воздухе висла сырость, но капель не было, влага словно испарялась куда-то.

— Ты даже представить не можешь, как тебе повезло, что тут столько места и никто тебя не донимает, — сказала Конни.

— Почему ж, могу, — сказал Боб. — Но и ты всегда можешь от отца съехать, не так ли?

— Могу, конечно.

— Так почему бы тебе так и не сделать?

Прежде чем ответить, она помолчала.

— Раньше я порой фантазировала, как получу профессию и стану работать. Знаешь, идея зарплаты и на что эти деньги потратить. Мне хотелось фиолетовую машину.

— Какой марки?

— Да фиолетовую, и все. Я представляла, как езжу на ней с работы и на работу, у химчистки, может, останавливаюсь по дороге домой. Как есть у меня где-то квартирка, и вечером я сижу за столом на кухне, выпиваю бутылку пива, и у меня играет проигрыватель. Так я себе представляла, как это будет, когда уйду от отца. Но, по сути, я

и не понимала толком, что такое работа. Я думала лишь о получке, не о времени и усилиях, которые нужно потратить, чтоб ее заработать. И вот вдруг меня осенило, что мне сорок лет придется торчать за машинкой, печатая служебные письма какого-нибудь урода. Понимаешь, о чем я?

— Да, — сказал Боб, вспомнив, естественно, про свою мать.

— Когда я была маленькой, — продолжала Конни, — я считала, что мои мать и отец — это два существа, принадлежащие к одной касте. Но потом я заметила, что мать старится, а отец как бы почти нет. Он утверждал, что работает на Господа. И прекрасно, но он не драил господень унитаз, в то время как моя мать драила сортир для него, а теперь это делаю я. Она работала; и я работаю; а он — нет. Но если мать уработалась буквально до смерти, у моих трудов есть предел. — Она сделала глоток кофе, а потом поделилась с Бобом своим особым секретом: — Мама как-то, незадолго до смерти, рассказала мне, что у отца со здоровьем неладно.

— Неладно в каком смысле?

— У него сердце очень больное, он ходит по тонкому льду. В общем, я пришла к мысли, что подчиняться отцу — это и есть моя профессия,

мой карьерный путь. Придется, наверное, поработать на него еще с год или, может, лет пять, и рано или поздно, и скорей, что не слишком поздно, но он все равно умрет. Отцу принадлежит дом, и деньги он получил от моей матери, а я получу все это после его смерти. И тогда я смогу делать, что захочу, без того, чтобы отец все портил, маяча в каждом дверном проеме.

— И чем бы ты хотела заняться?

— Всякой ерундой, Боб. Мне нравится в моей комнате. Я гуляю и работаю в саду. Люблю шить, готовить. Но еще я хочу делать все то, чего он мне не разрешает. Книги, фильмы, телевизор, путешествия, понимаешь?

Боб спросил, словно бы невзначай, входит ли в ее планы завести семью. Она пихнула его в бок.

— Ты это про детей? Что-то я не уверена.

— Разве ты не любишь детей?

— Да я ни одного ребенка не знаю.

— Возможно, тебя пугает сама идея детей.

— Да, честно сказать, наверное, так и есть. Для женщины это крупная инвестиция с ненадежной отдачей.

Она взглянула на часы.

— Я что, тебе уже надоел?

— Ой, да брось ты, — отмахнулась Конни, но

как-то по-доброму.

— Разве тебе пора уходить?

— Скоро будет пора. Но давай пока еще поболтаем. Расскажи мне про библиотеку. Теперь, когда мы не в ней, я хочу узнать о ней больше.

— Библиотека и есть библиотека, — сказал Боб.

— Но почему ты там?

— Потому что хочу. Мне там нравится.

— Что именно нравится?

— Мне нравится то, что я чувствую, когда я там. Для меня это место полно смысла. Нравится, что любой может прийти и бесплатно взять нужную ему книгу. Люди несут книги домой, обращаются с ними бережно, а затем возвращают обратно, чтобы и другие могли поступить так же.

Боб рассказал, как счастлив по утрам, когда приходит в библиотеку, а там еще никого нет; как ощутима плотная тишина в застланном ковром мезонине; как шикает “тишше!”, отразившись огнями в мокрой мостовой, безлюдный автобус.

— Тебе нравится, когда ты один.

— Одиночество — это нормально.

— Разве?

— Для меня — да.

— Ты что, не любишь людей?

— Я ни одного человека не знаю.

— А что, это умно, — сказала она, кивнув.

— Мне нравится *идея* людей, — сказал Боб. — А тебе они нравятся?

— Вообще-то да. — Она обдумала это. — Нравятся, когда в автобусе они сидят, такие одинокие, и смотрят в окно. Нравятся, когда пересчитывают на ладошке мелочь, видя, что подъезжает автобус. Я думаю, что по большей части люди стараются изо всех сил и делают все, что могут.

Она пожала плечами, потом сказала, что все-таки ей пора, и посмотрела на Боба, и Бобу захотелось поцеловать ее, но он не знал, как к этому подступиться. Чуть подождав, она встала и направилась к дому, и Боб побрел за ней. Она подошла к входной двери, сняла с вешалки свое пальто и надела его.

— Послушай, — сказал Боб, — а давай я тебя отвезу?

— Нет, так нельзя. Впрочем, ты можешь высадить меня, не доезжая до дому, как тебе это?

— Годится, — сказал Боб и потянулся за своим пальто.

Вскоре Конни стояла на входной площадке, глядя в спину Боба, который запирал входную дверь.

— А ведь ты слегка странноват, а, Боб? — спро-

сила она, и Боб, оборотясь к ней, ответил:

— Думаю, Конни, суть в том, что мы оба с тобой странноваты.

Как и в случае с домом, в машине Боба она хозяйственно осмотрелась, открыла и закрыла бардачок, включила и выключила радио, повращала регулятор громкости. Опустив стекло, прикрыла глаза, когда ветерок коснулся лица.

— Как приятно ехать в машине, — сказала она.

Они пересекли реку, миновали библиотеку, по случаю воскресенья закрытую. В миле от своего дома Конни как-то окостенела.

— Все, приехали.

— Но почему мне нельзя подвезти тебя прямо к дому? — спросил Боб, но Конни сурово велела:

— Немедля останови машину, Боб Комет.

Когда он не послушался, не притормозил тут же, дернула руль так, что Бобу пришлось съехать к обочине. Машина встала. Боб ухмылялся, и Конни видела, что в нем зреет какое-то озорство. Но ей было совсем не смешно, и она сказала ему:

— Ты ведь хочешь, чтобы мы снова увиделись, верно?

— Еще как верно!

— Ладно.

— Очень даже хочу.

— Что ж. Ладно. Я рада. Но тогда ты должен усвоить себе кое-что про моего отца. Это не пустяки, и он, знаешь ли, не просто какой-то там вздорный брюзга. Он одержимый фанатик, у него отрублена связь с реальностью. И если до него дойдет, что у меня что-то вроде романтических отношений, он обезумеет, озвереет, ясно? Причем “озвереет” — это как раз то слово.

— А не приходила тебе в голову мысль, что я, может, ему понравлюсь? — спросил Боб.

— Ты ему не понравишься.

— Может, сначала и не понравлюсь, но мало-помалу он увидит, что я неплохой парень, и полюбит меня вопреки всяким своим заморочкам.

— Он возненавидит тебя. Молиться будет, чтоб ты подох.

— Ну, может, одумается со временем?

— Нет, Боб. Послушай. Внимательно выслушай, что я тебе говорю. Вникни. Ты меня слушаешь?

— Да, — подтвердил Боб, глядя ей прямо в рот.

— Он ни за что не изменится до тех пор, пока у тебя есть хоть какой-то ко мне интерес. Он напрочь отрежет, отсечет тебя от нашей с ним жизни, и я не поручусь, что он не предпримет чего-нибудь экстремального, типа насилия.

— Ладно, — сказал Боб. — Тогда что мы с этим поделаем?

— Знакомить вас мы не будем, вот что мы с этим поделаем. — Конни чмокнула Боба в щеку, вышла из машины и, глядя на него уже с тротуара, добавила: — Не знаю, что тебе еще на это сказать. Но вот такая у нас проблема. Есть способы ее обойти, но напрямик не выйдет, и сделай одолжение, не отмахивайся, прими во внимание то, что я сейчас тебе сказала, ладно?

— Ладно.

— Спасибо, что подвез.

— Не за что. Когда мы увидимся?

— Как только, так сразу, понятно. Я дам тебе знать.

Боб смотрел, как она уходит, и когда она совсем скрылась из виду, поднял назидательно палец и произнес, словно обращаясь к присяжным: “Молодая женщина сама признает, что их связь носит романтический характер”.

* * *

По будним дням Боб и Итан часто ужинали в закусочной “Лучше не найдешь”. Обстановка там была необычная: войдя, вы видели перед собой конфигурацию в виде подковы из табуретов, при-

винченных к полу, застеленному линолеумом в красно-зеленую клетку. Других мест, где сесть, не было, как и кабинок; внутри подковы находилось что-то вроде подиума наоборот, углубление в полу, где официантка Салли исполняла свои обязанности.

Когда Итан и Боб пришли туда в первый раз, их встретил запах подгоревшего кофе и мокрых тряпок. Мужчины с серыми лицами подняли глаза от своих тарелок со скучной на цвет едой, совсем как животные у кормушки.

— Неужто и впрямь не найдешь? — поинтересовался Итан.

Из мужчин ему никто не ответил, но Салли оторвалась от кассового аппарата, чтобы глянуть Итану прямо в лицо. Уперев руки в боки, она сказала ему:

— Что ж, милый, думаю, мне придется тебе показать.

Салли являла собой персонаж замечательный в этаком официантском духе. Она была из тех женщин-трудяг, кто многое повидал на своем веку, и умела привлечь-заманить чувственно — отчасти благодаря своему силуэту, но также и в силу вульгарного блеска, танцующего в глазах и безошибочно узнаваемого. Едва увидев впервые

Итана, она больше не оставляла его без внимания, выражавшегося обычно в двусмысленных остротах и подначках. Стоило ему заказать себе “пэтти-мелт”, бутерброд из говядины с расплавленным сыром, как она стала звать его не иначе чем Пэтти, и не потому, что не знала имени — как зовут, сразу спросила, — а потому, что хотела протянуть между ним и собой личную связь, и ласковое имечко служило тому.

Каждый раз, когда Боб и Итан входили, Салли, где бы в этот момент ни находилась, кричала: “Пэтти!” — и одинокие, бедноватые завсегдатаи с их язвами, стимулирующими бодрость пилюлями и пульсирующей в черепе зубной болью оборачивались поглазеть на ответную реакцию Итана. Они жаждали тоже удостоиться прозвища, но Салли была им не по зубам, точно так же, как Итан был не по зубам Салли. Лет на пять раньше она, возможно, и смогла бы его покорить, хотя бы ненадолго; но теперь у нее не было ни единого шанса. Про любовь речи не шло, о жизни Итана и о том, что он за человек, Салли почти ничего не знала, но она вожделела его внимания, видя в нем воплощение молодости и мужественности, а также в знак уважения к тем социальным ценностям, которые когда-то воплощала собой сама.

Ее собственная юность только-только отполыхала, казалось, пыталась внушить она, и когда величала его Пэтти, то, должно быть, слышался ей отзвук тех цветущих, необузданных дней.

Итан же делал вид, что не замечает знаков внимания со стороны Салли, держался нейтрально, ни в коем случае не враждебно, ни намеком не отвечая на заигрывания, дабы не посылать сигналов, которые могли быть неверно трактованы. “Жесток во благо?” — хмыкнул Боб, и Итан коснулся пальцем кончика своего безупречного носа.

Выпал день, когда в закусочной почти никого не было, и Боб решил, что поговорит с Итаном о Конни, о физической стороне любви, об идее плотской близости с Конни и о том факте, что сам он этим делом еще ни разу не занимался. Подходил к этому как-то в одиннадцатом классе, а потом еще раз в колледже, но тогда ни с одной из девушек его не связывало истинное родство, так что подходил-то он подходил, да не подошел. Понемногу он привыкал видеть в себе человека, который способен обойтись без этих страстей, способен и готов к этому, но тут возникла Конни, и хотя наверняка сказать было трудно, но она, похоже, в самом деле ожидала от Боба больше

того, что входило в норму, сформированную его весьма ограниченным опытом.

К этому времени она уже трижды побывала в гостях у Боба, но они все еще ни разу всерьез не поцеловались. Исходя из мировоззрения Боба, половой акт по значимости был все равно что убийство; мог ли он так поступить с Конни?

Они заказали, что будут есть, а затем Боб изложил свою позицию, огласил свои опасения. Итан, хранивший молчание, пока Боб не закончил, только тогда спросил:

— А не думал ли ты, что она хочет, чтобы ты это сделал?

— Думал, — сказал Боб. — И решил, что это слишком смелое допущение.

На что Итан призвал его к действию, прибегнув к прямым, грубым не ради грубости выражениям и никак не учитывая то состояние трепета, в котором пребывал Боб.

— Ну, я, конечно, не знаком с этой девушкой, — сказал он, — но, сколько могу судить, нет на свете молодого мужчины или молодой женщины, которые были бы против того, чтобы совокупиться с партнером по своему выбору.

Боб вспыхнул, в гневе на то, что подобная пошлость может касаться Конни, и сказал, впервые

произнеся это вслух:

— Нет, но послушай, я же ее люблю…

Итана эта декларация Боба удивила до крайности; игривость, написанная у него на лице, сменилась вдруг добротой, а затем и смущением.

— Ну, тогда это что-то другое, Боб, — сказал он. — В таких вещах, в самом деле, я мало что понимаю. Так что, может, и вправду брякнул что-то не то, но все-таки, на мой взгляд, любовь и плотская близость должны хорошо сочетаться. Твоя юная леди тоже живая, из плоти и крови, и хотя не исключено, что она никогда ни за что не захочет заняться любовью, мне кажется, ты оказываешь ей медвежью услугу, когда возводишь ее на какой-то там пьедестал. Вот что, давай-ка мы спросим Салли. Эй, Салли!

Салли как раз расставляла для них тарелки.

— Что?

— Нам нужен твой житейский совет, как ты насчет этого?

— Всегда готова!

— Отлично. Что ж, Салли, для меня это новость, но я только что обнаружил, что вот этот мой приятель влюблен, и по самые уши.

— Да ну? Надо ж, вот черт, поздравляю. Это здорово.

Салли похлопала Боба по руке, и ее улыбка была искренней.

— Но, понимаешь, тут есть проблема, — продолжил Итан. — Он влюблен до того, что вбил себе в голову, что для физической любви его дама слишком прекрасна.

— А, так ты один из них, — сказала Салли и покачала головой так, будто предвидела такой поворот. — Ох, брат…

— Но что мы ему ответим? — спросил Итан.

И Салли сказала Бобу:

— Я скажу это один раз, и тебе самому решать, верить мне или нет. Ты только пойми, что я говорю с тобой честно и с самыми лучшими пожеланиями тебе и твоей конфетке, ты слышишь меня?

— Слышу.

— Хорошо слышишь?

— Да.

Салли посмотрела в самые глаза Боба.

— Даже самой чистенькой белоснежной голубке время от времени хочется, чтобы ее притиснули к стенке.

— Видишь? — сказал Итан.

— Я права или не права? — спросила Салли.

— Ты права. Она права.

Нельзя сказать, что Боб совсем всерьез отнесся к совету, который он получил в тот день от Салли и Итана; но кто знает, возможно, то, что Конни и Боб консумировали свой альянс на следующем же свидании, не стало простым совпадением. У отца Конни обострилась одышка, он на сутки лег в больницу понаблюдаться, так что Конни впервые с тех пор, как Боб с ней познакомился, оказалась свободна на целые двадцать четыре часа. Впрямую, где она проведет ночь, они не обсуждали, но она явилась в дом к Бобу с подозрительно объемной сумкой через плечо — Боб это заметил, и то, что он это заметил, Конни тоже заметила. Они съели спагетти и распили бутылку вина, а потом прогулялись по окрестностям. Боб указал на торчащий из тротуара пожарный гидрант.

— Споткнулся однажды об него и разбил голову. Восемь лет мне было. Все залил кровью.

Уличные фонари включились, когда они шли вверх по ступенькам к дому; оказавшись внутри, Конни так и продолжила вверх по ступенькам идти в спальню Боба. Он следовал за ней, и после некоторых борений они по-дружески прилегли рядом. Это было недолгое упражнение. Потом Боб лежал и думал свои счастливые глупые мысли.

Теперь он блудник, и внезапно все как-то сделалось хорошо.

Боб признался, что раньше никогда этим не занимался, и Конни явно была тронута тем, что она у него первая. Но когда она, в свой черед, не ответила ему таким же признанием, ему пришлось спросить себя, почему. Кожу подернуло холодком; зная, что выспрашивать неразумно, он все же не удержался, спросил, и тут выяснилось, что до Боба она уже занималась любовью с тремя другими мужчинами. Мужчин она называла парнями. Это резкое слово ранило Боба; когда он спросил, что она имеет в виду, употребляя его, она удивилась:

— Что значит, что я имею в виду?

— Я имею в виду, что, предположительно, это был кто-то из твоей школы, нет?

— Нет, Боб, я же тебе рассказывала, мальчишки в школе были просто кошмар. Мне даже думать о них было противно в таком ключе.

— Тогда кто же то был?

— Просто парни, и все.

Боб напрягся всем телом и зажмурился изо всех сил, а Конни, лежа на боку и подперев подбородок ладонью, внимательно на него смотрела.

— Я не стану рассказывать, если ты раздуешь

из этого целое дело.

— Я не раздую, нет. Может показаться, что да, но я знаю, что нет.

— Для меня это ерунда, — сказала Конни.

— Ладно, — сказал Боб. — Я все понимаю.

Он понимал, кроме того, что ему это не на пользу, но поделать с собой ничего не мог и расспросил о подробностях. В общих чертах, пояснил он, набросок мягким карандашом; и Конни согласилась выдать ему то, чего, по его мнению, он хотел.

— Парень номер один, — сказала она, — был плотник, которого отец вызвал, чтобы заменить ступеньку на лестнице, ведущей в подвал. Ему было чуть за сорок: вялый, дружелюбный, с животиком, разведен. То, что мой отец решился оставить нас с ним вдвоем, должно дать тебе представление о том, что это был за тип. Не Гэри Купер, понятно?

— Да.

— Ты в порядке?

— Да.

— Я еще за несколько недель до того решила, что со всем этим надо кончать и что, как только появится шанс, я им воспользуюсь. И вот шанс появился. Я накрасила губы и принесла парню тост, перекусить; сидела, смотрела, как он ест, а после

спросила: “Как тебе тост?” “Отличный”, — сказал он. Потом я спросила, нравлюсь ли я ему. Он надел очки и прищурился. “Конечно”, — сказал он. Я спросила, не хочет ли он зайти ко мне в комнату, и он поглядел на часы. — Конни со значением подмигнула. — Но, в общем, он оказался славный. То есть не свинья или что-то такое, и опрятный, вымытый, что уже не так плохо. Но само действо оставило грустное впечатление. После всего он стоял в ногах кровати, разглядывал, что висит у меня на стенах. У него была огромная, мясистая спина с жировыми складками и маленькая ярко-красная попка, как у десятилетнего мальчика, которого только что отшлепали. И вот он стоит там, смотрит на мой аттестат, на мои рисунки пони и фей и говорит: “Эх, напрасно я это”. Он оделся, а я накинула халатик и вышла проводить его до дверей. Мы пожали друг другу руки, и он сказал во второй раз: “Напрасно я это”. И больше мы с ним не виделись. Да я и не собиралась. И это был парень номер один.

— А парень номер два был менеджер в супермаркете. Он заговаривал со мной еще когда я в десятом классе была, а уж после того, как стала совершеннолетней и окончила школу, то взялся кадрить вовсю. И было у меня чувство, будто

он знает про меня и про плотника. Не то чтобы знает-знает, но будто чует, на каком-то пещерном уровне, и меня это интриговало. Я заметила, что он носит кольцо, и сказала: “Вижу, ты женат”, а он ответил: “Да, но еле-еле”. И я рассмеялась, конечно. И подумала, что раз уж однажды я это сделала, то какая теперь разница? Я, наверно, надеялась, что получится лучше, чем в первый раз, ну, знаешь, в смысле физических ощущений. Но все прошло один в один так же, как с плотником.

— И где это было? — спросил Боб.

— С парнем из супермаркета?

— Да.

— В супермаркете.

— Где в супермаркете?

— У Ромео была раскладушка в бытовке. Я называю его Ромео, потому что так его звали — так было написано на его бейджике. И было похоже, что он там и живет, в этой бытовке, так что, может, он и вправду был еле-еле женат.

— А что насчет третьего парня? — спросил Боб.

— Третий был полицейским.

Боб поднял руку. Он услышал достаточно, и больше ничего слышать он не хотел. И защититься ему было нечем, кроме своей незрелости, и в ту

ночь он капризничал, мучимый ревностью, чувством, едва ли знакомым ему раньше, но теперь оно полностью им овладело. Конни пыталась успокоить его, сколько могла, но вскоре ей это прискучило, и она заснула.

Когда Боб наконец заснул сам, ему снились сюжеты про рогоносцев, а проснувшись, он обнаружил, что верхней частью тела свисает с кровати. Конни еще спала; разглядывая ее лицо, Боб осознал мелочность своего поведения и, взяв себя в руки, разбудил Конни, чтобы перед ней извиниться. Извинения она приняла охотно и в ответ заверила его в своей необыкновенной именно что к нему привязанности, и снова они обнялись по-дружески, и снова это было оперативно, но Боб пообещал, что скоро наберется опыта, а Конни сказала, что она в этом не сомневается и всецело поддерживает все формы самоусовершенствования.

Несколько дней спустя Боб и Конни ехали вместе в автобусе. Никуда они особо не направлялись, а просто катались себе, и Конни пыталась показать Бобу, что именно она ценит в общественном транспорте. Тут ее постигла неудача, или, возможно, неудача постигла Боба, потому что ему так и не удалось хоть чуть-чуть полюбить

поездки в автобусе, из чего вовсе не следовало, что ему не нравилось то, что происходило в данный момент. К этому времени они утопали в своей привязанности друг к другу, и будущее лежало перед ними во всей красе. Это был этап абсолютной уверенности и великих планов, в линзах телескопа мир представал четко, и они молча ехали по юго-западной части города, держась за руки и мечтательно глядя в окно, как делали и продолжают делать влюбленные. Заметив итальянскую пиццерию под вывеской “У трех парней”, Боб указал на нее и сказал Конни:

— Смотри, вон твоя любимая забегаловка.

Конни вывеску прочла, повернулась к Бобу и уже собралась ответить, когда в разговор влез румяный толстяк в твидовой кепке и тренче “Лондон фог”, наклонился через проход к Конни с вопросом:

— Простите, мисс, я правильно расслышал, что вы поклонница пиццерии, которую мы только что миновали?

— Да, сэр, причем самая страстная, — ответил за нее Боб. — Вы бы послушали, что она может сказать о трех парнях.

На толстяка это произвело впечатление; он мотнул головой энергично, коротко выдохнул

и надавил на звонок сообщить водителю, что намерен сойти.

— Видите ли, в чем дело, — объяснил он, вставая, — я тут неподалеку живу. И я ценю добрый совет. От соседа соседу, как в животном царстве, как в лесу птицы делятся, где что, перекликаются с верхушки дерева на другую.

Мужчина поднял воротник повыше, затянул пояс и был таков. Боб повернулся к Конни, чтобы выразить свое удивление неожиданной поэтичностью момента.

Она все еще смотрела на Боба, и не то чтобы дружелюбно смотрела или недружелюбно — нет, скорей пристально. Она придерживала свой ответ, пока толстяк изливался, но теперь выдала его Бобу, пусть получит:

— Парней четверо, включая тебя, милый. Четверо парней, и счет еще не закрыт.

* * *

Однажды, допоздна засидевшись у Итана и выпив фруктового вина на две кружки больше, чем следовало, Боб улегся на кусачий зеленый диван и решил остаться там на ночь. Он уже спал, когда раздался стук в дверь. Итан в нижнем белье пересек комнату, чтобы открыть, и сквозь темноту

провел к себе в спальню женственных очертаний особу, нещадно надушенную. Судя по звукам, которые стала издавать посетительница, общение проходило успешно в масштабах, которые Боб и представить себе не мог; подразумевается под этим то, что он в самом деле не представлял, что там у них в спальне творится. Уставившись в потолок, он стал ждать, когда звуки утихнут. Выкурил сигарету, прикурил от нее вторую. Когда дуэт наконец достиг своего финала, грянувшая затем тишина оказалась столь внезапной и полной, что Боб воспринял ее как шум, и откуда-то из недр здания донеслись аплодисменты — соседям Итана было, надо полагать, не впервой, что подобные звуки издаются в его квартире.

Утром Боб проснулся с больной головой: по причине вина, а также оторопи и зависти. Он сварил кофе и уселся за кухонный стол, дожидаясь, когда Итан и его дама выйдут из спальни, но тут Итан явился через парадную дверь, один, с розовой картонкой кондитерских изделий под мышкой.

— Доброе утро! — сказал он.

— Доброе утро, — ответил Боб. — А где же твоя визгливая и безотказная подруга?

— Ушла домой еще пару часов назад.

Итан налил себе чашку кофе и сел за стол,

ожидая допроса, который, он знал, не мог не начаться.

— Итак, — начал Боб. Одним этим словом он сумел сказать многое. Он сказал: “Так вот как ты, оказывается, живешь”. Он сказал: “И таково, значит, звуковое сопровождение твоих занятий любовью”. Он сказал: “Ничего похожего на то, как занимаюсь любовью я”. Он сказал: “Все ли так хорошо у тебя, как кажется?”

— Да, — ответил Итан.

— Но кто она?

— Знакомая.

— И где же вы познакомились?

— На улице.

— Как?

Итан открыл розовую картонку и рассмотрел, что там внутри.

— Это было в то время, когда я был без машины, сидел на Бродвее на автобусной остановке, а она подъехала на новом “понтиаке” и спросила, как проехать к Саду роз. Номера у нее были местные, орегонские, так что я сразу решил, что вряд ли она нуждается в дорожных указателях. “Если у вас так много свободного времени, — сказал я ей, — может, подкинете меня до дома?” Во всяком случае, было у меня впечатление, что именно с

такой целью она в первую очередь подкатила. И сказал я это, в общем-то, мягко, но она обиделась или притворилась, что обижается. Тут подошел мой автобус, я в него сел и думать о ней забыл, но, когда уже на своей остановке вышел, там снова был “понтиак”. “Извините, молодой человек”, — сказала она.

Итан выбрал печенье и откусил от него, подхватывая крошки свободной рукой.

— И что потом?

— Она сказала, что подумала, и все-таки, пожалуй, нам с ней по пути. Я сел в ее машину, и она доставила меня к дому.

— А потом?

— Что потом?

Итан поиграл бровями.

— Что, прямо с места в карьер? — спросил Боб.

— Да.

— Белым днем?

— Да.

— И когда это произошло?

— В конце прошлой зимы.

— Как часто вы с ней видитесь?

— Она возникает раз в две недели примерно. Расписания нет, все зависит от нее. У меня нет даже ее телефона.

Итан подтолкнул розовую коробку к Бобу, но Бобу было не до того, так занимал его разговор.

— Но кто же она такая? — завел он снова.

— Понятия не имею, Боб. Видишь ли, это входит в условия игры. Я знаю, что ее зовут Перл, и знаю, что она богата и что она замужем, хотя она делает вид, что это не так — снимает кольцо перед тем, как войти. Ну и ладно, пожалуйста. Пусть прикидывается кем хочет, мне все равно. Как-то она сказала: “Один раз попросишь у меня денег, Итан, и больше меня не увидишь”. Какова, а? Ей нравится диктовать условия, а я делаю вид, что подчиняюсь, но на самом деле верх ей не взять — никогда и ни за что.

— Почему?

— Потому что на самом деле мне до лампочки, вернется она еще раз или нет.

— Но ты же рад, когда она возвращается.

— Рад — сказано слишком сильно. Но я и не прогоняю ее, это правда.

— И все-таки прошлой ночью она, мне показалось, чувствовала себя желанной гостьей, — заметил Боб.

Итан отдал поклон сидя и откусил еще от печенья.

— Знаешь, чем дальше, тем больше встречи с Перл и такими, как Перл, видятся мне чем-то вроде тренировки. Потому что настанет день, приятель, когда я тоже влюблюсь, как ты. И когда это произойдет, я с той, в кого я влюблюсь, буду пылинки сдувать и носить на руках до самой до смерти.

Боб на это сказал, что такой сценарий кажется ему мрачноватым и даже, пожалуй, бессердечным, а Итан ответил ему, что напрасно он придает этому столько значения.

— Ведь, по сути, это всего лишь небольшая любезность, которую мы с ней друг другу оказываем. Все равно что придержать лифт для незнакомца в подъезде. — Он похлопал по розовой коробке. — Отличная сдоба, Боб.

Боб сидел там, покуривая и попивая кофе, посматривал на своего друга и размышлял об огромной разнице в их опыте. Он все еще не знакомил Конни с Итаном, но только сейчас признался себе, что намеренно держит их порознь. И не в том было дело, что он предполагал, будто Конни, вопреки своей воле и своим представлениям о верности, хлопнется в обморок, сметенная с ног профилем Итана и его обаянием; Боб не считал также, что Итан воспользуется этим своим

инструментарием с целью отбить у него Конни.

Его страх, его боязливое убеждение состояло в том, что Конни и Итан, познакомившись, придут к пониманию того, что они настоящая пара, куда более настоящая, чем Конни и Бобу когда-либо дано стать. Выглядело это бредом, но бред был резонный и в потенциале своем достоверный. Впервые в жизни Бобу выпали и любовь, и дружба, и все, что ему требовалось, чтобы сохранить это положение, — вообще ничего не делать.

Тридцать минут спустя он сидел перед домом Итана в своем “шевроле”, осознавая опасность ясно и четко: он не должен допустить, чтобы они познакомились. Он им встретиться не позволит.

* * *

Ситуация с отцом Конни развивалась.

Конни пришла в библиотеку через час после того, как Боб заступил на смену, и лицо у нее было красное и зареванное.

— Доброе утро. Слушай, я сделала глупость.

Оказалось, накануне вечером она подкатила к отцу с новостью о своих отношениях с Бобом, и отец отнесся к новости плохо.

— Разве мы не договорились ничего ему не рассказывать? — удивился Боб.

— Договорились, но вот я взяла и рассказала, потому что я идиотка. — Она приложила руку к щеке. — Слушай, я совсем жуть или еще не совсем?

— Ты самую чуточку жуть.

Она вздохнула.

— Я за завтраком пыталась проглотить свои хлопья, но он все орал и орал, так что я бросила все и ушла.

— Но ты вроде сказала, что разговор был вчера вечером?

— Да, вечером он тоже орал. А потом заснул, и я подумала, что все, уже проорался, но с утра он начал по новой. В общем, не знаю, что сказать, кроме того, что он псих, а я чистая идиотка, и не представляю, что нам теперь делать.

Она пошла в туалет, чтобы поплакать еще немного. После этого они с Бобом уселись в комнате отдыха и принялись обсуждать, что можно предпринять в сложившихся обстоятельствах. Боб, осознав, что они как бы на перепутье, преисполнился несвойственной ему смелости и выдвинул идею, что ей не следует возвращаться к отцу, а следует остаться у него дома.

— Что значит “остаться”? Остаться на сколько?

— На сколько захочешь. Навсегда.

— А как же завещание?

— А что завещание?

— Он сказал, что, если мы продолжим встречаться, он лишит меня наследства. Денег, дома, всего.

— Ты думаешь, он это всерьез?

— Не знаю.

— Ну, даже если всерьез, нам от твоего отца вообще-то ничего и не надо. Дом у меня есть. И деньги.

Конни поглядела на него недоуменно, почти обиженно.

— Прости, пожалуйста, это о чем ты сейчас? — спросила она. — Это что, предложение? Это ты меня замуж зовешь?

— А ты этого хочешь?

— Наверное, да.

— Наверное, да?

— Да.

— Ладно, тогда я делаю тебе предложение.

— Ладно, делай.

— Ты выйдешь за меня замуж?

— А как же встать на одно колено?

Боб встал на оба колена.

— Ты выйдешь за меня замуж?

Мисс Огилви, войдя за момент до того, как Боб

задал вопрос, вмешалась прежде, чем Конни успела открыть рот:

— Будь любезен, Боб, личные дела в другом месте.

И вышла из комнаты, а Боб поднялся с колен и вывел Конни наружу. Насчет замужества она больше ничего ему не сказала, но согласилась с тем, что Боб в тот же вечер за ней заедет и она останется у него, по крайней мере до тех пор, пока накал не угаснет и обстановка не прояснится, и, дожидаясь автобуса, они обсудили детали.

Ночью, без пяти двенадцать, Боб припарковал “шевроле” через дорогу от дома отца Конни и заглушил двигатель. Тень от уличного фонаря падала на капот, рассекая его наискосок; Боб держал наручные часы на свету, следя за секундной стрелкой. Было тихо.

Наступила полночь, и Боб перевел взгляд на окно второго этажа, где была спальня Конни. Сердце затрепетало, когда он увидел, что створка медленно поднимается; но тут раму застопорило, и Конни опустила ее, чтобы попробовать еще раз. Створка вдруг поддалась, подскочила и громко стукнула, что вызвало лай окрестных собак. Когда лай стих, рука Конни высунулась из неосвещенной спальни, и два чемодана один за другим были

спущены на крышу крыльца. Боб, выбравшись из “шевроле”, неслышно прошмыгнул через улицу, а затем по лужайке и встал на посту там, где они договорились заранее. Конни прокралась вперед к краю крыши, по чемодану в каждой руке; она сбросила их Бобу, а затем опустилась на четвереньки и спрыгнула. Юбка ее взметнулась, и Боб заметил, никак не мог не заметить, что трусиков на ней нет, — деталь интригующая, но в тот момент недосуг было над этим поразмышлять, поскольку Конни приземлилась на траву, впечатляюще и нежданно совершив кувырок вперед, подобно парашютистам. Боб помог ей встать, подхватил ее чемоданы, и они поспешили через улицу к “шевроле”. И только усевшись в машину, Конни осознала, что она без трусов.

— Слушай, да я без трусов! — сказала она, и Боб ответил, что да, он заметил, так что Конни на минутку съежилась со стыда.

Она объяснила, что проснулась вот только что и одевалась так спешно, что трусики, как она выразилась, как-то упустила из виду. Она сказала, что сожалеет о том, какое зрелище собой представляла, если Боба оно смутило, а Боб ответил, что ничего подобного, не смутило и смутить не могло, а кроме того, было темно, и вообще ему

это все в кайф.

Он, молодой библиотекарь, переживал любовное приключение; летней орегонской ночью его скандализованная возлюбленная свалилась с неба, позабыв про белье, и глушитель “шевроле” урезонивающе бормотал что-то. Они ехали по мосту; окна были опущены, от воды веяло прохладой, которая проникала в машину. Конни сидела рядом растрепанная; лицо ее обрело выражение, которое можно было принять за влюбленность.

— Я выйду за вас замуж, месье Боб.

* * *

Девять дней спустя отец Конни упал замертво, поливая лужайку перед домом.

Конни оставила номер Боба соседке, которой доверилась, и теперь, ленивым воскресным днем, соседка позвонила сообщить новость.

Боб лежал на диване и через коридор видел, как Конни в кухне разговаривает по телефону; в белом фартуке, она держала в руке длинную деревянную ложку и кивала, и ложка тоже кивала, как дирижерская палочка, отбивая такт.

— Хорошо. Да. Отлично. Спасибо. — Она положила трубку на рычаг. — Мой отец умер, — сказала она и повернулась к плите, чтобы помешать

суп.

Боб прошел на кухню, приблизился к ней сзади, обнял за талию, но она приняла это сухо, и поэтому он воротился к дивану.

Некий голос подсказал Бобу, что ее нужно оставить в покое; после ужина, поразмыслив, она спокойно сообщила ему, что, хотя ее отец и не был плохим человеком, все-таки он был глуп, глуп и с дурными наклонностями, и решение ее состоит в том, что она не станет заниматься его останками, потому что он ликовал бы при виде того, как неприятно и неуютно ей будет иметь с ними дело, и этого последнего торжества она ему не доставит.

— Останками? — переспросил Боб.

Конни объяснила:

— Я должна пойти к коронеру и в похоронное бюро, подписать документы. Но нет, я этого делать не буду.

Ей вспоминались все те мелкие унижения, которые им с матерью на протяжении многих лет приходилось терпеть из-за гордыни отца. Воспоминания саднили, не отпускали. Ее гнев был здоровой на них реакцией, и Боб, который отца Конни тоже не одобрял, мог это понять, но его смущало, что гнев расстраивает и портит

присущую ей гармонию, соразмерность; а кроме того, он подозревал, что впоследствии она о своем поведении пожалеет. И тогда Боб предложил ей, что возьмет на себя заботу о приготовлениях, на что Конни сказала: “Не может быть, чтобы тебе хотелось в это влезать”, — и правда, ему не хотелось, но он сказал, что, по его мнению, он все равно должен, если только она не настроена так решительно, что запретит ему вмешиваться.

— В жизни никому ничего не запрещала и сейчас не стану, — сказала она.

Так и вышло, что Боб отправился к судебному патологоанатому, чтобы опознать тело перед тем, как его переправят в похоронное бюро, и чтобы этим заняться, он взял в библиотеке отгул на утро.

Судебный медик оказался человеком приветливым, но нездорового вида; он провел Боба в просторное, выложенное белым кафелем помещение с одним окном; проникавший в окно солнечный луч доставал до каталки, на которой покоилось тело, покрытое простыней. Они подошли к телу, и патологоанатом пояснил Бобу, что уже провел утром вскрытие. Обычно в случае смерти от естественных причин вскрытия не проводят, но на сей раз сделали, поскольку на

этот счет имелось прямое требование покойного.

— В похоронном бюро хранилось письменное распоряжение мистера Коулмана, которое мне вчера передали, как он и указал. Понять это несколько трудновато, но суть сводится к тому, что джентльмен опасался, что его убьют с помощью яда, и хотел, чтобы постфактум это проверили.

— И кто же, по его мнению, намерен был его отравить? — спросил Боб.

— Ну, если коротко, то Ватикан. Более развернутый ответ указывает на группу священников, проживающих в районе Форест-Парка, которые, как полагал мистер Коулман, имели на него зуб. Письмо четко рисует картину психической неуравновешенности, но я пошел клиенту навстречу и согласился на вскрытие.

— И что, его отравили?

— Нет. Неисправное сердце и никаких признаков нечестной игры. Одно лишь показалось мне необычным: легкие и печень у этого человека — как у девятнадцатилетнего юноши. Чистые и блестящие, как будто ими не пользовались.

На это Боб поведал медику, каких убеждений придерживался отец Конни, и тот сказал:

— Да, видно было, что не курил и не пил. Похо-

же, обольщался, что оно того стоит. А вот мне не жалко лишиться заради этого всех пятнадцати лет.

Письмо отца Конни так раздразнило любопытство патологоанатома, что он обиняками, почти извиняющимся тоном стал выспрашивать Боба, какими обстоятельствами сопровождалась его смерть. Боб сказал, что отец Конни был недоволен предстоящим браком дочери.

— И вы — будущий жених?

— Верно.

Медик понимающе хмыкнул.

— Так называемое разбитое сердце — это сердце, остановившееся ввиду романтического разочарования или какой-то еще крупной потери, скажем, смерти ребенка. И хотя такой феномен случается, смерть от горя крайне редка. Что гораздо больше распространено, так это смерть от злости, от негодования, от досады. Мне кажется, это и есть наш случай.

С этими словами он начал скатывать простыню, укрывающую труп отца Конни. Был в этом некий постановочный эффект, который напомнил Бобу элегантный жест фокусника: вуаля!

— Он?

— Он.

Медик наблюдал, как Боб осматривает покойного, и в глазах его все не гас огонек любопытства. Тогда Боб основательно описал ему свою неприязнь к отцу Конни, перечислив все его недостатки и проявления дикости. Рассказывая, он распалился и порицал пламенно, но потом спохватился и улыбнулся патологоанатому, который слушал его с явным интересом и удовольствием.

— Вы, должно быть, чего только тут не слышите по части всяких семейных дел, — сказал ему Боб.

— Это да. Я, конечно, не должен вам этого говорить, но не могу не признать: работка здесь — не соскучишься. — И, прикрывая простыней тело, со вздохом смутного сожаления воскликнул: — Нет, но видели бы вы его печень и легкие! Будто сию минуту с конвейера, новенькие, в коробке!

Когда Боб вернулся домой, радио было включено, но Конни в доме не оказалось. Она нашлась на заднем дворе, одетая в старые вещи Боба, выпалывала сорняки.

— Вот погоди, я еще превращу эту свалку в нечто особенное, — сказала она, завидев его.

Боб сидел на клочковатой травке, наблюдал за прополкой и ждал, что она поинтересуется, как прошел его визит к судебному медику. Когда она так и не поинтересовалась, Боб сказал, что

готов обсудить с ней свои впечатления, если она того пожелает, на что она ответила, что не хочет об этом слышать. Только поблагодарила Боба за помощь, и Боб сказал: “Не за что”.

Заупокойной службы не было, и местонахождение праха осталось загадкой.

Через шесть недель после того, как Боб опознал труп, Конни получила от адвоката письмо, извещавшее ее, что из имущества отца ей ничего не причитается. Но она знала об этом заранее и смирилась, и поэтому особенно сильного эффекта известие не произвело. Боб смотрел, как комически подчеркнуто она отправляет письмо в мусорное ведро под кухонной раковиной. На лице Конни читалось неподдельное удовольствие, и он любил ее нежно, крепко и горячо.

* * *

Не свести вместе Конни и Итана было трудной задачей, потому что оба они регулярно являлись в библиотеку. То Конни чуть не столкнулась с Итаном, уходя сразу перед тем, как ему прийти, то наоборот. Затем был неприятный момент, когда они, не зная того, оказались в библиотеке одновременно, но Боб об этом смолчал, и таким образом удалось избежать сшибки.

И вот как-то ранним вечером, когда Боб стоял на посту за стойкой, Конни и Итан, к величайшему ужасу Боба, вошли в библиотеку вместе. Итан вел ее под локоть, и они смеялись. Они подошли и картинно выстроились перед Бобом: вот мы, пожалуйста! Итан не отпускал руку Конни, та раскраснелась от удовольствия. Боб велел было себе подыграть, сымитировать их шкодливое оживление, но сюрприз был неприятен ему так капитально, что лучшее, что он сумел, это встретить их недоуменным взглядом.

— Что случилось? — спросил он.

— Ты расскажешь? — спросил Итан Конни.

— Я расскажу.

— Ладно, если хочешь, давай.

— Да, давай я.

И Конни принялась рассказывать, вроде бы Бобу, но при этом глядя на Итана.

— Хорошо, — сказала она. — Я ехала в автобусе, и ни до кого мне не было дела, кроме как до себя, когда поняла, что какой-то тип, который сидит через проход, на меня пялится! И хотя понятно, что каждому льстит, когда на него пялятся, все-таки через какое-то время мне это надоело, и я попросила, давайте-ка прекратите, пожалуйста. И он прекратил — примерно на три с полови-

ной секунды. А потом снова стал пялиться, и я уже даже заволновалась немного, потому что, кто его знает, может, он развратник какой? И я стала оглядываться, ища, куда бы мне от него пересесть, но свободных мест не было, и тогда я вынула свою книгу и принялась читать, ну, или притворяться, что читаю, потому что так он увидит, что я занята, и поймет, что мне до него нет дела, верно? Ну, смотрю в книжку и в самом деле начинаю читать, и почти уже позабыла совсем про развратника, который на меня пялился, когда он тянет вдруг свою руку и постукивает пальцем у меня по странице! Я поднимаю глаза, он наклоняется ко мне, лицо такое серьезное, и говорит…

— Ты не так все рассказываешь! — перебил ее Итан.

— Разве? А по-моему, так.

— Она неправильно рассказывает, — сказал Итан Бобу.

— Ну тогда рассказывай сам, — сказала Конни.

— Идет. — Итану потребовалось время, чтобы собраться. — Ну слушай, Боб, — сказал он, — я таки да, я пялился на нее. Прости. Но когда я вошел в автобус, я сразу заметил, что она сидит там вся прямая и чопорная, и как мне было не пялиться? Я и пялился, как обычно бывает между мальчи-

ками и девочками, но была тому еще и другая причина, не очевидная сразу, и заключалась она в том, что было в этой девушке непонятное что-то… какой-то вопрос витал в воздухе над ее головой. Может, я с ней раньше встречался или просто видел где-то еще. Была в ней эта загвоздка, что-то такое… особенное, но я не мог понять, что. И тут она лезет в свою сумку и достает книгу, и я вижу, что книга библиотечная. И не просто библиотечная, а “Преступление и наказание”. И не просто какой-нибудь там экземпляр “Преступления и наказания”, а тот самый, который я тут у тебя брал, с потертым названием и пятнышком на корешке. И стоило мне это увидеть, как тайна раскрылась, и я со всей точностью понял, кто она есть.

— И тогда он наклонился ко мне и сказал…

— Нет-нет, позволь, я, это моя ударная реплика. Я наклонился к ней и сказал: “Ты Конни, а я Итан, и я думаю, нам нужно поговорить, потому что мы оба любим одного мужчину, и я не могу допустить, чтобы мы его так между собой делили!”

И парочка снова расхохоталась, а Бобу захотелось провалиться куда-нибудь, или чтоб провалился Итан, или Конни, или все они трое. Также ему хотелось, чтобы Итан и Конни пере-

стали так радоваться друг другу и еще чтобы Итан отцепился наконец от ее локтя. Смех Конни угас, она пристально и испытующе взглянула на Боба.

— В чем дело, милый? — спросила она, и Боб ответил, что все в порядке, просто день выдался длинный.

Итан и Конни решили, что им троим следует пойти куда-то поужинать, и они ждали на тротуаре снаружи, пока Боб управится с закрытием библиотеки. Расставляя по местам стулья и выключая свет, он украдкой поглядывал в окно; Конни снова смеялась, и они с Итаном стояли близко друг к другу.

Боб запер дверь и пошел по дорожке к тротуару. Конни смотрела в другую сторону, но Итан поднял глаза и увидел приближающегося к ним Боба, и тогда его улыбка исчезла, а лицо смягчилось выражением озабоченности и доброты, как будто он ощутил вдруг, что Боб страдает и почему. Бобу стало мучительно стыдно, но поделиться этим не захотелось.

Безрадостная это была прогулка. Конни, которая шла между Бобом и Итаном, не взяла Боба за руку, как обычно, а шла сама по себе, от него отдельно. Не в силах вынести это, он ухватил ее за руку, но она сразу ее отобрала и спрятала

в карман.

К тому времени, как они прибыли в ресторан, поведение Итана изменилось. Он не резвился больше, а почти что светски расспрашивал, какие планы у них насчет свадьбы, поедут ли они куда-нибудь на медовый месяц, будут ли у них дети и сколько. Разговор, в общем, не клеился, и Конни попыталась вернуть Итана в его нормальное русло, дразня вопросами вроде: часто ли он пристает к девушкам в автобусах? Каков его показатель успеха? Есть ли среди автобусных приставал рекордсмены? Как быть, если он, например, сел в автобус, чтобы попристават, и обнаружил, что на борту уже имеется приставала? Должен ли он покинуть автобус, чтобы дать возможность коллеге-приставале поработать без конкуренции? Но и это направление не получило поддержки, и тогда Конни попыталась вовлечь Итана в подначки над Бобом, но Итан друга только хвалил, говорил, что Боб положительно на него влияет, и восхищался Бобом, что, по мнению Боба, указывало, что Итан говорит так из жалости.

В целом для Боба этот ужин стал воплощением эмоционального дискомфорта. Под конец Итан выхватил счет из рук удивленного официанта и заплатил за всех, проявив беспечную щедрость,

хотя был на мели, и Боб знал, что он на мели. После этого Итан поспешил уйти, оставив после себя безотрадное молчание, и Боб даже не понял, где закончилось ощущение опасности, в котором он до того пребывал, и начался подлинный ужас.

Они с Конни вернулись к библиотеке, где дожидался их “шевроле”, и за всю дорогу домой едва ли перемолвились словом. Войдя в дом, Конни сказала, что ей жаль, что она не понравилась его другу. Когда Боб спросил ее, что она имеет в виду, она ответила:

— Сначала он дружелюбен и резвится, словно щенок, верно? А потом за ужином ни слова не говорит мне, только бурчит, и все делает, чтобы не дай бог не столкнуться со мной глазами!

— Может быть, он стеснялся?

— Нет, до ужина он таким не был. И в автобусе вел себя так, что стеснением и не пахло. Да и с чего бы ему стесняться меня? Разве ты не говорил, что он что-то вроде плейбоя?

— При чем тут это?

— Я про то, что я некрасивая.

— Нет, это не так. И потом, какое отношение твоя внешность имеет к Итану?

— Никакого. Я не знаю. Мне жаль.

— Да чего тебе жаль-то?

— Ладно, Боб, прекрати.

И она принялась снимать пальто и вешать его на крючок в прихожей, а потом застыла, уставясь на стену.

— Я хочу нравиться твоему другу, это тебе понятно? Мне важно, чтобы мы ладили.

Боб, не сняв пальто, поднялся наверх и лег поверх одеяла, слушая, как долетают снизу привычные звуки вечернего быта: Конни включала и выключала воду, открывала и закрывала заднюю дверь, щелкала выключателями.

Он не дал наименования причине своего беспокойства, но по тому, как он себя вел, не оставалось сомнений, что он снова поддался ревности. И понимал ведь, что это его не красит, но, как ни верти, не знал способа ревность укоротить.

Лежа там и корчась от мук, он заметил, что ночные шумы в исполнении Конни становятся все декларативней: она стучала и гремела вещами громче обычного. Боб прислушался со вниманием и с интересом — да, определенно, она выражала гнев. А что, подумал Боб, если она разглядела причину моего беспокойства, распознала ее и теперь ею оскорблена? Эта мысль вместо того, чтобы привести Боба к раскаянию или печали, успокоила и вселила надежду. Не стоит ли

трактовать гнев Конни в том смысле, что страхи Боба в ее глазах не только не обоснованы, но даже не представимы? По мере того как лязг и грохот усиливались, облегчение Боба росло.

Поднимаясь по лестнице, Конни топала ногами и бранилась себе под нос, что Боба, в общем-то, волновало. Сердясь, она приняла душ; влезла в пижаму, сердито сунув ноги в штанины; шлепнулась на край кровати и гневно воззрилась на Боба, который спокойно объяснил ей, что любит ее так сильно, что слегка спятил сегодня, и просит прощенья, если это оскорбило ее или порочит их жизнь. Это была установка, отталкиваясь от которой они могли достичь пункта, в котором Конни простит его. Позже, уже совсем ночью, Боб взял ее за руку, и руку она вырывать не стала.

Утром Боб сделал внушение самому себе. До этого он не осознавал, как их пакт уязвим; теперь ему стало ясно, что структура не стабильна, отнюдь, ею следует заниматься, постоянно о ней заботиться. Напуганный тем, что натворил, и тем, как себя вел, Боб сказал себе, что единственный путь вперед — это верить в то, что они с Конни создали, и защищать созданное.

В последующие четыре или пять недель Боб

ни слова не слышал от Итана; и сам он также не наводил мостов. Боб был рад, что они взяли перерыв, но в то же время тревожился, потому что этим, казалось, подтверждались его опасения. Конни дважды в течение месяца спрашивала об Итане, оба раза изображая, что вспомнила его мимоходом, но Боба коробило, что она вообще о нем помнит. Он решил про себя, что готов отказаться от дружбы с Итаном, если это цена за то, чтобы он не чувствовал себя так гнусно, как в прошлый раз; но на самом деле все было куда сложней.

Во время этого затишья бывало, что он ужасно скучал по Итану, и вспоминалось ему, как они шли вдвоем ночью по городу, выпив по три-четыре бокала каждый, шли и трепались, ни на что не обращая внимания, кроме мыслей, которыми перебрасывались, поеживаясь от холодка. До конца своих дней всякий раз, когда Боб думал о бывшем товариществе, на ум приходил именно этот сценарий: они вдвоем спешат куда-то, перебивая друг друга и хохоча, сигаретный дым клубится за ними. Куда они так спешили? Что обсуждали так весело?

С самого начала их дружбы Бобу было интересно, каков Итан, когда они с Бобом порознь,

но лишь однажды он мельком увидел Итана в его стихии.

Было туманное утро, и Боб просматривал газету у себя за стойкой, когда на другой стороне улицы остановилась машина, драндулет-тарахтелка, битком набитая молодежью обоего пола, хохочущей и крикливой, и это в семь пятнадцать утра. Итан, втиснутый между другими на заднем сиденье, по ногам стал выбираться на выход, но едва он ступил на тротуар, как приятели втащили его обратно. Это повторилось дважды, прежде чем он вырвался на свободу, ворот майки растянут, волосы, словно в ужасе, дыбом, и, повернувшись лицом ко всей компании, вельможно перед ними раскланялся, а они забросали его комками бумажного мусора, осыпавшими ему плечи и голову. Но вот драндулет отполз, Итан поднялся по ступенькам и скрылся. Боб снова уткнулся в газету, но смысл слов ускользал от него, и думать он мог только о триумфально шумном возвращении Итана.

Три четверти часа спустя Итан вошел в библиотеку. Свежий после душа, переодетый, причесанный, он спокойно пожелал доброго утра и принялся трезво проглядывать только что поступившие книги, на которые указал ему Боб.

О бессонной ночи он не обмолвился; исходя из этого, Боб рассудил, что Итан держит его за серьезного человека, за личность, рядом с которой можно научиться чему-то или в принципе стать лучше, вот только сообщать все подробности его, Итана, развлечений этой личности, пожалуй, не стоит. Нельзя сказать, чтобы это было нелестно, но какой-то частью себя Боб не мог не жалеть, что уж ему-то никак не светит приехать в подобной тарахтелке домой, когда обычные люди уже просыпаются, после ночи, проведенной в, должно быть, самом отъявленном и веселом грехе.

Что же тогда Итан нашел в Бобе? Чем привлек его Боб? Простодушием и наивностью? Как случилось, что они стали друзьями? Конни считала, что такой обособленный человек, как Боб, не должен отказываться от своей единственной дружбы. Это было логично и здраво; но он шагу не сделал, чтобы преодолеть разрыв, и смирился с тем, что эпоха, когда у него был товарищ, прошла.

И все-таки Итан пришел к Бобу в библиотеку. На нем были сшитые на заказ костюм и пальто, волосы коротко подстрижены, лицо загорелое, а на лице — озадаченность. Рядом с ним стояла привлекательная, элегантная молодая женщина, которую он представил как свою невесту, а звали

ее Эйлин.

* * *

Эйлин очаровательной не была, но метила таковой быть и умела предъявить версию довольно-таки убедительную, если присматриваться не слишком. И тактичной-деликатной она не была, не было у нее к этому данных и, похоже, не было чувства юмора; во всяком случае, смешить она не умела.

Итан стоял рядом, глядя, как его невеста разговаривает с его другом, и выражение озадаченности, написанное у него на лице, когда он вошел в библиотеку, никуда не девалось. Не то чтобы несчастный, он сильно напоминал человека, который не понимает, как его сюда занесло.

— Мы пришли, — говорила Эйлин Бобу, — пригласить тебя сегодня на ужин.

— Тебя и Конни, обоих, — добавил Итан.

— Затем мы сюда и пришли, — сказала Эйлин.

Боб объяснил, что они с Конни как раз в этот вечер пригласили на ужин соседей, но будут рады, если Итан и Эйлин вольются в кампанию, сказал, во сколько прийти и что приносить ничего не нужно. После того как парочка из библиотеки ушла, Боб позвонил Конни и сообщил новость.

— Ого, — сказала Конни, — а что представляет собой невеста? Поди, красотка.

— Да, — сказал Боб.

— А как человек?

— Она не дала мне подсказок на этот счет.

— Может быть, тихий омут?

— А может, и нет, — сказал Боб.

Конни явно обрадовалась этой атаке на Эйлин, а Боба мысль об ужине стала уже пугать, и с той минуты он повлек себя к вечеру, в раздражении волоча ноги.

Конни была наверху, когда он добрался домой, одевалась, распевая что-то из джаза, а когда спустилась в гостиную, Боб увидел, что она подкрашена, в платье нарядней обычного и в туфлях на каблуках.

— И с чего ты так вырядилась? — спросил он прежде, чем успел взять себя в руки, а Конни выпрямилась в полный рост, чтобы то, как она разочарована таким приемом, проявилось во всем блеске, и ответила так:

— Если ты думаешь, Боб, что в мои намерения не входит в приличном виде предстать перед твоим лучшим другом и его невестой, тогда я прям и не знаю, что тебе посоветовать, кроме того, что не пошел бы ты на фиг!

Что, в конце концов, было вполне справедливо; Боба окатило как холодной водой. Он извинился, Конни извинения приняла, и они вместе принялись накрывать на стол.

Итан и Эйлин приехали на тридцать минут раньше.

Боб одевался наверху, когда услышал звонок в дверь; спустившись, он увидел, что Конни и Эйлин обмениваются приветствиями, в то время как Итан, стоя где-то в сторонке, уже в другом, тоже на заказ сшитом костюме, смотрит прямо на Боба. Тут Итан жестом предложил выпить, а Боб жестом позвал его за собой, и они перешли в кухню, где Боб разлил виски по стаканам. Свой Итан осушил залпом, сказал: “Спасибо, то, что надо”, — и потянулся за добавкой, которую Боб ему предоставил, и он снова выпил и снова сказал: “Уф, то, что нужно”.

— Что случилось? — спросил Боб.

— Ничего. Нет, кое-что. Ну, трудно сказать. Признаюсь, я несколько дезориентирован, но больше я пока ничего не скажу. Давай-ка лучше о чем-то еще.

— Хорошо, — сказал Боб. — Где ты так загорел и сколько у тебя костюмов?

— Я был в Акапулько, и у меня семь костюмов.

— Зачем ты был в Акапулько и зачем тебе семь костюмов?

— Я работал официантом там на курорте, а у семьи Эйлин свой портной.

— Зачем портной семьи Эйлин сшил тебе семь костюмов?

— Это была моя идея, что мне нужен костюм, на свадьбу. Но Эйлин сказала, что у каждого мужчины костюмов должно быть семь, и я не стал возражать, потому что с какой стати.

— Кто заплатил портному?

— Отец, наверное.

— Чем он занимается?

— Чем-то там с кораблями.

— Торговый флот?

— Ну, в кораблях я уверен. Может, он их строит. Но дальше я не лезу, потому что с папашей Эйлин говорить невозможно, отвратный тип.

— А что он думает о тебе?

— Да ничего такого, приятель. Но говорит, что я не особенно его беспокою, потому что видал он таких, как я, и все они кончили плохо. — Итан пожал плечами, как бы говоря: посмотрим, время покажет.

Боб закупорил бутылку виски, и они с Итаном, отправившись на поиски Конни и Эйлин, нашли

тех за обеденным столом. Они пили красное вино, и Эйлин рассказывала:

— Итан обслуживал наш столик. И если как официант он был так себе, не запоминал, что мы там заказали, и не приносил вовремя то, чего нам хотелось, но соблазнить меня, безо всякого стыда и средь бела дня, ему удалось блестяще, да, Итан?

— Да, — подтвердил Итан.

— Подожди, — сказала Конни. — Я не все уловила. Как вообще вышло, что Итана занесло в официанты и в Акапулько?

Итан воздел палец.

— Однажды на площади ко мне подошел вербовщик, работающий в гостиничном бизнесе с заведениями по всей Мексике, и предложил поработать официантом на одном из местных курортов. Работа сезонная, и суть в том, что на трехмесячный срок туда привозят свежую группу молодых людей. За каждым закреплено по десять столиков, отдыхающих кормят три раза в день, и многие клиенты живут там по нескольку недель, так что в итоге ты с ними довольно тесно знакомишься. — Итан изобразил пальцами пистолет и выстрелил в Эйлин. — А то, что с работой я не освоился, это правда. Все эти поклоны и спеш-

ка. Можно подумать, остывшее яйцо всмятку — прямо конец света.

Конни спросила Эйлин:

— И как твои родители отнеслись к новости, что ты собралась замуж за официанта?

— Скандал был ужасный, — сказала Эйлин. — Мама мне прямо по физиономии заехала! Я упоминала об этом, да, Итан? О том, что мама ударила меня по лицу?

— Упоминала, да, — подтвердил Итан.

— А папа в гневе пнул ногой тележку с коктейлями и пошел себе по осколкам, и по всей веранде остались маленькие кровавые следы. Я рассказывала тебе про тележку с коктейлями, да, Итан? И про кровавые следы по веранде? — Итан долил совсем не пустой еще бокал Эйлин, сунул бокал ей в руку, и она выпила, не осознавая, что пьет. — Хотя мама потом призналась, — продолжила Эйлин, — что, будь она помоложе, сама побежала бы с Итаном в тростник. По-моему, это мило, да, Итан? Она отдает должное твоим мужским достоинствам. Зато папа слышать не может про Итана без того, чтобы не сплюнуть. Мама говорит, он лишил бы меня наследства, если б мог, но он не может, поздно, потому что я совершеннолетняя и большую часть всего уже

получила.

— Уже строите какие-то планы? — спросила Конни.

— Ну, более-менее. Прежде всего свадьба. Мы хотим отделаться от этого прямо сейчас.

— Свадьба будет большая?

— О да. У меня масса родственников, и всем хочется получше рассмотреть подлеца, которому я отдалась. После свадьбы мы выберемся из конуры Итана — мы там ютимся сейчас, поверите ли, — и тут где-нибудь найдем себе дом. Ремонт успеют сделать за наш медовый месяц, а потом, когда мы вернемся, мы начнем создавать семью. Я хочу пятерых детей. — Итан снова долил ее бокал. — Да тут еще есть, Итан, спасибо. — Она откинула волосы, придерживая их сзади, и наклонила голову, чтобы отпить, не поднимая бокала, иначе бы вино пролилось. — Нам еще придется найти какое-нибудь занятие для этого бездельника, — сказала она, — но пока мы не можем придумать, что бы это могло быть. Ты уже думал об этом, Итан?

— Нет, — сказал Итан.

— Ты не думаешь, что следует подумать об этом? — спросила Эйлин.

— Думаю, что, наверное, да, — рассудительно

ответствовал Итан и повернулся к Бобу: — Есть хочется.

— Еще рано. Придется соседей подождать.

Лишь недавно Боб и Конни установили контакт с носителями колоритных имен Ченс и Чики Битч.

Это были типичные *genus Suburbiana,* жители пригорода: веселые выпивохи, заядлые игроки в бридж, боулинг и крикет; они без продыху курили “Пэлл Мэлл” и почти каждый вечер либо были в гостях, либо сами принимали гостей. В последнем случае Чики служила барменшей и следила за чистотой пепельниц, в то время как Ченс стоял у плиты, разглагольствовал сквозь пелену табачного дыма и, прищурив глаз, готовил свое фирменное блюдо — щедро приперченное тушеное мясо.

Ченс был ветераном Второй мировой, и хотя он редко делился своими военными воспоминаниями, у Боба и Конни сложилось впечатление, что, навидавшись там всяких немыслимых ужасов, мирное время он решил посвятить исключительно досугу и развлечениям. Чики же посвятила себя Ченсу и не испытывала недовольства своим земным положением, но все ж и ее жалила мысль о возможностях, которые она упустила,

мысль, знакомая многим из тех, кто сковал себя матримониальными узами.

Битчи прибыли с опозданием в пятнадцать минут и, звеня льдом в бокалах и дымя сигаретами, рассыпались в извинениях, расспрашивая, что они пропустили, будет ли им прощена их оплошность и, что важнее всего, заслуживают ли они прощения.

Их представили Итану, а затем Эйлин, которая немедля поинтересовалась, откуда у них такая фамилия. Усевшись, Ченс сказал:

— Моего деда звали Генрих Битшофбергер. Перед Первой мировой войной он иммигрировал в Штаты из Дрездена. Когда они прибыли в Сан-Франциско, таможенный клерк, якобы желая помочь, обрезал ему фамилию. Страшно жаль, что имя этого таможенника осталось нам неизвестно. Я знаю, что мой отец очень хотел с ним потолковать. Этот клерк сказал моему деду, что Битч — это отличное, звучное американское имя.

— Так вы что, полагаете, клерк нарочно схохмил? — спросила Эйлин.

— Я полагаю, он считал, что это он пошутил так, да.

— А вы не рассматривали возможность вернуть

свою прежнюю фамилию?

— Рассматривал. Но когда доходит до дела, во мне вскипает протест, и я решаю оставить все как оно есть.

— Но почему?

Ченс помолчал немного в раздумье, как бы точней выразиться, и, посмотрев на жену, сказал:

— Мы — Битчи.

Чики принялась объяснять, что опоздали они из-за того, что она зачиталась статьей в “Тайм” про громкий скандал на факультете искусств одного из колледжей Восточного побережья. Статья разожгла в ней чувство, что все-таки она многого в жизни недобрала.

— Представляете, там детки додумались, что почем, — сказала она. — Они кувыркаются в кустах.

— Кувыркаться в кустах — тоже мне новость, — ухмыльнулся Ченс. — Вспомни Эдемский сад!

— Вот мы с тобой в кустах никогда не кувыркались.

— Кто ж знал, что ты этого хочешь!

— Ну, о таком леди не просят. В общем, крайне занимательная статья. И, скажу я вам, везунчики они, эти искусствоведы.

— У тебя что, тяга к искусству? — спросила ее

Эйлин.

— Вовсе нет. Меня заинтриговал социальный аспект обучения. Судя по статье, это не что иное, как окультуренная четырехлетняя оргия. Но, видите ли, я в жизни не была ни с кем, кроме Ченса.

— Да у всех все одно и то же, разве нет? — сказал Ченс.

— Что-то я сомневаюсь, — призналась Чики.

— Разве тебе не приходило на ум, что я лучший?

— Нет, не приходило.

Чики повернулась к Конни.

— Только пойми меня правильно. Я обожаю, я боготворю своего мужа! Ты понимаешь меня?

— Ну конечно, — кивнула Конни.

Они обе покивали друг другу, и Бобу стало не по себе, потому что было похоже на то, что они проводят нелестные параллели.

— Боб когда-нибудь имел тебя в кустах, милая? — обратился Ченс к Конни.

— Нет, никогда.

— Вот они, наши мужья… — вздохнула Чики.

— Итан имел меня в кустах в Акапулько, — сказала Эйлин.

— Ну, слава богу, — сказала Чики, закатывая

воображаемые рукава. — Наконец мы к чему-то пришли.

— Мне казалось, ты говорила, там был тростник, — заметила Конни.

— И в тростнике, и в кустах.

Чики торжественно подняла свой бокал, приветствуя Эйлин.

— Удачи вам обоим и долгой жизни в придачу! — Тут она увидела, что ее бокал пуст, и потянулась за бокалом Ченса, который тоже был пуст. — Не переключиться ли нам на вино, Ченси, ты как думаешь?

Ченс меж тем хмурился, жалуясь Бобу:

— Сказала бы, если уж так хочет, чтобы в кустах. Я ж не читаю мысли.

Ужин был подан и съеден. Все похвалили еду, кроме Эйлин, которая долго и пристально разглядывала свою тарелку, прежде чем съесть лишь половину того, что ей положили.

Ченс и Чики, вызвавшись убрать со стола, собрали тарелки и перетащили их из столовой в кухню. Боб расслышал, как проскрипела, открывшись и закрывшись, сетчатая дверь из кухни во двор. Конни тем временем сидела, поглядывая на Эйлин.

— Надеюсь, тебе было вкусно? — спросила она.

— Было любопытно, спасибо. Я слышала про мясной рулет, но это мой первый опыт общения с ним лично, — ответила Эйлин.

Конни выдержала этот удар, перевела дух и объявила, что сейчас будет десерт. Встала и пошла на кухню разложить десерт по тарелкам, и Итан подскочил, чтобы ей помочь, и оставил Боба наедине с Эйлин, которая, рассеянно глядя в сторону, прижимала бокал к щеке. Словно отвечая на реплику, которую только что обронил Боб, она вздохнула:

— Жаль вот только, что он небогат…

— А? — сказал Боб.

— Да. Вот если б он был богат, он был бы абсолютно идеальный мужчина. — Она щедро отхлебнула вина. — Я все говорю своей матери: “Но, мама, как только он женится, он станет богат”. “Не так, как мы”, — отвечает она. “Точно так же, как мы, — говорю я, — причем теми же самыми деньгами”. Но “нет, это не одно и то же”, твердит она.

— А что, пожалуй, что нет. — Глядя на Эйлин, Боб думал о том, что может вывалить ей все, все что угодно, может признаться в самом кошмарном грехе и это не вызовет у нее ни малейшего отклика. — Но, должно быть, богатство — это

приятно, — сказал он.

— О да, мне очень нравится. Хотя, конечно, тут есть и свои проблемы, как у всего остального.

— И в чем же проблемы? — спросил Боб.

— Ну, когда ты за что-то борешься, то, когда побеждаешь, оно становится в большей степени твоим, чем если бы тебе это просто дали. Это касается как мелочей, так и вещей самых важных.

— Ага, — сказал Боб, — и когда не нужно бороться, то тогда — что?

— Когда бороться не нужно, это может привести к беспечности. — Она произнесла словцо так, словно за ним крылась самая крайняя степень греха.

— А сама ты когда-нибудь беспечности поддавалась?

— Мне известно об этом лишь понаслышке, — сказала она. — Но я солгала бы безбожно, если б сказала, что не видела этого у других.

Конни и Итан вернулись и раздали десерт — вишневый пирог с толстой нашлепкой из трехслойного неаполитанского мороженого.

— Ох, обожаю вишневый пирог! — воскликнула Эйлин. — Ты сама пекла?

Конни изобразила, что сейчас упадет в обморок.

— Его пекла женщина из супермаркета, да благословит Господь ее сведенные в корчах ручки.

Итан громко рассмеялся на это; Эйлин дала понять, что ничего смешного не видит.

Итан и Конни вернулись сейчас в то состояние, в каком были в день их знакомства, когда явились в библиотеку, довольные собой и друг другом. Боб видел, как Итан тянется коснуться предплечья Конни. Это был всего лишь жест, чтобы подчеркнуть сказанное, но контакт длился и был Конни, как показалось Бобу, приятен, и, в общем, его слегка затошнило.

Умяв свои порции, Итан и Конни тут же принялись собирать тарелки с приборами и снова отправились на кухню, на этот раз, чтобы вместе помыть посуду. Эйлин остекленелым взором следила, как они уходят; она выпила многовато и слишком быстро. Поднимая руку, чтобы убрать с лица прядь волос, она сбила бокал и долго глядела, как винное пятно расползается по кружевной скатерти, а Боб, сидя рядом, рассуждал сам с собой, каково это было бы, жениться на этой женщине, и решил, что было бы ужасно, но не совсем. Скорей, одиноко. Оставалось загадкой, с чего Итану вздумалось ее выбрать и как она вообще оказалась в его доме. Из кухни снова

донесся смех Конни, и Эйлин с Бобом посмотрели в ту сторону.

Снова проскрипела, открывшись и закрывшись, сетчатая дверь, и в столовую, поправляя платье и вытаскивая из волос травинки, вошла Чики.

— Ну что, поимел он меня в кустах, — объявила она, усаживаясь, а следом за ней, пыхтя сигарой, вошел Ченс.

— Как прошло? — спросил Боб.

Чики дернула плечом неопределенно; Ченс сказал: “Да о чем ты говоришь? Класс!” Болтовня и смех на кухне продолжались, и Боб дивился тому, что посуда все еще не помыта.

Эйлин, посерев лицом, сказала Бобу:

— Я бы прилегла ненадолго, если ты не против.

Она перешла в гостиную; Боб услышал, как застонал диван. Он на некоторое время погрузился в себя, а когда вынырнул, то решил, что гостям, пожалуй, пора по домам.

Он крикнул Итану, что Эйлин стало нехорошо, и услышал, как Конни переспросила у Итана:

— Что он говорит?

— Что Эйлин стало плохо.

— И что, там суматоха? У нее припадок?

— У нее упадок!

— Упала с табуретки?

— Пошли дадим таблетку!

Их смех показался Бобу скрипучим кудахтаньем, а Чики сидела, уставясь на него с чем-то вроде, казалось ему, сочувствия. Он заставил себя улыбнуться, чтобы показать, что ничуть не обеспокоен, не о чем ему беспокоиться; но взор Чики оставался застылым и пристальным. Конни все смеялась, Боб больше не улыбался, а у Эйлин началась икота, и затем ее шумно вырвало вином и мясным рулетом на ковер в гостиной, и все пошли туда на это взглянуть, и когда рвота кончилась, завершился и званый ужин.

* * *

Помолвка с Эйлин не продержалась и месяца. Боб узнал об этом от Итана, который позвонил ему на работу и сказал:

— Я в больнице.

— Кто-нибудь пострадал? — спросил Боб.

— Я пострадал. Хуже того, я и сейчас страдаю. Ты придешь меня навестить? Здесь словом перекинуться не с кем.

Боб договорился в библиотеке, что обедать будет подольше, и по дороге заехал купить цветов. В

больнице он обнаружил Итана в постели, скучающим, но по виду здоровым. Однако, попытавшись сесть, Итан сморщился, словно от сильной боли. Боб придвинул стул и спросил, что случилось.

— Все началось, — сказал Итан, — с матери Эйлин, Джорджи.

Джорджи, как сказал Итан Бобу, была ни дать ни взять Эйлин, только на двадцать пять лет старше и закаленная жизнью в томлении по небывалой любви. За поздним завтраком она могла выдуть бутылку шампанского, не утратив внятности речи, выкуривала по две пачки сигарет в день, и основным занятием ее было в утренние часы злобствовать на дочь, а после заката — на мужа. Джорджи первой постаралась подцепить Итана, и ей это удалось без проблем, потому что она отлично управлялась со своим возрастом и со своими пороками, и Итану не попадалось еще женщины, которая так мало смущалась бы тем, чтобы сообщить, что в точности ей от него нужно. Джорджи была мощь, у нее был шик, и какое-то время они вполне ладили.

— Другие официанты пронюхали о моей ситуации и растолковали, как мне повезло. Всего-то требовалось вести себя так, чтобы муж не прочухал, и в конце сезона у меня будут чаевые в сто

долларов и приятные воспоминания бонусом. И прекрасно, но там была еще Эйлин, которая смотрела на меня снизу вверх, когда я наливал ей кофе, и мог ли я не заняться и ею тоже. Джорджи прознала о зарождении нашей дружбы, попыталась вставить палки в колеса, но не успела, мы хлеб уже преломили. Разломали мы хлеб. Он был в крошку.

— То есть суть истории, которую ты мне излагаешь, — сказал Боб, — заключается в том, что ты завел интрижку с матерью твоей же невесты.

— Нет, на момент нашей интрижки матерью невесты Джорджи еще не была. Если мы хотим дать строгое определение преступлению, думаю, можно сказать, что я заключил помолвку с дочерью особы, с которой у меня была любовная связь.

— И что, внахлест отношений не было?

— Это не очень-то дружеский вопрос, Боб. Но да, не стану скрывать, перед помолвкой были накладки, и да, это было сложно и хлопотно. Беготня, прятки в шкафах, все такое. Обе пользовалась крепкими духами, и разных марок; в жизни своей я не мылся столько под душем. От Эйлин и ее папаши наш альянс с Джорджи нам удалось скрыть, но несколько раз мы были

на грани, уровень стресса зашкаливал, я разрывался между рабочим графиком и романтической игрой в плащи и шпаги и, в общем, почти не спал. В тот примерно момент, когда отношения с Джорджи пошли по швам, мы с Эйлин обручились. Она объявила об этом родителям, те быстренько собрали вещички и потащили ее в аэропорт. И на этом бы все, конец, если б не то, что они живут здесь же, в Портленде. Видишь ли, родители Эйлин нажаловались, меня уволили и отправили домой, так что мы все четверо летели обратно одним рейсом. Когда самолет сел, Эйлин уехала со мной, и мы прожили в моей квартире столько, сколько понадобилось, чтобы я уразумел наконец, что ни за что на ней не женюсь.

— А я-то не мог понять, — сказал Боб, — с чего такая спешка с помолвкой.

— И я недоумевал тоже.

— Значит, это была ее идея?

— Технически говоря, идея была моя. Но я-то имел в виду, что это не более чем идея.

— Нечто, что можно обсудить.

— К чему можно примериться.

— Над чем можно поразмышлять.

— Застолбить и отложить на потом. Но она вдруг согласилась, да при этом с таким напором!

Ну, в общем, вчера я решительно заявил ей, что нам надо дать отбой.

— И как она это приняла?

— Ох, скверно. Крики, слезы, проклятья, битье чашек и блюдец, хлопанье дверьми, расставанья и возвращенья. Ты представь, она возвращалась! С ее точки зрения, вполне, впрочем, резонной, она и без того уже себя уронила, согласившись пойти замуж за официанта, подорвала свою репутацию. И что теперь? Этот самый официант разрывает помолвку! Не поспоришь, двойной урон.

Лежа, он переменил положение, и снова его лицо исказилось от боли. Боб сказал:

— Я так и не понял еще, почему ты в больнице?

— О, прости. Эйлин пыталась убить меня.

Оттянув воротник больничного халата, он показал зашитую рану дюймов на четыре-пять ниже левой ключицы.

— Она всадила в меня нож для стейка, когда я спал. Мы ругались с обеда до вечера, я не выдержал и задремал на диване, а когда очнулся, она нависала надо мной, и лицо у нее было какое-то странное, а у ног стоял чемодан. “Ты куда?” — спросил я и тут заметил, что из груди у меня торчит рукоятка. Погоди, еще увидишь рентге-

новский снимок. Врач сказал, всего несколько миллиметров не достало до сердца.

Боб сидел, обдумывая эту историю в ее несочетаемости с очевидным весельем Итана, когда в палату, вопросительно вскинув брови, вошла медсестра.

— Ты тут как, паинька?

— Привет, Роберта. Ну, конечно, я паинька. Посмотри лучше, какие цветы!

— О боже, — тут она заметила Боба. — Это твой друг принес?

— Точно, он. Что ты на это скажешь?

— По-моему, миленькие. Давай-ка я поставлю их в воду.

Роберта нашла вазу, налила в нее воды, сняла обертку с букета и распределила цветы в вазе, а вазу поставила на столик в ногах кровати.

— Так ты сможешь на них любоваться.

— Спасибо, Роберта. Большая для меня радость, любоваться цветами.

Роберта переставляла цветы в вазе так и этак.

— Я добавлю сахарку в воду, — сказала она Бобу. — Тогда цветочки поднимут голову и скажут: “Привет!” — И ушла за сахаром.

— Так на чем я остановился в этой истории? —

спросил Итан.

— Ты лежал там, пронзенный.

— Да, я лежал, пронзенный, — подхватил Итан. — И Эйлин ушла, и я подумал, что ж, ладно, значит, это конец. Но прошло какое-то время, и я почувствовал себя, в общем, нормально. Чуть покалывало в ногах и руках, зудело, но в остальном было как обычно. Но, разумеется, я не собирался выдирать из себя нож, тут нужен был совет медика-профессионала, поэтому я надел брюки, тапочки, и без рубашки спустился к телефону-автомату на углу. Втолковал все диспетчеру в скорой, а потом сел на пол там же, в кабинке, и заснул или, может, сознание потерял, а пришел в себя уже здесь, и ножа во мне не было, и они не хотят мне его возвращать, боюсь, потеряли. Единственный мой приличный нож.

— И как ты сейчас?

— Мне чертовски больно и дышать тяжело, но я не умер, и, главное, мне не нужно жениться. Так что в общем, учитывая все про все, я в порядке.

— А где Эйлин?

— Я не знаю.

— Ее арестовали?

— О нет. Я не собираюсь выдвигать обвинение или что-то такое.

— Почему нет?

— Как-то это было бы, на мой взгляд, не очень по-джентльменски, а?

— Сомневаюсь, что этот фактор тут значим.

— Что ты хочешь сказать?

— Я имею в виду, что джентльмен вообще вряд ли попал бы в подобное положение.

— Окей, туше. Но это только подводит меня к следующему соображению. Я вот тут лежал в этой кровати и обдумывал свои замашки и образ жизни. И сдается мне, Боб, давненько уже я прямо-таки напрашиваюсь на то, чтоб меня проткнули ножом.

Боб, не чувствуя потребности возразить, во всяком случае, потребности сильной, оставил это заявление без ответа. Он только спросил Итана:

— Значит ли это, что ты перевернул эту страницу и сделаешься теперь добропорядочен и благонравен?

— Вот честно, не знаю. Может, таков мой удел в этой жизни. Но утверждать, что насилие по моему адресу незаслуженно, я не могу, так что горькое лекарство решил принимать, не ропща и не жалуясь на судьбу. — И тоном, как бы подводящим итог, добавил: — Злых намерений у меня не водилось, но человек я беспечный. Не уверен,

что знаю, как себя изменить, да и вообще, хочу ли я этого, но впервые в жизни я задумался, каким мне хотелось бы быть, так что вот тебе проблеск надежды.

Роберта вернулась с сахаром для цветов и известием, что Бобу пора дать Итану покой. Итан сказал, что в покое он не нуждается, но Роберта не согласилась. Она сказала Бобу:

— Вы можете прийти завтра.

— Я приду, — сказал Боб Итану.

— Приведи Конни, — сказал Итан Бобу.

— Кто это, Конни? — спросила Роберта Итана, но он не ответил, и Боб тоже не стал отвечать, а помахал рукой и коридором пошел на выход.

На следующий день он привел Конни. Когда они вошли в комнату, Итан сидел на кровати и читал какую-то бумагу, которых у него была не одна.

— Привет, — сказал он.

Конни переполошилась, услышав рассказ Боба про то, что привело Итана в больницу; и хотя вполне здоровый вид Итана ее успокоил, увидев его ножевую рану, она завелась снова, и волнение ее разгорелось сначала до возмущения, а потом и до гнева, направленного на Итана с Бобом, которые к потенциально фатальному событию

отнеслись так, будто это забава какая-то и просто пустяк. Что, черт возьми, с ними такое, вопросила она, и они сказали, что они понятия не имеют. Она потребовала, чтобы Эйлин арестовали, и заявила, что, если Итан не позвонит в полицию, она сама туда позвонит.

Тут Итан показал на свои бумаги и сказал:

— Даже если бы я хотел кого-то привлечь к ответственности — а я не хочу, — я уже не смогу этого сделать.

— Почему? — вскинулась Конни.

— Я объясню, — сказал Итан, — но только если ты перестанешь кричать на нас с Бобом.

Скрестив руки на груди, она замолчала.

Итан рассказал, что незадолго до прихода Боба и Конни его навестил отец Эйлин, пришел вместе с помощником, маленьким похоронного вида человечком с портфелем в руках. Поначалу отец Эйлин держался по отношению к Итану прохладно, этак будто случайно проходил себе мимо и заглянул просто так, поздороваться. Но уже скоро он все-таки обозначил цель своего визита, которая заключалась в намерении вызнать, чего именно ему следует ожидать касательно юридических последствий поведения его дочери. Почему Итан до сих пор не обратился в полицию?

Итан пояснил, неохотно, поскольку ему претила сама идея обеспечивать отца Эйлин тем, что тому нужно, чем мотивировано его нежелание привлекать Эйлин к ответственности.

— Вы подпишете соответствующее соглашение? — спросил отец Эйлин.

— Не понимаю, с чего бы, — ответил ему Итан.

Отец Эйлин посмотрел на помощника; тот, достав из портфеля конверт, передал его отцу Эйлин, который протянул его Итану. В конверте лежал банковский чек на десять тысяч долларов на имя Итана. Итан уставился на цифры. Отец Эйлин сказал, что осознает, что его дочь поступила плохо, на что Итан сказал:

— Плохой поступок плохому поступку рознь.

— Так ты подписал? — спросила Конни.

— Да.

— Ты теперь, значит, богач, — сказал Боб.

— Ну, я совсем немножко богач.

— И что дальше?

— Не знаю. Это произошло-то минут пятнадцать назад. Наверное, начну строить планы. Лечиться. Завтра утром меня выписывают. Сможешь заехать за мной, подбросишь меня до дому, а, Боб? Поможешь мне подняться по лестнице — это как раз недельная норма нагрузки на сердце.

— Конечно, — сказал Боб.

Конни покачивала на них головой, и на лице ее были написаны веселость и презрение одновременно.

— И снова я вас спрошу: что, черт возьми, с вами двумя происходит?

Боб и Итан повернулись к ней недоуменно.

— Ты будешь жить у нас, пока не поправишься, Итан, — объяснила Конни.

* * *

Присутствие Итана придало дому новые черты, привыкнуть к которым Бобу потребовалось время. Каждое буднее утро, когда Конни и Итан еще спали, Боб вставал и начинал обычную подготовку к рабочему дню; только теперь он не разжигал камин и не готовил себе по всем правилам завтрак: эти действия, по словам Конни, беспокоили Итана, мешая его выздоровлению. Однажды вечером, потянувшись за своим будильником, Боб обнаружил, что звонок плотно обернут ватой.

— Что ты сделала с моими часами? — спросил он Конни.

— Они будят Итана.

— Они будят меня. Такая у них задача.

— Они и так разбудят тебя, маньяк.

И в самом деле будили, но Бобу недоставало того момента истошного ужаса, который вонзал в него необернутый звон.

Оказалось, что ему неприятно уходить на работу, оставляя дома Конни и Итана вдвоем на столько часов, и он вздрагивал, преодолевая порог входной двери, как будто за ним было магнитное поле, которое его отторгало. Дни в библиотеке тянулись длиннее обычного, и когда он возвращался домой, Конни было не до него: она ухаживала за Итаном, либо готовила для него, либо ходила вокруг на цыпочках, потому что он спал.

Боб прекрасно понимал, что Итану нужно создать условия для полного восстановления сил, и был рад приютить друга, но не мог не чувствовать, что равновесие в его доме нарушено, и дисбаланс этот, мягко говоря, навязан ему против его воли. Он почти что достиг той переломной точки, где сделался бы по-настоящему несчастлив, когда здоровье Итана начало поправляться и Конни, отвлекаясь на заботы о нем поменьше, снова вернулась к Бобу.

К концу первой недели трехнедельной побывки Итана Боб избавился от своих мелких страхов и подозрений, всего лишь глядя на то, как Итан

и Конни ведут себя друг с другом. Дело было в том, что друг дружке они нравились. Дело было и в том, что они дружно любили и обожали Боба, радостно встречали его по вечерам и жадно выслушивали все впечатления его дня, все его служебные новости. Они хохотали за ужином — Итан мог только тихонько посмеиваться, — и Боб видел, что его отношения с Конни ничем не запятнаны.

Потом Итану стало еще лучше; оживившись, он решил потратить часть тех денег, которыми ранение его обеспечило, и принялся делать покупки по телефону и через почту, так что каждый день, когда Боб приходил с работы, его ждало что-нибудь новенькое, чтобы он мог предстать в выгодном свете: наручные часы, или халат, или шелковая пижама, или бритвенный набор — все те приятные мужские мелочи, без которых он до этого обходился. Итан сделал Бобу много подарков в таком духе; Боб предположил, что он мог бы купить что-нибудь и для Конни, и Итан, смутившись, сказал, что да, конечно, но когда поднял этот вопрос с Конни, она отказалась, причем наотрез, так что в ее искренности никак нельзя было усомниться.

К концу второй недели Итану разрешили вста-

вать с постели. Он стал проводить дни, шляясь вверх-вниз по лестнице, обходя ванную, кухню и гостиную и устраивая раскардаш всюду, куда зашел. Боб бывал у него в квартире и знал, что Итан человек безалаберный, но наблюдать хаос в собственном опрятном доме — это, знаете ли, нечто совсем другое. Итан спокойно мог снять книгу с полки, утащить ее куда-нибудь в дальний угол и бросить там на полу открытой, где она и валялась, покуда Боб не отряхивал ее и не ставил на место. Когда же Боб нашел книжку, которая всю ночь пролежала на травке в заднем дворе, он направился в кухню и вывел оттуда Итана, как тот был, в пижаме, к задней двери. Он указал на книгу и покачал головой.

— Нет, — сказал он.

— Прости! — повинился Итан.

Однажды вечером Боб, вернувшись домой, застал Конни и Итана препирающимися в гостиной. “Итан пытается дать нам денег”, — сказала Конни. У Боба выдался нелегкий день на работе, он поднимался в ванную за пузырьком с аспирином. “Правда хочет дать денег? — переспросил он. — Ну, пусть даст”. Конни и Итан оба вскинули брови. Итан денег больше не предлагал.

В конце третьей недели Боб и Конни пожени-

лись, а Итан был у них шафером. Молодожены Итана не прогнали, но он был предоставлен самому себе, пока они не выходили из спальни. В понедельник Боб, явившись с работы, нашел Конни в кухонном закутке. Она читала журнал, но лицо у нее было сердитое.

— Хорошая новость, Боб. Можешь снять вату с будильника.

— Что, он ушел домой? — спросил Боб.

— Да, ушел.

Он уселся напротив нее.

— Но это не так уж и плохо, разве нет?

— Конечно, он уже выздоровел, и если человек хочет уйти, пусть уходит. Но я понять не могу, почему он сделал это таким образом.

— Это каким же?

— Он спустился вниз после того, как ты ушел на работу, уже одетый, уже с вещами, и сказал, что идет домой, и спасибо, огромное. Это его слова в точности, после “спасибо” — запятая. Вышел за дверь, и все.

И без того сбитая с толку внезапным уходом Итана, она была оскорблена тем, как он это проделал.

Назавтра, когда Итан зашел к Бобу в библиотеку, Боб выговорил ему за грубость. Итан поник

головой; в свое оправдание он заявил, что у него шило в заднице — Боб, конечно, знает, как это бывает? Боб на это сказал, что у него шила в заднице вроде бы никогда не было, по крайней мере, он такого не помнит.

— Что ж, — сказал Итан, — тогда поверь мне, когда я говорю, что это такая вещь, которая не дает усидеть на месте.

Боб посоветовал Итану попросить у Конни прощения, и Итан сказал, что попросит, однако ж не попросил. Конни только плечами пожала, когда Боб передал ей весь разговор. Стыд и позор, сказала она, но люди часто разочаровывают, и ничего с этим не сделаешь. Впервые не в восторге от Итана, Боб задался вопросом, не предъявлен ли ему наконец объемный портрет этого субъекта.

Потом уже, после того как все развалилось, после финта со шнурком, Боб решил, что Итан, скорее всего, пока выздоравливал, влюбился в Конни. Вот почему он убрался от них в такой спешке, вот почему стал ее избегать; хотел внушить себе, что Конни в жизни Боба не существует. Думал, возможно, что если убежать быстро и отсутствовать долго, то избавишься от проклятого, благословенного чувства.

* * *

Конни решила, что зря они с Бобом не пользуются преимуществом близости к природным красотам Орегона, им нужно ходить в походы и стать туристами, поэтому купила руководство для начинающих, а также по паре походных ботинок. Бобу ничуть не светило из-за мимолетной, как он считал, прихоти Конни отказываться от субботнего чтения на диване, но ради мира в доме он согласился, что в ближайшие выходные они одолеют кольцевой маршрут, в пять миль петлю у подножия вулкана Маунт-Худ.

За день до похода Боб и Итан обедали вместе в “Лучше”. Итан, с тех пор как покинул дом Боба, погас, поблек или, может, погрузился в себя, и в тот день это усилилось до степени обострения. Боб спросил его, что такого стряслось, и Итан, прежде чем ответить, глубоко втянул воздух носом. Похоже на то, с выдохом произнес он, что впервые в его жизни ход событий направлен строго и, в этом сомнений нет, наперекос ему. Какой шаг ни сделай, все не то; какое решение ни прими, какому побуждению ни последуй, все так или иначе приведет к щелчку по носу и неудаче.

Боб, все еще не разумея, в чем истинная при-

чина этого кризиса, сообщил Итану, что спад есть непременная часть жизни и что скоро это пройдет.

— Ты не понимаешь, — просто сказал Итан. — Что-то идет не так. Даже хорошая для меня новость стала нынче плохой.

— Какая именно хорошая новость?

Итан помолчал.

— Да неважно. — И он принялся болтать ложечкой в кофе.

— Тогда какая плохая?

— Да никакая, Боб. — Он похлопал Боба по руке, и вид у него был покаянный. — Зря я об этом заговорил. Все в норме. Давай о чем-то еще.

Боб пригласил Итана с ними в поход, и Итан отказался, но потом, когда Боб стал настаивать, признал, что да, неплохо бы выбраться из города, из квартиры, подальше от собственных испарений.

— Хотя Конни, конечно же, не захочет, чтобы я с вами пошел, — сказал он.

— Еще как захочет.

— Захочет, ты думаешь?

— Ну почему ж нет?

Боб, сказав Итану, что они заедут за ним завтра в девять утра, в восемь бродил вокруг Конни,

пока та готовила завтрак.

— В чем дело, Боб? Ты похож на вопросительный знак, — сказала она, и он признался, что, правда, его гложет мысль, что им следует взять с собой к Маунт-Худ Итана. Конни в лице не переменилась, но, подумав, спросила:

— Это что, обязательно?

— Нет, конечно. Но, я думаю, ему пошло бы на пользу.

— Почему, что с ним такое?

— Я не знаю, что именно, и он тоже не знает. Но в последнее время он сам не свой.

Конни, все так же непроницаемая, помешивала овсянку в кастрюле.

— Мне хотелось, чтобы это были только мы.

— Только мы — это не ново, — сказал ей Боб.

Нисколечко он не хотел выразить этим недовольства, не вкладывал в эти слова ничего, кроме констатации самого очевидного факта, но Конни после того, как он их сказал, насторожилась и пошла на уступки: что ж, пусть Итан тоже пойдет, если Боб этого хочет и считает, что так лучше.

Когда “шевроле” подкатил к дому Итана, тот уже стоял на обочине, без шляпы под моросящим дождем, и смотрел в никуда, взъерошенный, промокший, неприкаянный.

— Господи, он похож на бродягу, — сказала Конни.

Итан забрался в “шевроле”, так, будто это было такси. Уселся сзади и повернулся к окну, ни слова не говоря, не отозвавшись на “доброе утро” Боба. Конни, перегнувшись с переднего сиденья, принялась его донимать, дразнить, как ребенка, хватать за нос и тыкать в живот.

— Прекрати, — хрипло и бесстрастно каркнул ей Итан.

— А что, если, — обратилась Конни к Бобу, — что, если его сердце все-таки попало под тот нож для стейка и теперь оно все такое плоское и резиновое, как лопнутый шар? — Взяла лицо Итана в ладони и слегка помяла его. — Разве не похоже это на лицо человека с лопнутым, как воздушный шарик, сердцем?

Боб не мог понять, с чего Конни вредничает, и от этого ему было не по себе.

Они выехали из Портленда по направлению к Маунт-Худ и три четверти часа катили по извилистому двухполосному шоссе. Облачный покров рассеялся, над дорогой светило солнце, от асфальта шел пар. Конни надела темные очки и, покрутив ручку настройки радио, остановилась на древней джазовой композиции. Она прищел-

кивала пальцами и шлепала в такт губами; когда эта радиостанция умолкла, она переключилась на новостную. Потом они увидели придорожную закусочную, и Конни попросила Боба сходить туда и налить в термос кофе. В то утро это входило в обязанность Боба, перед отъездом принести в кухню термос из “шевроле” и наполнить его, но он забыл.

— Так что теперь, Боб, — сказала ему Конни, — у тебя есть случай повернуть время вспять и исправить свою оплошность. Разве это не удача?

Свернув на парковку, Боб пересек ее с пустым термосом, вошел в закусочную, и официантка сказала, что кофе сварится минут через пять, поэтому он сел за столик и стал ждать.

Глядя в окно, он видел, что Итан выпрямился в струнку на своем заднем сиденье и что-то втолковывает Конни так, словно отчитывает ее. Конни, пересевшая на место водителя, руки на руле, все еще в темных очках, равнодушно смотрела перед собой. Потом Боб увидел, как Итан, протянув руку, касается плеча Конни, а она, отпрянув и повернувшись лицом к Итану, отвечает ему резко и яростно. Выговорившись, она снова развернулась лицом вперед, а Итан, угрюмый и мрачный, откинулся на спинку сиденья. Больше

они ни словом не обменялись. Несколько минут спустя, когда Боб с полным термосом возвращался к машине через парковку, они молчали, делая вид, что вообще не знакомы. Боб сел в машину, и, прежде чем он успел справиться, что случилось, Конни сказала:

— Итан хочет испортить нам день. Но мы ему этого не дадим, правда?

— Почему ты хочешь испортить нам день? — обратился Боб к Итану.

— Не знаю, — сказал тот.

— Заметь, он не спорит, что хочет испортить нам день, — встряла Конни.

— Я заметил, — сказал ей Боб и снова спросил Итана: — Так ты не будешь этого отрицать?

— Не буду, нет. Потому что я правда пытаюсь его испортить.

Он потянулся за термосом и, отвинтив крышку, полной мерой налил в нее кофе.

Конни поправила зеркало заднего вида.

— Что ж, — заявила она, — если он твердо намерен испортить нам день, то пусть тогда выметается из нашей машины и идет домой своим ходом, или пусть под встречную бросится, как угодно.

Боб, обернувшись к Итану, изобразил, что

шокирован. Он хотел разрядить ситуацию, исправить то, что не так, но Итан, погруженный в свои горькие тайны, этого не заметил. Он глотнул кофе, обжегшись, поморщился, высунул язык, помахал перед ним рукой и закрыл рот.

— Знаешь что, Боб? Она права. Я прошу прощения. Я больше не буду. Все.

И действительно, к тому времени, как они добрались к началу тропы, он держался уже нормально, во всяком случае нормальней, чем раньше.

День выдался расчудесный: свежий, но не холодный, влажный, но без дождя, с ослепительно ярким солнцем, прорывавшимся сквозь просветы в ветвях, когда троица пешей тропой двинулась на обкатанный, ровный шум текучей воды. Итан шел впереди вприпрыжку, почти трусцой, Конни позади Итана, а Боб позади Конни. Время от времени Итан оглядывался на них, и физиономия его светилась восторженным, немудреным счастьем. Боб спрашивал себя, что за хворь донимала его раньше и как он смог так запросто ее отключить. Конни закатывала глаза, глядя на Итана, но хотелось улыбаться, на него глядя, и он снова начал ей нравиться.

Река была полноводной и бурной, и прихо-

дилось кричать, чтобы расслышать друг друга. Конни, сверившись с картой в туристическом справочнике, указала на север, вверх по течению. По ее словам, там был пешеходный мост, который выведет их на тропу на другом берегу реки. Но добравшись туда, где, как было обещано, располагался мост, они увидели, что он разрушен и почти полностью смыт, деревянного настила нет, а обрывки веревочных поручней волочатся хвостами, подскакивая над вздутой, стеклянистой стремниной. Поток тут было не пересечь, и они пошли дальше на север в надежде отыскать еще переправу.

Пройдя еще немного, они подошли к пихте, рухнувшей поперек реки так, что она всей длиной улеглась от берега к берегу. Ствол ее был довольно толст, чтобы выдержать вес любого из них, но лежал под крутым углом и порос слоем скользкого мха. Потолковав меж собою, они сочли, что, если действовать предприимчиво, пихта вполне сойдет за мост — но кому перейти его первым? Итан предложил эту честь Бобу; Боб возразил, что уступит право первопроходца Итану; Конни сказала, что пойдет она, и уж тут Итан и Боб оба рванули вперед, торопясь в победители. Боб, успев первым, вскарабкался на

широкое корневище дерева и встал там, глядя вниз на жену и друга, а они смотрели вверх на него. Итан подбадривал Боба, дескать, дерзай дальше, а Конни схватилась за голову в страхе, что из этого выйдет.

Боб собрался с силами, огляделся. Наметил себе маршрут, побыстрее и безопасней; перевел дух, переборол волнение и двинул вперед, шаг за шагом, раскинув руки, подобно канатоходцу. Было еще ничего, пока по обе стороны пихты лежала земля, но когда берег кончился и Боб пошел над рекой, уверенности в нем поубавилось, глаз отвлекался на стремительно текущую воду. Согнувшись в полуприсед на скользком участке мха, Боб утратил опору, ступни его вырвались из-под него, он шлепнулся на спину и засвистел вниз по стволу с такой тошнотворной прытью, что не было даже мига мысленно выругаться и вскрикнуть.

К счастью, наполовину чудом, он не свалился в воду, а вылетел на дальний берег, дважды на лету кувыркнувшись, прежде чем застрять в плетении пихтовых лап. Конни и Итан, когда он встал на ноги и к ним повернулся, подпрыгивали, кричали и хлопали в ладоши, но он их совсем не слышал. Он помахал им, заметив, что ладонь кро-

вит, сбита; кроме того, болела ушибленная спина. Но сломано ничего не было, он не был серьезно ранен. По следам несостоявшейся катастрофы его окатило радостным возбуждением, эйфорией.

Было очевидно, однако, особенно в свете того, в какой манере переправился Боб, что ни Конни, ни Итану идти по пихте не стоит, слишком опасно; Боб также не мог вернуться этим путем. Что же дальше? На другом берегу реки Конни и Итан обсуждали ту же проблему. В итоге Итан жестами объяснил Бобу, что им всем следует топать дальше на север, пока не отыщется другой, более безопасный проход над водой.

Этот план Бобу не нравился, но альтернативы он придумать не мог, потому что ее не было, и, таким образом, разделенная надвое группа двинулась вверх по реке.

Тем временем возбуждение отступило, боль сделалась ощутимей. Спину ломило, а ладонь дергало, хотя кровь больше не шла. Боб брел, поглядывая на Конни и Итана, которые оживленно трепались. Конни шла впереди; всякий раз, когда она звала Итана, тот подбегал поближе, чтобы услышать, затем выкрикивал свой ответ, и она кивала, и он кивал, и так они счастливо курсировали взад и вперед, не ведая забот и тре-

вог, и уж точно тревоги за Боба, насколько он мог судить. Он заметил, что тропинка уводит их от воды в лес. По-прежнему беспечно болтая, они скрылись за деревьями, ничуть не задумываясь о том, что их не видно. Боб теперь шел быстрей, торопясь с ними соединиться; но тянулись минуты, в течение которых он не видел Конни и Итана, и, хотя ничьей вины в этом не было, он страдал от того, что с ним обошлись жестоко, что судьба жестока к нему.

Через милю река резко сворачивала на восток; миновав это место, Боб сразу увидел вдалеке пешеходный мостик, рядом с которым Конни и Итан на своем берегу ждали его, не отрываясь от разговора. Он пересек реку и подошел к ним; как ни в чем ни бывало, они смотрели на Боба, приветствуя его как исследователя, вернувшегося с края света, поддразнивая, но совсем не обидно, и Боб сам не понимал, что именно его так сильно задело, — но задет он был так глубоко, что понятия не имел, как ему вообще с ними держаться. Конни стала осматривать его ладонь, но он отдернул ее и сказал, что все в порядке; она спросила, не натер ли он ногу, и он ответил, что нет. Именно в этот момент он начал осознавать, что по направлению к нему движется что-то

опасное и что избежать этого ему не позволят, какой бы обходной хитроумный маневр он ни изобрел или применил.

Конни и Итан известили Боба, что довольно с них пеших прогулок, они хотят вернуться к машине. Боб сказал, что не против, и так оно и было, но, когда они собрались уходить, Конни взяла Боба за плечи и поставила его идти первым. Почему она это сделала? Он шел и шел, волоча за собой тревоги, и уговаривал себя, что нипочем не станет оглядываться, но потом, все-таки оглянувшись, увидел, что Конни сама оглядывается на Итана. Они не разговаривали; она просто смотрела на Итана, а Итан на нее, и Итан улыбался одними глазами, так что Боб понял, что Конни, должно быть, улыбается тоже. И тогда Боб отвернулся от них и пошел дальше.

— А ведь ты хромаешь, Боб, — сказала Конни.

Они удалялись от реки, шум воды сделался тише, тогда как шум шоссе — громче. Дойдя до машины, они расселись по своим местам; между ними установилось молчание, на взгляд Боба, имевшее текстуру кошмара. В какой-то жуткий миг ему показалось, что он сейчас закричит или расползется по швам, но затем он повернул ключ в замке зажигания, по радио зазвучали новости,

и это его спасло: на скоростях, доступных ущербным, мягкий мужской голос излагал здравые сведения о человеческом мире.

* * *

Некоторое время после похода Боб, зайдя в комнату, видел, что Конни стоит у окна в каких-то глубоких мечтаньях. Когда он спрашивал, что с ней, она чмокала его в щеку и ускользала, чтобы встать у другого окна. Эта фаза длилась с неделю. Затем наступила другая, тоже с неделю, фаза сердитости, но Боб чувствовал, что злится Конни не на него, а на весь мир. Боба в те дни, напротив, она всячески баловала: стряпала то, что он любит, и покоя не давала в постели, выпытывая, как ему нравится больше — вот так, сяк или эдак? Боб терялся в догадках, что деется, не натолкнулся ли он на сюжет супружеской жизни, публично покуда не обсужденный.

Итан дом Боба и Конни обходил стороной, но в библиотеку являлся, как прежде, и по будням в обеденный перерыв они с Бобом встречались в закусочной “Лучше”. Итан снова стал отчужденным, и пуще прежнего, и по-прежнему утверждал, что не знает, что его беспокоит, и не ел ничего толком, только пил черный кофе,

чашку за чашкой.

— Ты что-то перестал есть, — отметил Боб.

— Да, — кивнул Итан.

— Тебе нужно поесть. Без еды нельзя.

— Хорошо.

Но когда к ним подошла Салли принять заказ, Итан попросил только кофе.

— Я не сплю. Не могу уснуть.

— Без сна тоже нельзя, — рассудительно сказал Боб.

Итан только застонал и с силой провел по лицу ладонями. Взвинченный на вид, даже сердитый, он потом, после долгого молчания, попросил:

— Расскажи что-нибудь.

Прозвучало это с оттенком обвинительным, удивившим Боба и даже смутившим; так, как будто Итан подозревает его в том, что Боб скрывает от него что-то жизненно важное. И, гадая, что Итану в самом-то деле нужно, Боб решил рассказать ему о двух детях, чей разговор он услышал в библиотеке тем утром: мальчик и девочка лет семи-восьми сидели бок о бок в детском уголке. Боб проходил мимо, когда мальчик утверждал, что событие, которое он только что описал, в самом деле случилось, тогда как девочка, очевидно, это оспаривала. Лицо мальчика было серьезным,

голос искренним. “Но я клянусь, что оно так и было, — говорил он. — Богом клянусь, так и было”. И девочка, не оторвавшись от своей книги, голоса не повысив, сказала мальчику: “Не вмешивай в это Бога”.

Итан в ответ на анекдот расхохотался в голос, непритворно и жутковато; все, кто обедал там, вздрогнули, а Салли подошла и сказала:

— Черт возьми, Пэтти, может, ты нас всех рассмешишь или будешь ржать в одиночку?

— В одиночку, — отозвался Итан.

Он проводил Боба обратно в библиотеку; когда Боб помахал ему на прощание, Итан только смотрел на него. Совсем он что-то оголодал, подумал Боб.

— Пойди поешь, — сказал он, и Итан махнул рукой: да, сейчас.

Тем временем дома Конни вступила в третью фазу, еще одну фазу счастья, но эта отличалась от той, когда она смотрела в окно. Эта была богаче оттенками и больше похожа на полную сытость, совершеннейшую уверенность. Она больше не стряпала специально для Боба и не соблазняла его; она всего лишь заботливо его опекала, как будто он страдал от расстройства здоровья, несмертельного, но незавидного.

Эти дни и фазы стали для Боба подсказками, намеками и наводками. Сложившись, они сформировали ощущение опасности, и вернулся прежний страх перед тем, чтобы переступить порог, когда он утром уходил на работу, будто бы дом говорил ему: останься.

Как-то в среду, когда Итан, вопреки ожиданиям, на обед не явился, Боб вернулся домой из библиотеки пораньше. Не предупредил Конни об этом, а просто приехал, и все. Вкатив на подъездную дорожку, он увидел, что входная дверь в дом полуоткрыта, и встревожился, что бы это могло означать и почему это внушает страх.

По дорожке он прошел в дом, где стал обходить комнаты, неспешно и без лишнего шума. Он прислушивался, но прислушиваться было не к чему. Вступив в гостиную, он увидел, что дверь в задний двор открыта и что Конни сидит там, сидит на скамье очень прямо и молитвенно смотрит ввысь, словно говорит с Богом. Улыбки не наблюдалось, но поза ее и лицо выражали высшую радость, как у религиозного фанатика, исполнившегося святым духом.

Боб, подойдя, сел рядом. На запястье у Конни он заметил плотный красный шнурок, завязанный двойным бантом, она теребила его и гладила.

Все еще глядя в сторону, она сказала: “Привет”. Она была накрашена и надушена. Наконец она повернулась взглянуть на Боба.

— Ты в порядке? — спросил он.

— Да.

— Ты какая-то странная.

— Да нет, — сказала она и уткнулась лицом в грудь Бобу. — У тебя сердце бьется так быстро. — Она отодвинулась, чтобы получше его рассмотреть, и на какое-то время снова стала собой прежней. В том, как она смотрела на него, озабоченно и в то же время дразняще, была вся Конни. — Что такое? — спросила она.

Ничего особенного, просто соскучился, сказал Боб и поцеловал ее, и она поцеловала его в ответ, но быстренько отстранилась. Поднялась и спросила, голоден ли Боб, и он сказал, что нет. Она сказала, что приготовит на ужин суп, и он сказал, что суп — то, что надо. Она заставила его встать и проводила в гостиную. Усадила на диван, сунула ему в руки книгу и принесла пиво в толстопузой коричневой бутылке.

Сама же вернулась на кухню, а Боб не читал и не пил пиво, а переводил в зримые образы звуки, которые издавала Конни: стук разделочной доски, когда ее кладут на столешницу; нож, вынутый

из гнезда. Она принялась резать лук. Боб так ясно видел ее движения, как будто стоял с ней рядом.

— Что это за шнурок у тебя на запястье? — спросил он.

Она перестала резать лук.

— Просто шнурок.

— Но кто тебе его завязал?

— Сама завязала, — легко сказала она.

Боб не стал больше возникать по этому поводу. Они почти не разговаривали весь вечер и за ужином тоже. После того как поели, прибрались вместе на кухне, но так, словно каждый притворялся, что другого здесь нет. Поднялись наверх, и Боб разделся, привел себя в порядок и лег в постель, в то время как Конни закрылась и наполнила ванну. Из ванной она вышла в пижаме, и шнурка на запястье не было. Она улеглась рядом с Бобом, и они лежали там в темноте. Какое-то время спустя он услышал, что Конни спит, а потом, много позже, и сам заснул, непонятно как, потому что было ему не до сна. Незадолго до пяти он проснулся, сполз с кровати, прошел в ванную, закрыл дверь и включил свет.

Он заглянул в мусорное ведро, но шнурка там не оказалось. Бобу хотелось, чтобы шнурок был в ведре; ему было важно, чтобы шнурок там валял-

ся, и он был разочарован, увидев, что шнурка в ведре нет. Но где ж он тогда? У Конни в аптечном шкафу хранилась перламутровая раковина, в которую она складывала свои колечки и серьги; шнурок, старательно смотанный, лежал в этой раковине поверх украшений.

Боб взял шнурок, опустил сиденье унитаза и сел. Расправил шнурок по столешнице, ладонью вверх уложил посередке его свою левую руку, обхватил им запястье. Правой рукой попытался завязать его в двойной бант, но шнурок махрился, волокна его кудрявились и торчали в разные стороны, и Боб добился только того, что разлохматил его сильней. Все распутав, он попробовал еще раз, и оказалось, что он не может завязать и одного банта. Он предпринял третью и четвертую попытки, пятую, отчаялся и пришел к выводу, что, пробуй хоть сотню раз, ни за что сам себе не завяжешь два аккуратных банта с равной длины свисающими петлями, как было на запястье у Конни. Он ни за что этого не сможет, и она тоже бы не смогла, и он отошел от шнурка, в упор на него глядя, боковым зрением отмечая присутствие себя в зеркале и боясь того, что увидит, если вскинет глаза и встретится со своим отражением. Забрав шнурок, он вышел из ванной и уселся на

край кровати.

Конни пошевелилась, зажмурилась и, не проснувшись еще вполне, посмотрела на Боба. Увидев в руке у него шнурок, она начала приподниматься в кровати, как будто какая-то сила равномерно подтягивала ее, и глаза у нее распахнулись шире. Она скорбно смотрела на шнурок.

— Никак понять не могу, как тебе удалось самой завязать такой двойной бант. Ты покажешь мне, как это делается?

Боб сказал это спокойно и доброжелательно, и она согласно кивала, да, конечно, сейчас, забрала у Боба шнурок и попыталась обвязать им свое запястье. Когда бант у нее не вышел, стала пробовать еще и еще. Когда бант развалился в четвертый раз, она подняла лицо, озадаченно глядя на Боба, словно удивлялась, чем это они с Бобом заняты, как их занесло на этот неведомый перекресток.

Самое начало нового утра было заметно за оконными шторами; спальня полнилась первыми лучами дневного света. Конни растянула шнурок во всю длину и обмотала его вокруг запястья, будто собираясь попробовать еще раз, но не собралась, а начала плакать, и Боб смотрел на это, смотрел, как она стискивает шнурок в кулаке

и поднимает кулак, прикрывая лицо, содрогаясь от плача все сильней, но беззвучно.

Боб не до конца еще все понимал, не позволял себе полностью осознать, что произошло с его жизнью, когда зазвонил будильник, и звон, наполнив комнату, привел его в ужас, так что он бросился поскорей схватить часы с прикроватной тумбочки, угомонить их. Он начал отступать назад, все дальше от Конни, и пятился, пока не вышел из спальни. Остановился на верхней площадке лестницы, слыша, как тикают в ладонях часы, и да, теперь да, он понял, что в самом деле случилось, звук побудки стал громче, он бился в самое сердце, растолковывая, как оно все обернулось для Боба Комета; вот в чем был финт со шнурком.

3
1945

В одиннадцать с половиной лет Боб Комет сбежал из дома. То, что он форменно сорвался с места, не было чистой случайностью: он уже до того несколько месяцев играл с мыслью о бегстве. Маловероятно, впрочем, что он пошел бы на это, если б не инцидент с мистером Бейкер-Бейли, вызвавший у него душевное отвращение и предоставивший значимый повод, а не смутное нечто, от которого вообще стоило убегать.

Стремление уйти из дому вызрело у него по причинам самым распространенным. Начитавшись приключенческих книг, он сочинил собственное повествование, сводившееся к тому, что герой несчастлив, обделен материнской любовью и во всем мире нет у него ни единой родной души. Так он видел себя, и это была правда, но только отчасти. На самом деле мать, конечно, любила его, просто она его не понимала. И друзей он мог бы себе найти, если бы захотел, но при той отчужденности, которую он чувствовал к сверстникам, товарищество делалось невозможным.

Так что, в общем, он был несчастлив, это факт, и история о том, что герой рвется из дому, была скомпонована в дань тому, что он считал тогда своей горестной долей.

Боб ни дня не пропустил в школе и выполнял все, что от него требовали, но ему не верилось, что это важное дело. Порой в школе случалось что-то забавное или занимательное, поскольку дети часто сразу и забавны, и занимательны, но куда чаще, и даже чаще всего, считал Боб, ничего подобного там не происходило.

Всю неделю он с нетерпением ждал выходных, по субботам вставал рано, готовил себе завтрак, подхватывал свой готовый к побегу рюкзак (чистые носки и трусы, пижама, роман, зубная щетка, расческа и все его сбережения, двадцать один доллар), спускался с холма, переходил по Бродвейскому мосту реку и шел к железнодорожному вокзалу. “В дорогу поездом!” — гласила неоновая реклама, и Боб находил этот призыв здравым.

Ему нравилось сидеть в главном зале на длинной деревянной скамье, наблюдать за вокзальной суетой, за сюжетами, которые разыгрывались вокруг, за прибытием и отправкой солдат, за расставаниями в слезах и за любовными встречами. Ему нравилось, как поезда подъезжали к стан-

ции, шипя и бормоча, будто кто-то погружается в горячую ванну. Ему нравилось, как щелкали буквы на табло прибытия и отправления. Не было такого города, в который он хотел бы сбежать, — ни в Бейкерсфилд, штат Калифорния, ни в Гринвилл, штат Миссисипи, ни в Абилин, штат Техас, ни в Гэллап, штат Нью-Мексико; но ему нравились названия мест, и волновала мысль, что эти места существуют на самом деле, что люди, садящиеся в поезда, скоро будут дышать тамошним воздухом.

После нескольких выходных, проведенных в главном зале, Боб осмелел и начал осматривать поезда внутри, пока они стояли на станции. Было приятно быть в движении подобно многим другим, идти по проходу, протискиваясь мимо мужчин и женщин, в то время как те рассаживались или укладывали свой багаж на верхние полки. “Прошу прощенья, — нравилось говорить ему, — извините, пожалуйста”. Пройдя все вагоны до последнего или заслышав с перрона клич “Посадка заканчивается!”, он выходил из поезда и возвращался на длинную деревянную скамью или же через мост брел обратно домой с тем, чтобы, проснувшись наутро, заново перебрать в уме свои вчерашние впечатления.

Однажды в мае Боб в пятницу, придя из школы, увидел, что мать расхаживает по гостиной, курит и пьет коктейль, лицо ее сильно накрашено, волосы в бигудях, а до хруста новое платье перекинуто через спинку дивана. Она объяснила Бобу, что вечером устраивает, как она выразилась, “прием” и что Бобу придется переночевать сегодня у ее сослуживицы, на другом конце города.

— У нее мальчик примерно твоего возраста. Его зовут Рори, и, похоже, он славный парень, я уверена, вы подружитесь и хорошо проведете время.

Боб прежде никогда еще ни у кого не ночевал, ему страшно этого не хотелось, и он принялся упрашивать мать, выдвигая условия: всю ночь он просидит в своей комнате; он не издаст ни звука; никто из тех, кто приглашен на этот “прием”, даже не почует, что он вообще там есть. Но мать отвечала отказом, и тон у нее был непреклонный. Она приказала ему собрать сумку, и Боб, забрав в своей комнате тот самый рюкзак для побега, первым вышел из дома и сел в машину. Вскоре и мать появилась в розовой прозрачной косынке поверх бигудей, что-то сама себе говоря и поматывая указательным пальцем с красным ногтем, на котором болтались ключи. Пока они ехали

через город, она попыталась подбодрить Боба воспоминаниями о ночевках своей юности: игры, в которые они играли с подружками, приступы безумного смеха и то, как они пытались всю ночь не уснуть, и никогда это у них не получалось.

— Может, вы с Рори все же пройдете эту дистанцию, а? Проболтаете до рассвета.

Мать была как на иголках, перебивала сама себя, то и дело поглядывала на часы, курила без остановки и нервно стряхивала пепел в окно. Боб сидел молча, приговоренный на пути к виселице.

— Не заставляй меня чувствовать себя виноватой, — не выдержала его молчания мать.

— Я и не заставляю.

— Нет, заставляешь.

— Нет, специально — нет.

— Я хочу. Чтобы ты. Повеселился. Хоть раз в жизни. Ты меня понимаешь? — сдавленным от досады голосом сказала она.

Вскоре они притормозили перед небольшим домом с заросшей лужайкой и кучкой кривого сучья на подъездной дорожке.

— У меня нет времени зайти поздороваться, — произнесла мать, — но тебя ждут, так что просто пойди туда и постучись в дверь, ладно?

Боб взял свой рюкзак и направился к дому. Мать посигналила, отъезжая, что побудило ее сослуживицу открыть дверь и застыть на пороге, глядя вслед быстро удаляющейся машине.

— Ого, — сказала она. — Похоже, твоя мама страшно торопится, да?

— Да.

— А ты, должно быть, Боб?

— Да.

— Приятно познакомиться, Боб. Я мама Рори, и эй, посмотри-ка, вот он и Рори.

Рори подошел и встал рядом со своей матерью. Он был на два или три года старше Боба, лицо у него было щекастое и равнодушное. Под мышкой он держал баскетбольный мяч, и когда его мать сказала: “Поздоровайся с Бобом, Рори”, — Рори этого делать не стал.

— Привет, — сказал ему Боб.

— Может, Боб хотел бы поиграть с тобой в баскетбол? — предложила мать Рори.

— А ты хотел бы? — спросил Рори Боба.

— Да, — солгал Боб.

Он оставил свой рюкзак на крыльце и последовал за Рори за угол дома, где встал под обручем без сетки, прибитым к фасаду гаража. Мальчики не слишком-то перебрасывались словами, но оба

старались хоть что-то извлечь из вынужденного взаимодействия. К несчастью, у Боба почти не имелось ни спортивного опыта, ни способностей к спорту: он так и не смог ни разу попасть мячом в кольцо. Сам он считал, что его усилия выглядят потешно, но Рори неумелость Боба не веселила, он громко вздыхал, качал головой и тихонько, но сердито бурчал. Вскоре он объявил, что с него хватит, взял мяч и пошел в дом, не пригласив Боба пойти с ним. Боб не был уверен, что ему теперь делать. Он побродил немного у гаража, затем осмотрел кучу веток на подъездной дорожке, затем сел на газон и стал наблюдать за проезжающими машинами. Солнце уже заходило, от сидения на сырой земле штаны Боба промокли. Он услышал, как открылась входная дверь; мать Рори сказала:

— Боб? Что ты тут делаешь?

— Сижу, — не оборачиваясь, ответил Боб.

— Пойдем лучше ужинать, — сказала мать Рори. — Я накрыла вам с Рори в гостиной. Рори слушает смешную передачу по радио, “Фиббер Макги и Молли”.

Боб встал и пошел за матерью Рори. Тот сидел на зеленом диване в обшитой деревянными панелями гостиной и ел из тарелки, которую

держал на коленях, а тарелка Боба ждала его на подносе. Мать Рори спросила Боба, что ему дать запить. “Молока, пожалуйста”, — ответил ей Боб, и мать Рори погладила его по голове и сказала, что сейчас принесет.

Боб уселся, осмотрел свою тарелку и стал есть картофельное пюре. “Фиббер Макги и Молли” прервались на рекламу, которая с жаром призывала покупать военные облигации, и тут Рори повернулся к Бобу и сообщил:

— Мой папа слишком старый, чтобы сражаться на фронте, — так сказал, словно это обстоятельство не давало ему покоя, словно это была гора, которую хочется сбросить с плеч.

— Понятно, — сказал Боб.

— Он бы пошел, если б был помоложе. Он хотел пойти.

Боб подцепил вилкой пюре.

— А твой, наверное, был там, да? — спросил Рори.

— Нет. Не знаю. Я так не думаю.

— Как это ты не знаешь? Был или не был?

— Я не знаю, — сказал Боб.

Вошла мать Рори со стаканом молока в руке, поставила стакан на поднос Боба и произнесла ровным голосом:

— Рори, выйди со мной на минутку, пожалуйста.

— Мы слушаем радио, ма.

— Всего на минутку, Рори.

Рори ушел с матерью, а вернулся один. Теперь он держался иначе по отношению к Бобу: не дружелюбней, а заинтересованнее, украдкой косясь на него всякий раз, когда думал, что Боб этого не видит. Боб понял, что мать Рори объяснила ему, что у Боба нет отца. Задевал не сам факт, что Рори об этом узнал, а его назойливое любопытство и то, что у него не хватало такта это свое любопытство скрывать. Но, по крайней мере, он понимал хотя бы, что не следует произносить вслух того, что звучит у него в голове; с этого момента он почти перестал говорить с Бобом.

После “Фиббер Макги и Молли” они послушали, как комик Боб Хоуп веселит на фронте солдат, не очень-то и смешно, а затем новости: немецкие войска в Дании сдались союзникам. Вошла мама Рори, держа в руках рюкзак Боба, и сказала чирикающим голосом: “Не пора ли вам, мальчики, приготовляться ко сну?” Когда Боб проходил мимо нее, она снова положила руку ему на голову, и он внутренне скривился на это прикосновение, которое, как он теперь знал, означало, что он

вызывает жалость.

Они направились в комнату Рори, по очереди сходили в ванную, почистили зубы и надели пижамы. Боб лежал в темноте на полу в спальном мешке; спать совсем не хотелось, и через некоторое время, услышав ровное дыхание Рори, он прямо поверх пижамы натянул свою уличную одежку, взял рюкзак и вышел из комнаты. Спустился по лестнице и, тихо ступая, по коридору направился к входной двери; проходя мимо кухни, он увидел отца Рори: тот, согнувшись, заглядывал в холодильник. На нем была белая майка, заправленная в изношенные пижамные штаны, а сам он был грузный и бледный. Заметив Боба, он выпрямился и сказал:

— Ты, должно быть, тот парень, который у нас ночует, мне говорили. — Боб это подтвердил, и отец Рори спросил его: — И куда ж ты собрался?

— Домой.

Мужчина посмотрел на свои наручные часы, а потом на Боба.

— Все в порядке. Я в порядке. До свиданья. Благодарю вас, — сказал ему Боб.

— Меня-то за что, — отозвался отец Рори и снова согнулся перед нутром холодильника. — Я ни при чем.

Это была в несколько миль прогулка сквозь теплую тихую ночь, и Боб почувствовал облегчение, освобождаясь от чувств, которые вызвало в нем пребывание в чужом доме. Он медленно шел сначала пригородными, а потом городскими кварталами. Прежде он никогда не гулял так поздно, и пустота ночи совсем не пугала, а казалась покойной и безопасной. Он не заблудился, но все-таки чуть поплутал; в общем, он знал, в каком направлении двигаться, чтобы добраться домой, и использовал мосты как ориентиры. Перейдя реку по мосту Моррисона, он пологим холмом поднялся к дому мятного цвета.

Было уже за полночь, когда Боб вошел в свой квартал. Только у них в доме горел свет, а на подъездной дорожке стоял новенький черный “паккард”, сверкавший в свете уличного фонаря. Боб услышал, как играет стереосистема; по лужайке он прокрался к кухонному окну и встал на цыпочки, чтобы заглянуть внутрь. Через коридор, ведущий из кухни, отчасти проглядывалась гостиная, и там была широкая спина мужчины без пиджака, рукава рубашки закатаны, а с плеч мужчины свисали руки матери, саму ее видно не было, но красными ногтями она вцеплялась в него, и они медленно танцевали. Когда музыка

смолкла, тела настиг порыв страсти, они стиснулись, и Боб отвернулся и пошел от своего дома в парк, который располагался дальше по улице.

В парке никого не было, и Боб сел, а затем и прилег на скамейку, чтобы смотреть в небо, потому что не представлял, что ему еще сделать. То, что он сейчас чувствовал, было глубже и насыщенней, чем обыкновенная тошнота: его тошнило всем сердцем. Но неутомимые облака устроили ему неторопливый показ форм и настроений, таинственный, подсвеченный лунным светом; они убаюкали и отвлекли Боба, заморочили и нагнали сон. Когда он проснулся, было уже за семь утра, он встал, размялся и пошел назад к дому. На подъездной дорожке блестела лужица масла, но “паккард” уехал.

Войдя в дом, Боб застал мать на кухне, она стояла и глядела на раковину, заваленную грязными тарелками и кастрюльками. Воняло горелым маслом и пепельницами, в которых громоздились окурки, а мать Боба, истерзанная на вид, стягивала рукой кимоно у шеи. Услышав шаги Боба, она повернулась к нему, как манекен на вертушке. По глазам ее было ничего не понять; она хрипло сказала: “А, вот и мистер Популярность”. Не вызвало ее удивления ни то, что он

вернулся так рано, ни то, что он вернулся сам по себе. Она лишь известила его, что ей нездоровится, что ей нужны отдых и тишина, и пошла вверх по лестнице, чтобы обрести то и другое.

Боб посидел недолго в кухонном закутке, глядя из окна, в которое со двора смотрел прошлой ночью, и твердо решил сбежать, взаправду сбежать, вот сию минуту, немедля. Он вышел из дома, спустился с холма и опять через реку направился к вокзалу, и из-под отворотов его синих джинсов выглядывала пижама.

* * *

Боб сам поразился тому, как легко оказалось сбежать. Он устроился в вагоне третьего класса, где нашлось свободное место, и через четверть часа поезд стронулся с места и отправился в путь.

Пяти минут не прошло, как они отъехали, а пейзаж стал уже неузнаваем: серые, плоские, каменистые поля с линиями электропередачи, а вдалеке холмы, поросшие лесом. Как раз к тем холмам поезд и шел, направляясь на запад, в Асторию, где в Тихий океан впадает река Колумбия. Заметив, что в хвостовой части вагона кондуктор приступил к проверке билетов, Боб поднялся и, двинувшись в противоположном направлении,

через вагоны второго класса, вагон-ресторан и смотровые вагоны для туристов, дошел до первого класса. Там ему на глаза попалось купе, на дверной ручке которого висела табличка “занято”; но через щель в занавеске было видно, что в купе никого нет, и поэтому он вошел туда, плотно задернул занавеску, сел в угол и стал ждать.

Кондуктор прошел мимо, крича: “Билеты, приготовьте билеты, пожалуйста”, — и Боб немного отмяк, обрадованный, что остался один в своих шикарных апартаментах. Он рассматривал проплывающий мимо пейзаж, который становился все привлекательней: пологие зеленые холмы, тут беленые церковки в лощинах, там молочные фермы, силосные башни и автобусные остановки, похожие на сторожевые будки на перекрестках дорог.

Когда поезд подъехал к станции городка Вернония, Боб посмотрел вниз, рассчитывая разглядеть что-нибудь на платформе. И так случилось, что прямо под окном Боба разыгралась история.

В центре сюжета были две средних лет дамы в твидовых жакетах и юбках, обе в шляпках с длинными понурыми перьями, проросшими из-под шляпных лент. Полногрудые, но скудные подбородком, женщины наводили на мысль о

городских голубях. Им сопутствовали две маленькие, с блестящими глазками собачки, обе черные в белых носочках и похожие одна на другую, как брат и сестра. Обе уютно гнездились каждая на локтевом сгибе своей хозяйки, всем существом отзываясь на всякий звук и движение, производимые дамами. Подле дам стояли два носильщика, и каждая разговаривала со своим, жестикулируя свободной рукой, отдавала распоряжения и высказывала пожелания, нимало не испытывая при этом, судя по языку тела, неуверенности или стеснения.

Насущным вопросом и основной темой перронного разговора был багаж дам, впечатляющий по объему и требующий подробного обсуждения. Все предметы поклажи помещались в чехлах из плотной темно-синей холстины, но не было среди них ни одного, который не выделялся бы своими размерами. Один длинный и узкий, как носилки; другой высокий и вертикальний, как почтовая тумба. Были штуковины разборные, были и неразъемные; из одного чехла виднелась доска с кожаными уголками, прибитыми гвоздиками с латунными шляпками. Все это в совокупности определенно служило какой-то особой задаче, но какой именно, Боб догадаться не мог.

Носильщики, пожилые мужчины, всячески давали понять, что жизнь труженика — это юдоль скорбей, и внимали дамам, не улыбаясь.

В какой-то момент сумка, стоявшая на самом верху багажного островка, накренилась и свалилась к его основанию; ударившись о платформу, она будто бы взорвалась, и теперь всюду были разбросаны парики. Только подумать, напудренные парики викторианской эпохи, высокие и белые, с длинными ниспадающими локонами! Дамы, разволновавшись, спустили собак на перрон и принялись спешно собирать парики, осматривая каждый пробор и локон, не запачкан ли он, не порван ли. Собачки следовали за ними, переминаясь с лапки на лапку, видно, им было холодно ходить по асфальту.

Убедившись, что парики особо не пострадали, дамы снова уложили их в сумку, снова подхватили собак и вернулись на исходную позицию рядом с носильщиками, которые в инциденте с париками сочли за лучшее ничего не предпринимать, а ограничиться наблюдением. Дамы возобновили свои речи, сопровождаемые жестикуляцией, подробно обозначая свои ожидания в отношении багажа.

К этому времени носильщики, судя по их виду,

уж совсем вышли за пределы своей способности испытывать что-то вроде веселья или разочарования, оказавшись в некоей эмоциональной пустыне, где мало что можно поделать, разве только считать убегающие минуты.

Дамы расплатились с носильщиками, сошли с платформы и скрылись из виду; как только это произошло, носильщики достали каждый по серебристому свистку, встали спина к спине и вместе выдули в воздух резкий, пронзительный звук. Вскоре два младших носильщика, на вид ненамного старше Боба, поспешили к своим начальникам, которые указали им на башню багажа, затем на поезд, а сами ушли в направлении привокзального буфета. Юные труженики, окинув взглядом друг друга, багаж и снова друг друга, приступили к обыденному своему делу погрузки вещей в вагон.

* * *

Женщины с собачками вошли в купе, и Боб забился в угол в надежде стать невидимкой. Они и не заметили его сразу, занятые тем, что располагались, устраивались, стаскивали кожаные перчатки, развязывали шейные платки, снимали шляпки. Лица у них не были ни накрашены, ни

напудрены; обе ладные, обе энергичные, они имели все основания считать, что могут красоваться и так.

Покуда они рассаживались, собачки присмотрелись к Бобу: обе вместе, плечом к плечу, будто в упряжке, подступили к тому уголку, где он сидел, обнюхали и отступили, глянули оценивающе глаза в глаза и сделали свои выводы. Они учуяли в нем страдательность или, если назвать другим словом, доброту и, заключив, что он им не враг, улеглись рядышком, одна на другую, отдохнуть. Та дама, что стояла поближе к Бобу, по поведению собак поняла, что в купе есть кто-то еще. Уставилась на Боба, сильно сощурившись, и позвала:

— Джун!

— Да, Ида, что такое? — отозвалась та.

— Именно, что такое, мне и самой хотелось бы это знать.

Дама по имени Ида, указывая на Боба одной рукой, другой похлопывала себя по карманам.

Вторая, по имени Джун, тоже наконец его разглядела:

— Боже, да это мальчик!

Ида, разыскав свои очки, надела их. Прищур ее разгладился, и она подтвердила:

— Все-таки да, мальчик. На минутку мне пока-

залось, что это подушка или тряпка какая-то. — И повернулась к Джун, вопросив: — Ну и что он тут делает?

— Думаю, почти то же, что и все мы, дорогая моя.

— Но с какой стати он здесь, когда мы зарезервировали, за решительно безумные деньги и в такой момент нашей жизни, когда роскошь нам недоступна, это купе с тем, чтобы тут ехали только мы вдвоем?

— Что это у тебя за манера задавать мне вопросы, на которые я не знаю ответа!

— Просто я хочу понимать, что происходит, — ответила Ида.

— Все этого хотят, и все мы обмануты в своих ожиданиях, и так и умрем, ничего не поняв, — Джун вздохнула. — Жаль, что оно сразу не объявило, что оно здесь. Честно сказать, я чувствую себя несколько неодетой. Надеюсь, мы не успели еще затронуть какой-нибудь старый скандал и не дали повод для нового.

Ида возвела взор, пересматривая прошедшее время.

— Нет, не успели, — резюмировала она. — Что ж, придется смириться с тем, что не быть нам вдвоем, вопреки всем надеждам. Однако тут есть

и светлая сторона. Похоже, мальчик немой и, возможно, глухой вдобавок, так что мы легко сможем притвориться, что нас тут всего двое, хотя это будет всего лишь иллюзия уединенности.

После этих слов женщины снова занялись своими делами, и какое-то время прошло в молчании. Поезд теперь ехал под уклон через густой лес. Боб достал из рюкзака книгу и начал читать. Чуть спустя он краем глаза засек, что Джун дергает Иду за рукав и указывает на него подбородком. Тихо, но не так тихо, чтобы Боб не услышал, она сказала:

— Ида, оно ученое.

— Что?!

— Оно читает. — И тут Джун обратилась к Бобу: — Мальчик!

Боб оторвался от чтения, Джун протянула руку, он передал ей книгу. Она прочла, что на корешке, перелистала страницы и доложила Иде:

— Одна из тех, знаешь, историй, в которых одинокий путник терпит лишения в дикой глуши, и если между делом подохнет один свирепый волк или два, то тем интересней.

Джун вернула книгу, и Боб взял ее, но не возобновил чтения, предполагая, что с ним еще побеседуют, и Джун вправду продолжила:

— Я все жду, — сказала она доверительным тоном, — когда же прибудет тот, кому тебя поручили, но что-то я уже сомневаюсь, что это произойдет.

— Да, мэм.

— Но не может же быть, чтобы ты путешествовал в одиночку?

— Может, мэм.

— Сколько же тебе лет?

— Одиннадцать с половиной.

— У тебя есть родные?

— Только мама.

— Где же она?

— Работает.

— Кем?

— Секретаршей, в Портленде.

— Она в Портленде, а ты здесь, без нее?

— Да.

Обдумав это, Джун сделала вывод:

— Так ты что ж, неужели сбежал из дому?

— Да, мэм.

Лицо Джун расплылось в улыбке, и эффект это произвело поразительный, потому что, искренне выражая радость, лицо приняло вид помятого и побитого, а зубы оказались кривые и в пятнах. Могло показаться даже, что это гримаса боли;

но нет, известие прямо-таки восхитило Джун, потому что она сказала:

— О, я как раз так и думала! А ты, Ида, ты не думала, что он сбежал? Сбежал из дому?

— Нет, я так не думала, — сказала Ида. — Но, с другой стороны, я не думала, что это не так.

— Ну, по мне, это романтично! — Улыбка исчезла с лица Джун, но выбоины от улыбки еще держались. — И куда ж ты бежишь? — спросила она Боба, и тот пожал плечами, пункта назначения в виду не имея.

— Возможно, он просто будет бежать, пока не откажут ноги, — ответила за него Ида. — Ведь главное — это движение. На твоем месте, парень, я бы двинула во Флориду. Прекрасный там климат для жизни на свежем воздухе.

— Не стоит предполагать крайности, — сказала Джун. — Может, ему посчастливится попасть в более комфортную ситуацию. Может, у него впереди безмятежная участь, любящий благодетель, жаждущий направить его на полезное для здоровья дело. Может, его ждет духовная должность.

— Ну, он мог бы стать звонарем.

— Вполне мог бы достичь процветания в качестве звонаря, это правда. Знаете, — сказала Джун, — а ведь я тоже хотела сбежать, когда бы-

ла девочкой, но у меня смелости не хватило. А тебе, Ида, разве тебе ни разу этого не хотелось? Сбежать? Преподать миру горький урок?

— Чего мне хотелось, так это прыгнуть в реку с полным карманом камней, — отозвалась Ида.

— О, да, это да, — покивала Джун, словно вернувшись во времена своей первой любви, и переключилась на Боба: — Я вижу, ты одинок в своем приключении. Но почему? Разве ты не хотел бы, чтобы кто-нибудь из школьных друзей сбежал с тобой за компанию, а?

Боб, промолчав, отвел взгляд и уставился в потолок так, будто там происходило или скоро может начаться нечто, привлекающее внимание.

— Да, я понимаю, — сказала Джун.

— А вот я раньше частенько мечтала, — сказала Ида, — каково это было бы, взять и расколотить одну из этих здоровенных витрин с надписью дугой из сусального золота по уличной стороне. Мясная лавка, книжный магазин или бильярдная — мне было все равно что. Главное — расколотить.

— И чем бы ты ее расколотила? — спросила Джун.

— Как чем? Конечно же, кирпичом. — Ида показала им ладонь, сложенную так, будто в ней

кирпич. — Представьте, вот он летит по кривой и попадает в самую середину большущего оконного стекла, и от удара стекло продавливается внутрь и осыпается, да с таким переливчатым звоном! Этот звон утолил бы мой самый тайный, самый зловредный порыв к разрушению — и, я думаю, навсегда.

— У Иды тоже не было друзей в школе, — краем рта сообщила Джун Бобу, на что Ида отозвалась:

— Зато у Джун всегда было в избытке подруг и кавалеров. Но в конце концов все они оказались предателями, разве нет?

— Да, это правда. И как-то, после последней жестокой измены, я подумала, что больше на эту грязную удочку не попадусь. И поклялась быть одна.

— Но потом она, видишь ли, кое-кого встретила, — сказала Ида.

— Да-да-да, и только глянь теперь на меня. По самые уши, дитя. Увязла в жизни, полной неизвестности, и скитаний, и не знаю чего еще. — Джун погрозила подруге пальцем и сказала Бобу: — Конечно, когда с кем-то связываешься, ухо нужно держать востро. Но, с другой стороны, где он, предел бдительности и осторожности? Ведь всякий раз, покидая свой кров, ты иску-

шаешь судьбу. Люди то и дело ввязываются в общение, хотят они того или нет. Это как болезнь, занесенная ветром. — Джун сделала паузу и произнесла как что-то обдуманное: — Только одно скажу: это может сорвать чьи-то планы.

Ида помолчала, перевела дух, а потом уж отозвалась:

— Прошу прощения, какие именно планы сорвались?

— Ты в них не посвящена, — ответила Джун и подмигнула Бобу.

— Это само собой, — сказала Ида. — Но, может быть, ты их сейчас огласишь?

— Ох, Ида, — устало сказала Джун.

— Назови планы, которые я расстроила. Мне хотелось бы знать. И, возможно, я смогу как-то возместить ущерб, который я тебе причинила.

— Сдается мне, — сказала Джун, глядя на Боба, — мы пошли неверной дорожкой.

— Ах, так вот как ты думаешь! — сказала Ида. — Вот что, по-твоему, произошло!

Щеки ее раскраснелись, а дыхание стало сбиваться.

Джун извинилась самым искренним тоном записной обидчицы, и у Боба создалось впечатление, что для Иды не было ничего необычного

в том, что Джун задевала ее и прищучивала; и еще ему показалось, что Джун, похоже, меньше считается с чувствами Иды, чем бывало когда-то. Впрочем, сейчас Джун, видя, что Ида сникает у них на глазах и скатывается в уныние, решила обойти эмоциональную катастрофу и придумала спасительный ход. Она тронула Боба за руку, чтобы привлечь его к делу:

— Я думаю, нам следует посоветоваться с нашими мальчиками, как они думают, какое решение нам лучше принять. — Она повернулась к собачкам, которые все еще лежали калачиком на сиденье рядом с Бобом. — Мальчики, — сказала она, и оба песика открыли глаза, — я к вам за советом; могу я отнять у вас чуточку времени? — Собачки подняли головы. — Мы с моей дорогой Идой снова зашли в тупик. Мы с ней обе очень, очень утомлены и не чувствуем уверенности в том, что нам обеспечены блага жизни, как в настоящем, так и в будущем; нами овладело уныние, и, право слово, мы слишком легко даем выход своему раздражению. Как вы думаете, где наилучший выход из этого положения? Что нам сделать, чтобы поднять Иде настроение, пока время еще не упущено и день можно спасти?

С этими словами Джун вытащила из кармана

жакета маленький музыкальный инструмент. У него было толстенькое деревянное основание, к которому крепились узкие стальные пластины; Джун прочно уложила его на колено и, подцепляя пластины, заиграла тоненький, как комариный писк, вальс.

Узнав мелодию, собачки поднялись сначала на четыре лапки, затем на задние две, и, положив передние лапки друг другу на плечи, начали что-то вроде бального танца. Джун играла легко, ее пальцы проворно перебирали пластины, она сама себе подпевала. По Иде было видно, что настроение ее выправляется, она наблюдала за собачками снисходительно или, во всяком случае, не свысока. Что касается Боба, то у него и слов таких не имелось, чтобы отозваться на зрелище вальсирующих собак.

Поезд шел чащей дремучего старого леса. Океана в виду еще не было, но Боб чувствовал, что океан грядет.

* * *

Поезд закончил свой путь в Астории, дамы встрепенулись и принялись готовиться к высадке. Наблюдая за сборами, Боб обнаружил в себе порыв последовать за своими спутницами и

провести расследование, приглядевшись к их перемещениям и поступкам, и решил, что сделает это, не извещая об этом своем намерении, если, конечно, удастся этого избежать. Он встал и взял свой рюкзак, изобразив и лицом, и вообще всем видом, что он от них отдельно и совершенно сам по себе. Выходя из купе, Джун оглянулась на него с вопросом в глазах, который он трактовал было в том смысле, что она за него беспокоится, но или же он ошибся, или же она предпочла не произносить этот вопрос вслух.

— Что ж, удачи, молодой человек, — вот что она сказала, и Боб склонил голову, и все они покинули купе, гуськом проследовав узким вагонным коридором на выход, причем обе собачки смотрели на Боба поверх плеч своих хозяек.

Они впятером спустились на оживленную платформу, и Боб скрылся в толпе, слоняясь поодаль, пока женщины наблюдали за переносом своей поклажи из поезда в багажный отсек автобуса “Трейлуэйз”, который, пыхтя выхлопной трубой, ждал пассажиров на кольцевой развязке перед вокзалом. После того как дамы сели в автобус, Боб улучил момент, когда водитель был занят тем, чтобы вещи в багажном отделении не елозили, а само багажное отделение закрылось,

пробрался внутрь и попытался отыскать свободное место. Свободных мест не было, кроме задней части автобуса, где как раз и расположились дамы с собачками.

Именно Ида заметила, что Боб к ним приближается, Джун в тот момент отвлеклась на вид из окна.

— Оно вернулось, — сказала она.

— Что вернулось?

— Твой вагонный проект. Найденыш.

Джун повернулась, увидела Боба и снова расплылась в этой своей улыбке, от которой ломалось лицо.

— А, отважный вояжер, — сказала она.

— Добрый день, — поклонился ей Боб.

— Не втягивай нас в болтовню, — пресекла его Ида. — И куда ты, по-твоему, направляешься? — И, не дождавшись ответа, предположила: — Неужели туда же, куда и мы?

— Нну, — сказал Боб.

— Ну ничего себе! — Ида повернулась к Джун. — Пойду-ка я уведомлю водителя об этом ребенке и попрошу его вызвать полицейского, пусть тот встретит нас в Мэнсфилде.

— Ида, ты просто маньяк какой-то, — сказала Джун. — Мальчик волен ехать, куда ему вздума-

ется. Он же никому не мешает.

— Мне он мешает, мне!

— Сама ты себе мешаешь. Это проблема всей твоей жизни. Сделай одолжение, позволь, я разберусь. — Джун указала на сиденье сбоку от них и сказала Бобу: — Устраивайся поудобнее.

Боб послушался Джун, в то время как Ида, тихо кипя, возмущалась. Это продолжалось так долго, что в конце концов Джун, не выдержав, протянула руку и закрыла ею рот Иды, и в этот момент та распахнула глаза, словно в сильном волнении; но, когда Джун убрала руку, Ида больше не говорила. Приникнув к окну, она закрыла глаза. Автобус, шипя и дребезжа, тронулся с места.

Они ехали в южном направлении по извилистому двухполосному шоссе, справа от них был океан, а солнце клонилось к горизонту.

Джун пересекла проход и жестом велела Бобу подвинуться, чтобы она смогла сесть рядом. Вынув из кармана жакета шоколадный батончик “Бэби Рут”, вскрыла обертку, стараясь шуршать потише, и протянула Бобу открытую верхушку, приглашающе на него глядя; Боб отломил кусочек и медленно его прожевал, в то время как Джун подмела все остальное, кивая в знак того, что ей вкусно. После чего бросила обертку на пол

автобуса и носком кожаного ботинка подпихнула ее под сиденье.

— Ну, и как же тебя зовут? — спросила она.

— Боб.

— А фамилия?

— Комет.

Она поглядела на Боба так, словно не ухватила, в чем шутка.

— Скажи по буквам, — и Боб сказал, а она посмотрела на Иду, но та спала, как и собачки.

— Признайся, Боб, — вполголоса призвала Джун, — ты что, нас преследуешь?

Боб пожал плечами.

— Но зачем?

Боб снова пожал плечами.

— Что ж, — сказала она, — я, в общем-то, не возражаю. Больше того, я считаю, что это, в общем-то, лестно. Но, надеюсь, ты не рассчитываешь на то, что мы станем тебя опекать?

Боб пожал плечами в третий раз, и тут Джун положила руку ему на плечо.

— Боб, пожимать плечами — инструмент полезный и по-своему соблазнительный, но это всего лишь одна стрела в колчане, и не следует ею злоупотреблять, иначе рискуешь создать впечатление, что сказать тебе нечего. Ты пони-

маешь, о чем я?

Ида сквозь сон пробормотала что-то неразборчивое. Джун сказала:

— Я очень надеюсь, что ты не станешь держать зла на мою подругу. В ее нападках нет ничего личного, просто она страдает от неизлечимого недуга, и имя ему — сварливость. Силу она черпает во враждебности, а радость — в силе. Но в любом случае, как я уже говорила, глупо предполагать, что мы сможем тебе помочь. Как перед Богом скажу, мы с Идой еле-еле справляемся с тем, чтобы обеспечить себя едой и кровом. — На этом Джун умолкла, явно чего-то ожидая. — А ты сам ни о чем не хочешь меня спросить? — поощрила она.

— О чем, например?

— Ну как же. Кто мы такие, куда едем, зачем мы туда едем, почему у нас багаж из двадцати трех ни на что не похожих штуковин, почему у меня в кармане металлофон и как это вышло, что наши собачки танцуют вальс.

— О да! — сказал Боб, которому и впрямь очень хотелось это все знать.

— Что ж, — сказала она, — я отвечу тебе, раз уж ты сгораешь от любопытства.

Ее голос еще понизился, и она огляделась по

сторонам, будто желая убедиться, что никто из соседей их не подслушивает.

— Мы с Идой *феспианки*, Боб.

Боб не был уверен в том, что именно означает это слово, отсылающее, по сути, к Феспию, зачинателю древнегреческой трагедии, но то, как Джун произнесла его, намекало на что-то постыдное, и Боб залился краской.

— Да, — сказала она, указывая на красную щеку Боба. — Это шокирует, я знаю. Но давай не будем приукрашивать: мы пара отчаявшихся феспианок, ищущих, где бы нам применить свои скромные таланты и при этом не нашалить слишком сильно. Конечно, мы рассчитываем избежать тюремного заключения. Случалось нам получать денежное вознаграждение за оказанные нами услуги; но жизнь, знаешь ли, не сахар, и это еще мягко сказано. Обе наши семьи, само собой, от нас отреклись. И уже довольно давно мы исключены из приличного общества. Но у нас и выбора не было, понимаешь? Дело ведь в том, что человек либо рождается актером, либо нет, и никто не в силах бороться с потребностями своего разума, да и своей плоти в конце концов, не так ли? — Она подняла взгляд поверх головы Боба. — Я не обижусь, если ты захочешь пере-

сесть от нас, Боб. Не хотелось бы навлекать позор на дом Кометов. — Боб, однако, не двинулся с места, и Джун, сжав его руку, сказала: — Я знала, что ты останешься. Твое сердце написано у тебя на лице!

— Так вы актрисы! — вымолвил Боб.

— Мы драматические актрисы, — подтвердила Джун. — Мало того, мы еще и драматурги, продюсеры, режиссеры, дизайнеры, рабочие сцены, мастера реквизита, кинологи и собаки. Мы занимаемся всем этим сразу не из амбиций, а потому, что заняться этим, кроме нас, некому, мы одиноки. Да, мой маленький беглый друг, это истинно и в конечном счете то, что мы есть.

Боб спросил, не едут ли они куда-нибудь выступать, и Джун просияла. Она протянула руку через проход и ткнула пальцем в живот Иды. Та слегка приоткрыла свой правый глаз.

— Боб Комет проявил интерес, — сказала ей Джун.

— Кто такой Боб Комет?

— Найденыш, Ида. Его зовут Боб Комет, и я из себя вон лезу, чтобы удовлетворить его любопытство.

— Оставь меня в покое, — сказала Ида и снова закрыла глаз.

Джун повернулась к Бобу.

— Мы, я и моя брюзгливая спутница, едем в городок под названием Мэнсфилд на премьеру нашей последней работы, которая состоит из нескольких связанных между собой виньеток. Ты знаешь, что такое виньетка?

— Нет.

— Это история, которая не дотягивает до того, чтобы называться историей, поэтому ее именуют виньеткой. Притворяясь, что сделал ее такой намеренно, ты избегнешь стыда, которым сопровождается чувство вины. Ты знаешь, что такое чувство вины?

— Нну…

— Это счет, срок оплаты которого истекает. Эта работа, которую мы сейчас везем, она у нас не самая сильная. Неплохая, но в ней нет прежней мощи, которая когда-то давалась легко и так, будто это наипростейшее дело. Теперь мощь гаснет, и нет в мире витаминов или лекарств, чтобы восполнить ее отсутствие. Все подходит к концу, Боб Комет, песчинки сыплются в горлышко песочных часов, и не верь, когда тебе скажут, что это не так. — Джун прищелкнула пальцами. — В Мэнсфилде есть отель, в котором мы в довоенные годы демонстрировали кое-какие наши работы и, было

дело, имели успех, местного значения, конечно, но успех тем не менее, и чем неожиданней, тем приятней. Это было во времена лесного бума, в конце тридцатых, когда лесопромышленникам, их подручным и их любовницам вечером в пятницу и субботу требовалось хоть что-то, напоминающее культуру. Мне тогда казалось, они даже не понимают, что мы им вообще показываем, но это всегда был спектакль, зрелище, причем с музыкальным сопровождением, чего некоторым и так довольно. Но, что ни говори, а зрители отзывались с воодушевлением и азартом. Они знали, когда нужно хлопать, и тратились на вино, что радовало владельца отеля. Но потом промышленники, подручные и любовницы уехали в другие места, и приглашений от владельца отеля не стало. И вот теперь, годы спустя, он вдруг ни с того ни с сего связался с нами и объявил, что грядет возрождение. Это прекрасно, и не скажу, что не рада была получить весточку от этого человека, но, по правде сказать, подозреваю, что мы катим в Фиасковилль. Ты знаешь, что такое фиаско?

— Думаю, да.

— Что ж, мы почти на месте.

Солнце опустилось еще ниже, и автобус закла-

дывал широкие, стремительные виражи, следуя очертаниям береговой линии.

— Ты слишком молод, чтобы ведать о меланхолии, сопровождающей возвращение в место, где когда-то ты процветал. Замечу, это совсем не так плохо, как кажется. Но, Боб, я делаю различие между меланхолией и печалью. Ты понимаешь, в чем разница?

— Нет.

— Меланхолия — это мечтательное отождествление времени с вором, и коренится меланхолия в воспоминаниях о минувшей любви и былом успехе. Печаль — явление более безнадежное. Печаль — это осознание того, что ты не получишь того, что жаждешь и, возможно, заслуживаешь, и вот она-то, печаль, коренится во влечении к смерти или, извини уж меня, им поощряется.

Ида вздрогнула и пошевелилась.

— Как тут уснешь, когда кто-то все время болтает? — вопросила она.

— Оно живет и дышит, — сказала Джун Бобу. — Оно ходит меж нас.

Тут Ида вполне пробудилась, выпрямила спину и огляделась по сторонам, будто запамятовала, в каком месте уснула.

— Где моя “Бэби Рут”? Я хочу шоколадку!

И Джун, поморщившись, набрала воздуху в легкие и обратилась к своей подруге:

— Я вот только сию минуту объясняла юному Бобу, что даже тем из нас, кто готов к меланхолии, следует иметь запас прочности на случай печали.

* * *

Автобус съехал на пятачок, отделявший шоссе от океана. Водитель заглушил двигатель, и Боб услышал, как бьется в стенки автобуса ветер, что дует с океанических вод, услышал, как мерно шуршит галькой отступающая волна.

Джун смотрела налево, в сторону от моря.

— Вот он, — сказала она.

Отель “Эльба” был выстроен в викторианском вкусе: закругленная черепица, вдоль фасада деревянная прогулочная галерея, над южным крылом башня с коническим верхом. Высилась башня в наклон, флюгер над ней согнулся в жесте как бы почтения или ласкового приветствия, и видно было, что башня, как и отель в целом, понемногу врастает в землю. Красивый отель, подумал Боб, но вид у него недокормленный. Хотя когда-то он, должно быть, казался величественным.

— Мэнсфилд! — возгласил водитель.

Изнутри автобуса Боб мог с высоты обозреть весь городок целиком: две дороги буквой “Т”, шоссе и улица, ведущая на восток, в темнеющий лес. Солнце еще не село, но витрины магазинов вдоль шоссе были уже закрыты, на сегодня или же навсегда. А на улице чуть дальше отеля Боб увидел кинотеатр и ресторан, оба открытые для посещения, но рядом ни единой души, которой вздумалось бы войти в тот или другой. Ни слова не говоря, Джун мрачно смотрела на это зрелище. В кабинке водителя над головой у него вспыхнул свет, и он сделал пометку в блокноте, который свисал с приборной панели.

— Мэнсфилд, — повторил он и открыл створчатую дверцу, впустив внутрь порыв ветра. Тот ворвался и пронесся по автобусу, ряд за рядом перебудоражив всех пассажиров и рассердив собак, зарычавших на невидимую напасть. Перья на шляпах Иды и Джун заплясали, заколыхались, когда те встали и принялись собираться.

Водитель, выйдя, прошел к задней части автобуса, где открыл багажное отделение и озаботился багажом. Заслышав глухой удар снаружи, Ида вытянула шею, чтобы глянуть в окно, и вскрикнула: “Он сломает гильотину, дурак!” Ида и Джун в панике кинулись по проходу; путаясь в ногах,

собачки бежали следом, а Боб следовал за собачками. Разрешения на присутствие в их рядах он не получил, но решился не отставать, пока ему ясней ясного не велят держаться подальше. Соскочив на землю, Боб встал поодаль, наблюдая за тем, как водитель выгружает багаж, в то время как дамы указывали ему на хрупкость той или иной вещи, попутно втолковывая, что именно он опять сделал не так. Багаж был сложен в высокую кучу, и Боб укрылся за ней.

Водитель не уходил, а, промокая лицо носовым платком, выжидающе поглядывал на пассажирок. Видно, надеялся, что они состоятельные чудачки и отблагодарят его непомерными чаевыми. Но время проходило в молчании, женщины не предложили водителю ни денежной премии, ни даже доброго слова, и поэтому он спрятал платок и, вернувшись в автобус, недовольно плюхнулся на свое место. Но уже через мгновение выпрямился, словно озаренный идеей; повернул ключ в замке зажигания и принялся подстегивать двигатель, включая-выключая первую передачу и одновременно нажимая на тормоз. Эти действия вызвали выхлопы в карбюраторе, и объемистым черным клубом из сопла вырвалась сажа, окутала собой женщин, которые раскашля-

лись и, отплевываясь, стали размахивать руками, чтобы отогнать гарь. Посигналив, водитель вырулил на шоссе; Джун, носовым платком стирая копоть с лица, сказала:

— Надо отдать ему должное, Ида. Этот человек своим инструментом владеет.

Ида стояла столбом, клокоча, и слова выговорить не могла — или же не желала. Тем временем из отеля “Эльба” показался однорукий мужчина, явно очень довольный, пересек шоссе и предстал перед Идой и Джун.

— Добрый вечер, милые дамы! — сказал он.

— А, мистер Мор, — отозвалась Джун, разглядывая свой носовой платок. — Ну, и что у вас нового?

— Только то, что я занимался своими делами за стойкой регистрации и совершенно случайно поднял голову как раз вовремя, чтобы увидеть, как вас двоих обдало отработанным газом. Только представьте себе мое удивление!

– *Очень* хорошо представляю, — отозвалась Джун. — Думаю, оно было сродни нашему собственному, разве что наше было куда неприятней.

— Вот уж правда, — и мистер Мор указал подбородком на то место, где минуту назад был

автобус. — И сдается мне, он сделал это нарочно, вы не находите?

— Нахожу.

— Но что же произошло, что ввергло водителя в пучину мести? Никогда не поверю, что ваш талант заводить друзей вас покинул!

— Нет, совсем не покинул. Но, надо признать, стал ненадежней. Или, может быть, избирательней. Дело в том, что стал уже круг тех, с кем мы сами готовы дружить. Впрочем, ваш талант тонкой наблюдательности по-прежнему очевиден.

— Да, и я за него держусь. Все надеюсь, что когда-нибудь он мне вдруг пригодится. Это ведь оружие против всех остальных, не так ли? — Он взмахнул невидимым мечом и, сделав воинственное лицо, рубанул воздух. Но меч сразу исчез, лицо опять подобрело, и он спросил: — А вот что вы скажете насчет тарелочки супа?

— Только не на шоссе, — ответила Джун.

Мистер Мор повернулся к Иде.

— Здравствуйте, Ида. — И, когда та не отозвалась, вопросил: — Ида что, умолкла совсем, да?

— Ей выдался очень нелегкий день, — сказала Джун.

— Как и всем нам.

— Ну, наш выдался тяжким на редкость, ми-

стер Мор.

— Утешьтесь, отважная Ида, этот день близок к концу. — Но Ида по-прежнему не снизошла до ответа. — Как вы полагаете, до начала репетиций заговорит? — обратился к Джун мистер Мор.

— Да раньше заговорит, или я ничего в жизни не понимаю, — пообещала Джун, обтирая лицо Иды своим носовым платком.

— Что-то я не припомню, как Ида относится к супу?

— Мы относимся к супу весьма одобрительно, мистер Мор, но далеко не в той степени, чтобы столь настойчиво его обсуждать. И то, что вы дважды упомянули о супе еще до того, как мы вошли в отель, не внушает мне оптимизма в отношении нашего здесь успеха.

— Да отчего ж?

— Оттого, что я знаю вас, мистер Мор. Раз уж вы так настойчиво предлагаете нам перекусить, то, скорее всего, кроме супа, вам предложить нечего. — Она указала на отель. — Почему у входа нет афиши, извещающей о намеченных представлениях?

Мистер Мор переступал с ноги на ногу, и на лице его проявилась тревога.

— Ну, теперь, в самом деле, я должен кое-что

вам сказать по этому поводу, Джун.

— Вы признаетесь нам, что афиши еще не напечатаны?

— Повторюсь: мне нужно кое-что вам сказать. Может быть, вы позволите мне начать?

Ида прокашлялась, прочистила горло и сплюнула на шоссе. Процедура была проведена с тем, чтобы привлечь внимание собеседников, и прошла удачно. Иду прорвало:

— Совершенно очевидно, что афиши вами не напечатаны, мистер Мор. Из чего следует, что интерес публики к спектаклям, начало которых запланировано на четвертый вечер, отсчитывая с текущего момента, чрезвычайно мал. Таким образом, вы нарушили наш контракт, экземпляр которого у меня при себе, мистер Мор. Следует ли мне его вам предъявить? Следует ли мне обратить ваше внимание на пункт касательно гонорара за заказанный, но неиспользованный продукт? Возможно, вы имеете в виду известить нас, что наши гастроли отменены. О, каким разочарованием это станет для нас! Мы, четыре живых души, вот уже несколько месяцев трудимся в наших арендованных комнатах, изобретаем, латаем дыры, лепим, ломаем и строим заново, несмотря на болезни, нерегулярное отопление и невыразимую

ситуацию с общественным туалетом, и поскольку суточных вы нам не предложили, мистер Мор, наши собственные сбережения постепенно истаивают. *Шоу должно продолжаться*, как говорят, и это высокие слова, это прекрасное, но сугубо теоретическое высказывание. И мы — труппа, не так ли, Джун?

— Да, мы — труппа.

— Так давай вспомним наше жалкое начало, когда мы скакали по доскам, стирая зады наших лоскутных шаровар, когда мы бегали, прыгали и распевали, все чтобы заработать горстку мелких монет, которые швыряла нам публика и которые отскакивали порой от наших физиономий, потому что именно туда, мистер Мор, норовил попасть добрый зритель, и за этими *пенни* мы жадно бросались, прямо посреди номера, потому что боялись, что монетка скатится со сцены обратно в зал, в руки этих животных, этих слабоумных самцов, вопящих, источающих грязными ртами вонь, которой нам приходилось дышать, и они же, эти животные, нас еще понукали! Не сочиняю ли я, Джун?

— Ни единым словом.

— Не привираю ли я? Нет?

— Все чистая правда.

— Мы были тогда юные девушки, мистер Мор. Мы даже женщинами еще не были, и путь унижений стал нашим путем в мир искусства, он длился годами, и годы прошли, прежде чем мы решились потребовать для себя большего, от мира потребовать, от наших зрителей и от самих себя, и мы порвали с прошлым и посвятили себя нашему истинному призванию, нашей настоящей работе, той, творцы которой мы сами. Она принесла нам негромкую, но заслуженную известность, и она не оборвалась, несмотря на войны, людские страдания, огрубение общества и культуры, влияние кинематографа… о, дорогой Боже, не заставляй меня начинать. И вот теперь, когда мы выполнили свою работу и прибыли сюда после долгого путешествия с новехоньким шоу: все новое, костюмы и декорации, все продумано до мелочей и изготовлено под нашим присмотром! — и от имени нас четверых и с хором муз в общем согласии я говорю, что это работа достойная. И что же, мистер Мор? Что предлагаете вы за наши труды? Суп?! Я правильно вас услышала?

На протяжении всего монолога Иды мистер Мор стоял в полуприседе и морщился, но теперь, когда Ида умолкла, он вытянулся во весь рост и перевел дух, по-своему привлекательный, с

аккуратно сложенным пустым рукавом, пришпиленным к нагруднику блестящей серебряной булавкой.

— Приветствую вас, Ида, — сказал он. — Я действительно предложил вам суп, да, и предложение остается в силе. Я сам приготовил его в ожидании вашего приезда, в надежде, что он согреет вам душу. Стоит ли говорить, хотя я и говорю, что приготовить суп одной рукой — это непросто. Я говорю это не для того, чтобы пожаловаться, а чтобы нарисовать всю картину. Помимо супа, которому, я согласен, внимания было уделено многовато, я также могу предложить вам проживание и питание на все время вашего пребывания. Если вы раздумали выступать, можете считать это бесплатным отдыхом на морском курорте. Но если выступать вы хотите, а я искренне надеюсь, что это так, и вы это осуществите, вы получите за свои выступления все, решительно все деньги, которые выступления принесут, а я сам не возьму себе ни единого пенни. Не могу гарантировать, что сумма будет значительной, и, хуже того, денег может не быть совсем. Этот город несколько лет дышал на ладан, а теперь скончался вконец. Да, город мертв. И вот я произношу эти слова и, кажется, вижу, как в ваших

глазах зарождается вопрос, а именно: если город мертв, то зачем же он вообще пригласил нас сюда приехать?

Обе женщины покивали, а Ида особенно энергично.

— Я вам объясню, — продолжил мистер Мор. — Приглашение я послал сразу после заседания городского совета, на котором было объявлено о возвращении лесозаготовительных компаний. Представители компаний присутствовали и хорошо себя показали. У них были карты, в которые они тыкали раздвижными указками, и они раздавали тисненые визитные карточки и карандаши с кисточкой на конце, так что их выдумкам я поверил. Вот оценочная ошибка, которую я признаю; мне сказали чудовищный вздор, а я принял его за правду. Ну, мне хотелось, чтобы вздор оказался правдой; в этом есть огромная притягательность. Я все еще думаю, что в тот момент это и было правдой; полагаю, представители компаний и впрямь верили, что возвращаются к нам. Но что-то произошло или же не произошло, в результате чего лесозаготовительные компании продолжают вести дела как вверх, так и вниз по течению, а Мэнсфилд снова и снова оказывается не у дел. Секретарши перестали взаимодейство-

вать со мной по телефону и почтой, и, убейте меня, я не понимаю, почему оно так вышло, и, скорее всего, уже никогда не пойму.

Из отеля вышла девушка лет шестнадцати, толкавшая перед собой ржавую ручную тележку. Лицо у нее было бледное, волосы сальные, и, неуклюже спуская тележку по выкрашенной в синий цвет лестнице, выглядела она несчастной или, может статься, сердитой. Было много грохота, треска и визга колес, которые предупредили мистера Мора о ее приближении; он просиял, завидев ее, и указал пальцем, когда она проскрипела мимо.

— Моя внучатая племянница Элис. Ее не было здесь, когда мы в последний раз виделись. Элис тоже в восторге насчет спектакля. Элис, ты ведь в восторге?

— Да, я в восторге, — сказала Элис тоном, чрезвычайно от восторга далеким.

Подойдя к горке багажа, она начала загружать тележку. Вот-вот она обнаружит спрятавшегося за горкой Боба, и ожидание этого показалось ему пыткой. Решившись обнаружение поторопить, он встал, Элис вскрикнула, а все остальные на ее вскрик обернулись.

— Вы только гляньте на это, затаившийся маль-

чик, кто бы подумал! — сказал мистер Мор.

— Это Боб! — сказала Джун.

— Он вам знаком?

— Да, это Боб. Привет, Боб. Я как раз думала о тебе, когда Ида вещала.

Боб приветственно помахал Джун.

— Вот как раз думала, ох, где же Боб? — пояснила Джун мистеру Мору.

— И теперь вы его нашли, разве это не славно? — ответствовал мистер Мор. — Но что он там делал, весь такой скрюченный?

— Он отчаянная личность в бегах, мистер Мор, мы можем лишь догадываться о его мотивах.

— А выглядит, на мой взгляд, совсем как обычный мальчик, — сказал мистер Мор. — Здравствуй-здравствуй!

— Здравствуйте, — сказал Боб.

— Ты любишь суп, Боб?

— Какой именно суп? — осведомился Боб, и мистер Мор, и Джун, и даже Ида, хотя и не Элис, рассмеялись над его невинным вопросом, и Боб не понял, в чем шутка, но был рад, что доставил им случай развлечься.

* * *

Мистер Мор хотел показать всем свежеуложенный, специально доставленный гравий мелким белым горошком, и потому группка ленивым облаком двинулась вокруг отеля. Мистер Мор рассказывал по дороге:

— Посыпать периметр гравием я затеял примерно тогда же, когда отправил вам то оптимистичное послание, в котором призвал вас вернуться. О затратах я сейчас сожалею, но мне все-таки нравится, как он хрустит под ногами. Разве этот хруст не создает впечатления, что надвигается драма? Разве не наводит на мысль о крепостном рве? — Вспомнив о затронутой ранее теме, он повернулся к Джун и сказал: — Да, что касается афиш. Позвольте мне покончить с этим и сказать: да, их нет. Но мне выпала роль невольной жертвы в этой афере, и вот что произошло: печатник повесился на следующий день после того, как я оформил заказ. Как вам такое? Томас Конрой его звали, и я знал его с 1905 года. Мы вместе учились в однокомнатной начальной школе в Астории. Однажды нас выпороли за то, что мы за обедней мычали, и вдруг он, пожалуйте, выкинул такой фортель. Он прикрепил письмо к входной двери

своей типографии, я видел его собственными глазами. В этом письме он трезво и, мне показалось, резонно обосновал то, что случилось.

— Он назвал причины, по которым повесился? — спросила Ида.

— Да.

— И в чем они состояли?

— В усталости.

— Всего-то?

— Ну, давайте скажем, в остро выраженной усталости.

— Съездил бы в отпуск, что ли, — предложила Джун.

— Да, и мне бы хотелось, чтоб съездил, — хотя б для того, чтобы выполнить потом мой заказ. Печатник он был квалифицированный, в округе нет никого, кем можно его заменить. — Мистер Мор сделал паузу. — И знаете, если хорошенько подумать, он и в детстве не отличался веселостью.

— Типа “ой, горе мне”? — спросила Ида.

— Не скажу с уверенностью, взращивал он в себе это или нет. Но горький урожай, так или иначе, был собран, и в этом году он, во всей своей полноте, похоже, выдался неподъемным.

— Выглядел он удрученным, когда вы размещали заказ?

— Он выглядел, как всегда, не слишком довольным жизнью. Но чтобы удручен? Нет, я бы так не сказал. Он попросил пять долларов аванса, чего раньше не делал, и я дал их ему наличными, и никто не ответит мне, зачем он их попросил, и как не задаться вопросом: знал ли он, что сделает примерно через восемнадцать часов? И если да, то зачем вообще он принял мой заказ, не говоря уже о моих деньгах, которые у меня не лишние и которых не получить обратно? В постскриптуме к своему письму он высказал пожелание, чтобы его опубликовали дословно в нашей местной газете, и я сам довел это до сведения редактора, но тот не допустил публикации, страдая, как это водится, тяжким католицизмом.

Покончив с обходом отеля и ввиду того, что близилась ночь, а пронизывающий ветер с моря усиливался, Джун высказалась в том смысле, что пришло время укрыться от непогоды. Мистер Мор согласился; проворно поднявшись по синим ступенькам, он повернулся лицом к группе и, перед тем как впустить их в гостиницу, воспользовался своим временно возвышенным положением, чтобы произнести небольшую речь:

— Друзья, — сказал он, — я вижу, что вы разочарованы тем, как обстоят дела, и понимаю

ваше разочарование, очень хорошо понимаю, поскольку привычен с данным чувством существовать; при всем этом ваш приезд придает мне сил, и я сделаю все, что смогу, дабы обеспечить ваш успех. Я обшил сцену доской красного дуба толщиной в три четверти дюйма и подключил к огням рампы реостат, а занавес вычищен, заштопан и выкрашен заново. Помимо этого, я просто вне себя от счастья при мысли о том, что ознакомлюсь с вашей новой работой. Итак, я целиком и полностью в вашем распоряжении; и, хотя возможности мои ограничены, сделайте милость иметь в виду, что преданность моя вашему делу границ не имеет.

Джун приятно было это услышать, но зарыть топор войны она была еще не готова, и потому изо всех сил постаралась свое удовольствие подавить. Правда заключалась в том, что мистер Мор нравился ей в мере беспрецедентной, при ее-то жизни и опыте.

— Ну и отлично, спасибо, — сказала она ему. — О спектакле мы сможем потолковать после этого вашего супа, мы его уже заждались. Сразу приметесь просить роль в постановке или отложите на потом?

— О, конечно же, сразу, — уверенно сказал

мистер Мор, придерживая входную дверь ногой и взмахом руки приглашая внутрь гостя за гостем. Пропуская мимо себя Боба, мистер Мор ему пояснил: — Я всегда рвусь принять участие в их спектаклях, и всегда они мне отказывают. Это одна из наших традиций. Но в двурукой моей юности я не избежал знакомства со сценой.

Он последовал за Бобом, и теперь вся группа остановилась в оранжерее, предшествовавшей собственно вестибюлю и сплошь заросшей самыми огромными и необузданно тропическими растениями, какие только можно вообразить. Температура и влажность были отрегулированы в соответствии с потребностями и предпочтениями растений, так что те разрослись в благоприятной среде и более чем процветали. В самом деле, они заполонили собой все замкнутое пространство; некоторые чудовища вытянулись выше семи футов, а лианы ползли прямо по потолку. На Боба это зрелище произвело очень сильное впечатление, а на Иду и Джун — не очень. Они стояли одна подле другой и невозмутимо осматривались, в то время как мистер Мор пристально следил за тем, как они держатся, в надежде расшифровать, что у них на уме.

— Что случилось с оранжереей? — спросила

наконец Ида.

— Все дело в мистере Уитселле.

— И кто у нас мистер Уитселл?

— Мистер Уитселл — это мистер Уитселл. Наш единственный постоянный жилец. Всю свою трудовую жизнь он работал страховым агентом в Северной Дакоте, с восемнадцати лет и пока не вышел на пенсию в шестьдесят пять, после чего решил проехаться на запад, сделать автобусное турне по Тихоокеанскому побережью. Но путешествие автобусом по вкусу ему не пришлось, и как-то утром он приехал сюда с выражением в глазах, которое я распознал как сигнал SOS. Я сжалился над вымотанной в дороге душой и предоставил ему один из наших лучших номеров, запросив разумную цену. Это случилось несколько лет назад, и с тех пор он здесь. Сколько я смог понять, игра в страхование была ему небезынтересна, и у него имелась к ней склонность, но в глубине души он всегда верил, что есть у него и второе призвание, которое он не развил, а именно выращивание растений в теплицах. Он рассказал мне об этом весной прошлого года, и я, чувствуя сердечную склонность к этому человеку, попытался ему помочь, предоставив пространство, в котором он смог бы воплотить

свои цели. В моих-то глазах оранжерея всегда была бременем и обузой. Это нечто само по себе, но зачем оно *тут*?

— Никак не могу согласиться с вами, мистер Мор, — сказала Джун. — Я находила это место совершенно обворожительным. — И пояснила Бобу: — Раньше в этой комнате вдоль стен стояли шезлонги. И в сумерках мы с Идой и мальчиками укладывали на них наши усталые тельца и любовались исходом дня.

— И даже иногда исход торопили, — подтвердила Ида.

— Закаты были очень эффектны, и вид их ложился бальзамом на душу, изъязвленную множеством оскорблений, полученных человеком за день, — сказала Джун. — А теперь едва разглядишь хотя бы полосочку горизонта.

Мистер Мор, огорченный критическим характером высказывания, только открывал и закрывал рот, как рыба, которую вынули из воды. Джун положила руку ему на плечо.

— Успокойтесь же. Я вполне отдаю должное тому, как это место преобразилось; но это весьма радикальные перемены, и здесь дьявольски жарко, вы не находите?

Мистер Мор не сказал, согласен он с этим или

нет; он только признал, что пришло время покинуть оранжерею, и через дребезжащую, мокрую от пара стеклянную дверь в шесть филенок провел своих гостей в вестибюль. Боб, однако, не последовал за ним, задержался, так как что-то в дальнем углу оранжереи задело его внимание, и он почувствовал, что обязан остаться.

Казалось, кто-то прячется в зелени, прячется, но поглядывает на Боба. Да, несомненно, там был мужчина, и, несомненно, он прятался, и тогда Боб сказал: “Простите?” — и мужчина вышел и показался: невысокий пожилой джентльмен с белыми, аккуратно зачесанными волосами, в наряде из отглаженных брюк, крахмальной рубашки с закатанными рукавами, вязаного галстука ярко-зеленого цвета и безукоризненно белого фартука. В одной руке он держал изящную жестяную лейку, а в другой — сверкающую серебром лопатку, и в целом это был самый чистоплотный садовник, которого можно себе представить.

Боб догадался, что это мистер Уитселл, и, подумав, что садовник, чего доброго, уязвлен тем, как неосторожно отозвались об оранжерее Ида и Джун, сказал: “Мне нравятся растения”. Джентльмен прижал лопатку плоской стороной

к сердцу и поклонился, а затем снова укрылся среди доисторических листьев. Не зная, что ему еще сделать или сказать в ответ на поведение этого человека, Боб покинул оранжерею и прикрыл за собой дверь.

Вестибюль, отделанный темным мореным деревом, был тускло освещен лампами в абажурах. Никаких признаков присутствия мистера Мора, Иды, Джун или собак тут не было, но за стойкой администратора виднелась половинного размера дверца, распахнутая настежь, и за ней, как показалось Бобу, слышались голоса. Он нырнул под стойку и приблизился к дверце; узнав голос Джун, почувствовал себя смелее и вошел в дверцу, а потом узким коридором, по изношенной ковровой дорожке проследовал навстречу все более внятному шуму продолжающихся дебатов.

Вступив в столовую, он увидел, что мистер Мор, Джун и Ида сидят за столом, а перед ними тарелки с дымящимся супом. Ида сосредоточенно ела, в то время как Джун слушала или притворялась, что слушает историю, которую исполнял для нее мистер Мор. Увидев Боба, она просияла и указала на пустующее место рядом с собой, а затем на тарелку супа, которая его дожидалась. Боб, учуяв запах вареной говядины, понял, что страшно

проголодался, подошел, уселся и принялся есть и слушать этих немолчно, немолчно беседующих людей.

* * *

Но вот суп был съеден, и наступило время вдумчивой тишины, которая часто случается под конец сытной трапезы и которую мистер Мор в конце-то концов прервал, осведомившись у Джун и имея в виду Боба:

— Ну, и что теперь с беглецом?

— А что с ним? — отозвалась Джун.

— Что нам с ним делать? Мне показалось, вам хочется, чтобы мы предоставили ему кров.

— Я бы предложила, чтобы мы приютили его, да.

— Вы ручаетесь за него?

— Ручаюсь.

— А как же шериф? Думаю, он не останется равнодушным.

— А шериф пусть удавится на завязках своей ковбойской шляпы.

— Легко такое сказать, когда здесь нет шерифа.

— Да я выкрикну это средь бела дня прямо на ступеньках у мэрии.

— Легко такое сказать, когда здесь нет мэрии.

— Ладно, — сказала Джун. — Вы спросили меня, что я думаю, и теперь вы знаете что. Я считаю, что Боб — отличный парень, и я голосую за то, чтобы мы приняли его в свой круг.

Мистер Мор, подумав недолго, сказал:

— Я на грани того, чтобы согласиться и предоставить ему убежище, но у меня есть условие, которое заключается в следующем: если мальчика поймают и мне мое укрывательство обернется тем, что шериф вырастет у меня в дверях, я должен иметь возможность сказать, что сделал это под влиянием впечатления, что мальчику уже исполнилось семнадцать, и что я понятия не имел, что он в конфликте с законом.

— Вы можете сказать все, что найдете нужным, мистер Мор, — рассудила Джун.

— Да, но вы с Идой обе должны поддержать меня как свидетельницы того, что я был введен в заблуждение.

— Ну разумеется, мистер Мор, это более чем справедливо, — сказала Джун. — А тебя это устраивает, Боб?

— Да, — сказал тот.

— Будь добр, скажи мистеру Мору, что тебе уже есть семнадцать.

— Мне семнадцать, — сказал Боб мистеру Мо-

ру.

— Вот видите! — сказала мистеру Мору Джун. — Вам даже и лгать не нужно!

— А вы, Ида? — спросил мистер Мор. — Вы с этим согласны?

Ида не сказала “да”, но не сказала и “нет”, что для нее было почти то же, что “да”. Тогда мистер Мор обратился к Джун:

— Кто будет оплачивать номер беглеца?

— У тебя есть деньги, Боб? — спросила Джун Боба.

— Да.

— Это четыре доллара за ночь, — строго уведомил мистер Мор.

Боб вытащил свой сверточек из глубин носка и отсчитал четыре потертых бумажки. Он хотел отдать их мистеру Мору, но тот попросил Боба оставить денежки на столе.

— Пусть отдышатся немного, — пояснил мистер Мор Джун. Он встал, вышел из комнаты и вернулся с двумя ключами. — Боб, ты поселишься на втором этаже, через коридор от мистера Уитселла, который, полагаю, ахнет от радости, что у него есть сосед и, скорее всего, представится тебе при первой возможности. Дорогие мои стойкие дамы, вы будете жить в башне, где вам так нравилось в

прежние времена.

— Спасибо, мистер Мор. — Джун, приняв ключ, повертела его и рассмотрела с вопрошающим видом. — Могу я осведомиться о состоянии башни? Верней, могу я высказать замечание на ее счет?

— Да, что такое?

— Это правда, в прошлом мы приятно проводили там время. Но за годы нашего отсутствия, мистер Мор, башня состарилась так, что того гляди в любой миг рухнет. И хотя мне известно, что смерть приходит за всеми и что именно присутствие этой великой уравнительницы окрашивает наши дни трагическим поэтизмом, я отнюдь не уверена, что готова скончаться вот прямо немедля, не говоря уж о том, что ни малейшего желания не испытываю погибнуть в состоянии ужаса.

Мистер Мор сидел и слушал ее с сочувствием, но не сказал ничего, что могло бы утешить Джун.

— Выдержит ли нас башня, мистер Мор? — спросила она.

— Полагаю, что да.

— Ах, вы полагаете?

— Ну, я буду весьма удивлен, если башня рухнет на этой неделе.

— Будете весьма!

— Именно.

— Однако давайте внесем ясность: вы признаете, что в какой-то момент она рухнет?

— О да, это неизбежно, рухнет, как и все здание в целом. И все-таки, даже имея это в виду, я считаю, что башня лучше всего подходит для ваших нужд, поскольку это самое большое и элегантно оформленное помещение из всех, которые у нас есть. Вы вольны поселиться в любом незанятом номере, но подозреваю, что, если вы осмотрите весь отель до последнего его уголка, вы придете к такому же выводу.

— Значит, по-вашему, нам следует пойти туда поскорей, скрестив пальцы на удачу.

— На мой взгляд, скрещивать пальцы не обязательно, Джун, но, если это вас успокоит, скрестите их на здоровье и так крепко, как пожелаете.

Группа разделилась и разошлась по своим комнатам.

Боб поднялся лестницей на второй этаж; по мере того как он следовал по коридору, наклон здания становился все заметней, так что скорость его росла с каждым шагом. Его комната была последней справа, ничем не примечательной, нетопленной, темной, даже слегка обшарпанной; но Бобу она очень понравилась, потому что

это была комната и она принадлежала ему, по крайней мере, на время. Он постоял, торжествуя и в честь того, что у него есть где поселиться, а потом приступил к обследованию, открыв и закрыв каждый ящик в тумбочке и комоде, ища что-нибудь, но ничего не найдя, даже Библии. Затем он разложил оставшуюся наличность в ряд на покрывале, насчитав семнадцать однодолларовых купюр, что означало, что у него есть три или четыре дня, прежде чем возникнет по-настоящему критический момент. В целом он чувствовал себя тертым калачом и бывалым скитальцем, когда вошла, стукнув разок в дверь, девушка по имени Элис. Она остановилась, освещенная светом из коридора, и, прищурясь, чтобы вглядеться, сказала:

— Чем это вы занимаетесь в темноте, мистер Проныра? Надеюсь, не собираетесь выскочить и снова перепугать меня. — Щелкнув выключателем, она зажгла свет и подошла к Бобу. Бросила взгляд на деньги, обхватила себя руками: — Господи, как же здесь холодно! Что ж ты отопление не включил? — Опустилась на колени и повернула кран радиатора, а поднявшись, шлепнулась на кровать так, что долларовые купюры встопорщились из-под нее своими скрученными краями.

И теперь, взявшись сворачивать сигарету, заявила: — Так, давай разберемся. Ты, значит, стоишь тут в темноте и холоде и пересчитываешь свои пять долларов?

— Это семнадцать долларов, — поправил Боб.

— Хо-хо, — отозвалась Элис. Зажгла свою бугристую сигаретку и помахала рукой, разгоняя дым. Боб увидел, что она накрасила губы, а сальные волосы подхватила сзади заколкой, усыпанной цветными стекляшками. Словно в ответ на то, что Боб это отметил, она сказала:

— У меня не так много времени, чтобы с тобой болтать, потому что мы с Томми идем в кино.

— Кто это, Томми? — спросил Боб.

— Томми — это парень, который говорит, что мы можем быть вместе, если я посмотрю с ним фильм на балконе. Думаю, это уловка, но потом еще думаю, а почему бы и нет. Похоже на план?

— Вполне, — сказал Боб.

Элис затянулась сигаретой, откинув голову и поймав волосами яркий отсвет голой лампочки, свисающей с потолка. Оглядела Боба с ног до головы и сообщила:

— Дядя сказал, что я должна быть с тобой милой.

— Да? — сказал Боб.

Элис покачала головой.

— Это я спрашиваю, с чего он это сказал? С тобой что-то не так?

— Не знаю, — сказал Боб.

— Ты не знаешь, так с тобой что-то или не так?

— Все со мной так.

— Ну, вот что я тебе скажу, мистер Проныра. Я буду с тобой милой, если ты хочешь, чтобы я была с тобой милой. Но ты должен это произнести, чтобы я знала, ты меня понял?

— Понял, — сказал Боб.

— Так скажи.

— Будь со мной милой.

На этом Элис, поднявшись с кровати, легонько чмокнула Боба в щеку и вышла из комнаты.

Боб постоял, трогая пальцем то место, куда пришелся поцелуй, и потом проверил еще свое отражение в зеркале, польщенно обнаружив на щеке чуть заметный след губной помады.

Боб собрал свои деньги и спрятал их в ботинок. Под уличной одеждой на нем так и была все еще пижама; он снял уличную одежду, выключил свет и забрался в постель. На тумбочке у кровати стояло портативное радио, и он несколько минут слушал военные новости; когда это надоело, он выключил радио и попытался уснуть, но луна,

почти полная, светила ярко, как уличный фонарь в окне, и Боб встал с кровати, чтобы опустить штору. Глянув наружу, он увидел Элис, та стояла перед кинотеатром через дорогу. Она была одна и в свете козырька над входом казалась совсем маленькой. Она оглядела улицу, раз и другой. Развернулась, купила билет и сама по себе вошла в кинотеатр.

* * *

Утром Боб был разбужен стуком в дверь, и за дверью снова была Элис, но теперь не игривая девчонка, как давеча ночью, а тот самый угрюмый работник, который нашел его спрятавшимся за горой багажа.

— Завтракать будешь? Если да, с тебя пятьдесят центов. — Она держала руку под подбородком, как будто хотела поймать собственную слюну. — Это овсянка и кофе. Сливок нет, вышли.

Боб не любил овсянку и не употреблял кофе.

— А можно яичницу?

— Нет, у нас яиц нет. Если хочешь яичницу, тебе нужно в закусочную. Туда и пошли как раз твои *интересные друзья*.

— Когда?

— Только что.

Боб сказал, что тоже пойдет в закусочную, и Элис ушла. Он быстро оделся и вышел из своей комнаты. Мистер Уитселл сидел в кресле в конце коридора, положив руки на колени, ботинки стояли чуть в стороне от его ступней, одетых в носки. Как зачарованный, он смотрел на льющийся в окно свет, но ожил, приметив Боба.

— Доброе утро! Ты уходишь уже? С какой целью?

Боб сказал, что идет в закусочную, и мистер Уитселл спросил:

— Не любишь овсянку? Ну, между нами, жителями второго этажа, я и сам ее не очень люблю. Мистер Мор прекрасно готовит, но разнообразием он не балует. Представь, сам я ни разу не был в этой закусочной за все время, что тут живу. И знаешь почему? Я тебе скажу: потому что боюсь. Боюсь людей! Каково? Видел когда-нибудь такое? — Сам себе поражаясь, он закатил глаза, а потом достал из жилетного кармана десятицентовую монету и попросил: — Будь другом, принеси мне сегодняшнюю газету и сигару за пять центов. И то, и другое можно купить в закусочной.

Боб согласился, что так он и сделает, и, получив монету, развернулся и рванул по коридору к лестнице, мимо стойки администратора, через

оранжерею и в яркое утро, тихое и безоблачное. При виде океана, который в дневном свете занимал большую часть окоема и выглядел дружелюбным, ленивым и бесконечным, у Боба сбилось дыхание. Он постоял, посмотрел, а потом пошел прочь от берега, вдоль дороги к закусочной.

Джун и Ида сидели в кабинке у окна, по собачке на коленях у каждой, и Джун махнула Бобу, чтобы он к ним примкнул.

— Я тут думала, стоит нам тебя будить или нет, — сказала она. — Ида решила, что нет. Ты хорошо выспался? Номер удобный? Мистер Мор не самый распорядительный из владельцев отелей, но дух у него самый благородный, и это, в конце концов, чего-то да стоит.

— Расскажи ему про свой сон, Джун, — сказала Ида.

— Стоит ли? — усомнилась Джун. — Нет, не стоит.

Ида сказала Бобу:

— Ей приснилось, что на тебя напали бродяги.

Джун хмуро посмотрела на Иду.

— Знаешь, Боб, — сказала она, — я всячески поддерживаю твой прожект. Но мне не по себе при мысли о том, что юное создание вроде тебя

может оказаться одно-одинешенько в этом мире. Потому что тут порой бывает очень непросто.

— То и дело слышишь про то, как бродяги растлевают детей, — сказала Ида.

— Ида, Ида! — остановила ее Джун.

— Что “Ида”? Слухи ведь ходят. Остережен — значит вооружен.

Джун похлопала Боба по руке.

— Никто тебя не растлит, Боб.

— Но если растлят, — вступила Ида, — не говори, что мы тебя не предупреждали.

— В любом случае, сон был неприятный, и я долго потом не могла заснуть, и теперь Ида сердится на меня, потому что я не давала ей спать, а все о тебе говорила.

— Снова, снова и снова, — кивнула Ида.

— Мы обсуждали тебя, Боб. Мы действительно подробно тебя обсуждали, и хочешь знать, к чему мы пришли? А вот к чему: мы подумали, не найдем ли тебе меж нас места. Ну, ты меня понимаешь. Это я про работу, Боб.

— Но на время, — добавила Ида.

— Но в своем роде это будет важная должность, — сказала Джун.

— Но бесплатно, — сказала Ида.

— Как же бесплатно? Без какой-то оплаты

нельзя.

— Я-то считала, что платой будет стол и дом.

— А на что же тогда мальчику покупать всякие стеклянные шарики, и агатики, и что там еще? Вот что я предлагаю: мы обеспечиваем жилье и питание и выдаем юному работнику целый доллар в начале каждого дня.

— Чудесно, Джун, но кто заплатит нам, чтобы мы заплатили ему?

— Доллар — это всего лишь сто пенни, Ида. Я верю, мы справимся. Ну, Боб, что ты на это скажешь?

— Да, — сказал Боб.

— "Да" — то есть ты согласен с нами работать?

— Да.

— Так, теперь ты, Ида.

— Что?

— Все ли тебя устраивает и согласна ли ты с тем, что, как подсказывает мне мое внутреннее чутье, Боб не просто какой-то прохожий бездельник, а один из нас?

Ида одарила Боба долгим и пристальным взглядом.

— Вообще-то, — сказала она, — я, по сути, согласна. Вы приняты, если вам этого хочется, молодой человек, и да будет к вам Господь милосерден.

При этих словах Джун и Боб пожали друг другу руки, и Ида застучала по столу пустой кофейной чашкой, отмечая и празднуя принятие Боба. Почти сразу подошла официантка, молодая жизнерадостного облика женщина:

— Да?

— Что “да”, дорогая? — спросила ее Джун.

— Разве вы стучите не для меня?

— Нет, не для вас. Просто стучим, и все.

— А, — сказала официантка.

— Выделяем момент во времени, — пояснила Ида.

— Ну, тогда, я думаю, все в порядке, — сказала официантка и ушла, а Ида сказала Бобу:

— Этот сценарий приводит на ум другой вопрос, а именно: умеешь ли ты играть на малом барабане с жильной струной?

— Нет.

— А был у тебя хоть какой-то опыт работы с музыкальными инструментами?

Боб покачал головой, а Джун сказала:

— Возможно, разумней поставить вопрос не о том, умеешь ты то или это, а скорее о том, располагаешь ли ты склонностью к приобретению знаний, чтобы пройти обучение и стать докой в этом и том?

— Располагаешь ли ты склонностью к тому, чтобы пройти инструктаж и стать докой в том, как губной помадой подмазать собаке рот, когда собака против этого возражает? — уточнила Ида.

— Да, — сказал Боб.

Ида снова принялась стучать по столу чашкой, на этот раз с тем, чтобы подозвать официантку, но официантка, которую только что научили, что стук не для нее, подходить не спешила. Тем не менее, поскольку стук продолжался, она в конце концов объявилась, и Ида объяснила, что да, на этот раз шум означал вызов.

— Этот стук по столу для меня в новинку, — сказала официантка.

— Коммуникативная перкуссия предшествует письменному слову на тысячи лет, — сообщила ей Джун.

— Ну, тогда я вас слушаю.

Официантка поднесла карандаш к блокноту и приготовилась принять заказ. Джун, прищурившись на меню, спросила:

— Что такое “мясная стружка”?

— Ох, и не рассказать, — вздохнула официантка.

— Может, попробуете? — поощрила ее Джун.

— Ладно, — сказала официантка. — Ну, это,

знаете ли, говядина. Мясо коровы.

Джун сложила ладони домиком.

— Его сушат и вялят, — продолжала официантка, — а потом мелко рубят, потом обжаривают в масле, потом солят, а потом поливают чем-то похожим на кетчуп, потом ставят под лампу, чтобы оно согрелось и как бы размягчилось. Ну и вот.

— И получается стружка?

— Верно, — сказала официантка. — Закажете?

— Неет, — отказалась Джун и, обратившись к сотрапезникам, пояснила: — Название "мясная стружка", на мой взгляд, вызывает в воображении блюдо с мясом, из которого торчат щепки.

— В нашем мясе нет щепок! — воскликнула официантка.

— Вот фраза, вселяющая уверенность, — сказала Ида. — Вам следует написать ее на фирменном спичечном коробке.

Джун все еще щурилась на меню.

— Я буду… бургер "лесоруб".

— "Лесоруб" или маленький "лесорубик"? — уточнила официантка.

— "Лесоруб".

Боб тоже заказал "лесоруб". Ида попросила принести домашний сыр и чашку кофе. Джун, вскинув руку, вмешалась:

— Нет, Ида. Этого мало. Закажи еще что-нибудь. Да, ты должна. — И повернулась к Бобу: — Она мухлюет за завтраком и думает, что кого-то дурачит, Господа нашего на небесах, что ли, я уж не знаю. Но потом, часов этак в одиннадцать, сатанеет, потому что у нее в желудке шаром покати, и она несчастна. — Джун собрала все меню в стопку и протянула их официантке. — Моя подруга тоже возьмет “лесоруб”, спасибо.

— “Лесорубик”! — сказала Ида, и официантка ушла.

Вскоре их обслужили, все поели досыта и с удовольствием. Джун спросила Боба, не хочет ли он вздремнуть после всей этой патоки, и Боб сказал, что не хочет.

— Значит, ты готов приступить к трудам прямо сейчас?

— Да.

— Ладно, вот что я думаю. Мы сейчас с Идой пойдем в гостиницу, нам надо поразмыслить насчет прогона. В некоторых сценах наши мальчики актерами не представлены, и мы слишком хорошо знаем, как они могут докучать, когда им нечего делать, и особенно, когда мы готовим сцену. Значит, ты, пока мы этим займемся, покажешь мальчикам город, идет? Да?

Принесли счет, Джун заплатила за всех и еще дала Бобу доллар. Когда официантка вернулась со сдачей, Боб выложил свою десятицентовую монетку на стол и попросил газету и сигару, и официантка посмотрела на Джун, которая посмотрела на Иду, которая, посмотрев на Боба, усмехнулась:

— Стеклянные шарики и агатики, вот уж да.

Позже, выйдя на улицу, Джун, Ида и Боб постояли перед закусочной с собачками, уже пристегнутыми к поводкам. Джун, сообщив Бобу, что зовут их Малыш и Дружок, сказала:

— Я только надеюсь, что ты отдаешь себе отчет в том, как нам с Идой дороги эти создания. Они не домашние питомцы. Они вся совокупность нашей жизни, что выше наших отношений друг с другом, с самими собой и с нашей работой.

— Ну, это все вместе, — объяснила Ида. — Но без них оно не может существовать.

— Именно, — согласилась Джун и обратилась к Бобу: — Ты будешь внимательным и разумным?

И Боб сказал, что да, будет, а Джун сказала Иде:

— Боб понимает.

Боб принял у них поводки, и женщины направились в сторону океана, к отелю. Как только они

завернули за угол, собачки посмотрели на Боба. Непохоже было, чтобы они огорчились; возможно, им было любопытно, что дальше. Боб потянул за поводки, и они с собачками перешли дорогу и остановились перед входом в типографию повесившегося печатника. Предсмертное письмо еще висело на двери, странный и пугающий документ, который Боб прочитал полностью. Его поразило, до чего трезво и уравновешенно рассуждал автор, если иметь в виду, что вскоре после того он оборвал свою жизнь.

“Друзья-сограждане”, так оно начиналось. Далее следовало что-то вроде биографических данных: где он родился, в какой школе учился, какую церковь посещал и как стал работать по своей специальности. “В профессии я нашел утешение и немало отгадок, — писал он, — но не все отгадки нашел, и не на всё утешение. В особенности, я так и не смог найти ответ на вопрос «почему»; и если человек не может ответить на этот вопрос, не будет ему непреходящего утешения”.

Рядом с типографией был кинотеатр, сейчас темный, билетная касса у входа пустовала. Дальше шло почтовое отделение. Это было очень маленькое почтовое отделение с одним-един-

ственным служащим, который с пасмурным видом сидел за стойкой, как бы гадая, куда подевалось все волшебство. Посетитель вышел оттуда как раз в тот момент, когда Боб шел мимо, так что они столкнулись, и мужчина придержал Боба за плечо и сказал ему: “Осторожней, сынок”. Роста он был такого, что закрыл собой солнце; Боб, взглянув вверх, увидел у него поясной ремень с пистолетом и значок и понял, что это шериф. Боб опустил голову, чтобы не выдать в себе беглеца, охваченного чувством вины, потянул собак и нырнул в магазин на углу, сразу за почтой.

Боб боялся, что шериф каким-то нюхом учует, что столкнулся с преступником, последует за ним в магазин и задержит его, но черно-белый патрульный автомобиль медленно прокатил мимо и вырулил на шоссе, направляясь на юг. Боб перевел дух и принялся разглядывать, чем в магазине торгуют. Это оказалось такое место, где стремятся насытить все мыслимые потребности местного населения: свежая оленина, соединительные кабели, ткань на ярды и червяк на наживку, бери — не хочу. Проходы были узкие, забиты товаром в тюках.

За прилавком в раздумчивой позе сидел молодой человек лет двадцати, с волосами, зачесан-

ными назад, в белой футболке с закатанными до самых плеч рукавами, чтобы все рассмотрели, какая скульптурная у него мускулатура. Он читал журнал, разложенный на прилавке, и глаза его мотались слева направо. Одна из собак на него зарычала, и молодой человек поднял голову.

— Ну-ка выведи отсюда этих дворняг! — Он указал на дверь и вернулся к журналу.

Боб, выйдя, сел на скамейку перед магазином, погреться на солнышке, послушать шум волн, ощутить кожей морской ветерок. Собачкам передалась безмятежность Боба, они калачиками улеглись рядом. Боб, оглядев южное крыло отеля, заметил в своем окне Элис, которая неторопливо расхаживала по номеру. Она то появлялась, то исчезала из виду, втолковывая что-то самой себе, волоча следом хвост дыма и мелкими жестами поясняя, что имеет в виду. Вроде бы расстроена она не была, но что ей там делать? Боб встал со скамейки, и с собачками перейдя дорогу, поднял белую горошину гравия и бросил ее в окно. Элис открыла на стук, опершись на локти, высунулась наружу, затянулась сигаретой и выговорила:

— Чего тебе?

— Что ты делаешь в моей комнате?

— Работу свою.

— Но ты просто разгуливаешь, и все.

Элис щелчком отбросила сигарету; та, пролетев над головой Боба, приземлилась на дорогу позади него.

— Слушай, мистер Проныра, — сказала она. — Это не так просто, сразу так взяться и вымыть пол. Надо сначала как-то на это настроиться, понял?

Теперь открылось окно, соседнее с окном Боба, и в нем возник мистер Уитселл. Сильно щурясь на солнце, он повевал-помахивал своей бледной рукой.

— Вы что, про меня позабыли, молодой человек? — спросил он. — Вы забыли про мою просьбу?

Боб сказал, что нет, не забыл, и похлопал себя по карману, показывая, что газета и сигара у него при себе. Мистер Уитселл спросил:

— И когда вы мыслите мне их передать? Новости могут утратить свою свежесть, вот чего я боюсь. — Он высунулся из своего окна, чтобы увидеть Элис, которая высунулась из своего, чтобы увидеть его. — Мне нравится тепленькая, только что вылупившаяся газета, — сказал он, а затем повернулся назад к Бобу. — Как насчет рандеву в оранжерее?

— Хорошо, — сказал Боб. — Сейчас?

— Да.

Боб, однако, не двинулся с места, и мистер Уитселл решил уточнить:

— Прямо сейчас-сейчас?

— Да.

Мистер Уитселл убрал голову назад в комнату, закрыл окно и задернул шторы.

Боб вернул свое внимание к Элис, которая стояла теперь прямей, чем раньше, и лицо у нее было словно пристукнутое, и смотрела она выше того места, где стоял Боб. Обернувшись, он увидел того самого парня в футболке, который, прислонясь к кирпичной стене магазина, с хладнокровным видом курил и поглядывал на нее снизу вверх. Они оба дышали ртом и взирали друг на друга с чем-то, напоминавшим враждебность, но, как потом уже, много позже, рассудил Боб, скорей всего, то была обыкновенная похоть. Впрочем, что бы там ни происходило между этими двумя, Боб понимал, что ему в этом уравнении места нет. Потянув за собой собак, он обогнул отель по рву с гравием, вышел к лесенке и поднялся по пяти синим ступенькам.

Мистер Уитселл ждал его в оранжерее, сияя глазами и отдуваясь после спуска со второго этажа. Он забрал у Боба газету и сигару и ушел

куда-то в дальний конец помещения, совершенно скрывшись за пышной листвой. Вскоре Боб услышал ритмичный скрип половиц и подумал, что, должно быть, у мистера Уитселла припрятано там кресло-качалка.

* * *

Репетиция проходила в так называемом зрительном зале, а на деле просто в столовой, откуда убрали столы, а стулья рядами расставили перед сценой, пристроенной к дальней стене. Тихонько введя собак, Боб занял место в заднем ряду, думая подглядеть за Идой и Джун и получить какое-то представление о том, что у них за спектакль.

Сцена освещалась софитами. Теплое золотистое сияние окутывало живописный фон, реалистично изображавший городскую площадь в восемнадцатом веке. В центре сцены высилась гильотина в натуральную величину, у ее основания на коленях стояла Ида, в колодках и загримированная под немытого и павшего духом преступника, которого вот-вот казнят. Джун, в островерхом черном кожаном капюшоне, кожаном жилете и кожаных же перчатках до локтя, изображала палача. Боб, изучающе понаблюдав за тем, что они говорят и делают, в конце концов

понял, что ничего они не репетируют, а прервались, чтобы ссориться. Ида, из двоих сильнее разгневанная, возмущалась:

— Как я могу представлять эмоциональное состояние преступника, если даже не знаю, какое преступление он совершил?

— Еще раз тебе говорю, ты слишком много об этом думаешь, — отвечала ей Джун, запустив руку под свой кожаный капюшон, чтобы почесать подбородок. — Это неважно ничуть, в чем оно, преступление. Правда, Ида, неважно, и, в некотором смысле, в том-то и состоит суть. Твой персонаж, на мой взгляд, отнюдь не закоренелый преступник; он, скорей, человек, которому должны снести голову в ответ на то, что он по мелочи преступил закон.

— Но как именно он его преступил?

— Это не имеет значения.

— Нет, имеет.

— Дело в том, что никакое правонарушение не должно приводить к снесению головы, поскольку оно всего лишь правонарушение. Смысл сцены в том, как дорого стоили человеку его ошибки в эпоху дикости.

— И сейчас такая же дикость.

— Да, но по-новому.

— Что не менее дико, Джун.

— Хорошо, ладно, я же не говорю, что не согласна с тобой. Но к делу это не относится, так же, как и преступление твоего персонажа.

— То есть ты вообще не знаешь, что он там натворил, так что ли? — сказала Ида.

— По правде сказать, да, не знаю. В преступление я не вникла, потому что не до него.

— А могу я придумать, в чем преступление?

— Нет, не можешь.

— Ну, тогда я придумаю про себя, а с тобой делиться не стану.

— Ида, слишком поздно уже сегодня, чтобы пойти на поводу у твоего безумия.

Ида покачала пальцем, указывая, что не отступит от своей принципиальной позиции:

— Препятствуя этому начинанию, ты намеренно снижаешь качество нашей работы.

— Хорошо! — сказала Джун и продырявила воздух своими черными крагами. — Я назову преступление. Но ты должна пообещать мне сейчас же, немедленно, что у безумия на поводу не пойдешь. Ты уже поддаешься, ты и сама знаешь, что это так, и я требую, чтобы ты пообещала мне, что не поддашься совсем.

— Обещаю, положа руку на сердце, — невинно

молвила Ида.

— Потому что я вижу, как в тебе просыпается безумие, и обязана настоять, чтобы ты не дала ему вырваться вон.

— Да, да, ладно, — покивала Ида. — Так в чем же мое преступление?

— Дай подумать. — Джун расхаживала по сцене, скрипя своим кожаным одеянием. — Ты много лет не платишь земельный налог.

Ида сделала задумчивое лицо.

— Ну, нет.

— Ты дала пощечину судебному приставу в таверне, — предложила Джун.

— Ну… — сказала Ида. — Я что, напилась?

— Да, и прилично.

— Но я не обычная пьяница?

— Нет, ты получила дурное известие, кто-то умер, и потому ты пошла в таверну, залить горе вином.

— Умер мой сынок.

— Утонул, — уточнила Джун.

— Утонул на пристани, а ведь он был мой единственный мальчик.

Заслышав последнее слово, Малыш издал положенный рык, и Дружок рык подхватил сразу, так что Джун с Идой свернули свой диалог и

вгляделись в темноту зала. Джун прикрыла глаза рукой в перчатке.

— Это не Боб ли там, и не с нашими ли он детками?

— Да, — выкликнул Боб.

— Как все прошло, Боб? Живы ли наши товарищи, и не перепуганы ли они, и хорошо ли себя вели, и все ли довольны обществом друг друга?

— Да, — выкликнул Боб.

Обе собачки скулили и рвались с поводков, и Джун сказала: “Ты можешь отпустить их, Боб”. Боб сделал, как было велено, и собачки сорвались с места. Дружок лидировал; он устремился к сцене, одним прыжком на нее вскочил, а затем взмыл вверх и оказался в объятиях Джун, в то время как Малыш поднялся по ступенькам сбоку от сцены, подбежал к Иде и облизал ей лицо. Скованная колодками Ида, не в силах это остановить, беспомощно встряхнула ладонями и вскричала отчаянно, что эх, пропал ее грим.

* * *

Гильотину выкатили за кулисы, Джун отправилась репетировать с собаками в башню, а Боб и Ида остались на сцене. Они сидели на стульях лицом к лицу, и Ида учила Боба играть на малом

барабане.

У нее был истовый почти до ужаса взгляд, когда, стремительно набирая звук, она исполняла вид барабанной дроби, который назвала “рокот-гул”. Барабан лежал у нее на коленях, и палочками, держа их под странным углом, она прохаживалась по барабану, ударяя то ближе к себе, то дальше, снова и снова, равномерно, как автомат. Этот прием она освоила так, что звук состоял не из множества отдельных ударов, а сливался в нечто цельное, односоставное, в плотный, непрерывный, тревожный шум. Пристально глядя Бобу прямо в глаза, Ида, не переставая стучать, говорила:

— Палочки я не зажимаю, они свободно ходят в руках. Я не луплю, я не колочу. Я бью равномерно, вприпрыжку пускаю палочки по поверхности барабана. Рокот, гул, рокот, гул. — Палочки в воздухе выглядели размытым пятном. — Что это за звук? — спросила она, продолжая его издавать. — О чем он говорит?

— Внимание! — сказал Боб.

— Что еще?

— Что-то сейчас случится.

Ида резко оборвала бой с видом довольным или же недовольным меньше обычного.

— На любом языке, Боб, в любом городе по всей земле, именно об этом говорит дробь “рокот-гул”, да. Это важный сигнал и критический момент последней сцены нашего выступления. Я бы хотела, чтобы ты взял барабан в свою комнату и попрактиковался в том, что я тебе показала. У нас есть граммофонная запись этой дроби, которую в крайнем случае мы можем пустить в ход, но мы всегда предпочитаем живой человеческий звук. Ты понимаешь, о чем я?

— Не уверен.

— Я о том, что если ты сумеешь достичь некоторого уровня мастерства в этом виде дроби, то мы попросим тебя участвовать в нашем спектакле.

Она протянула барабан и палочки Бобу, и он устроил их у себя на коленях, осваиваясь с формой, материалом и весом.

Джун вернулась с собаками. На лице ее читалось крушение.

— Идея была прекрасная, и ты знаешь, как я такое ценю, — сказала она Иде, — но, прости, никак невозможно обучить собак гусиному шагу.

На вторую половину дня Боба освободили от его служебных обязанностей, он принес барабан в свою комнату и уселся с ним на кровать. Вспомнив, как Ида сказала, что палочки нужно

держать, не зажимая, он пришел к мысли, что требуется эффект отскока; это сила тяготения в действии, барабанщик сотрудничает с законом природы. Вскоре он добился монотонного рокота правой рукой, но не левой. Час прошел незаметно, когда раздался стук в дверь и вошел мистер Уитселл, который, начав было с того, какая после полудня установилась погода, вскоре признался, что барабанная дробь Боба действует ему на нервы.

— И даже немного злит, — сказал он. — Я из-за этой дроби одновременно нервничаю и злюсь, и я рад тому, что ты добиваешься совершенства, но сделай милость, пожалей хилого и капризного старика!

С барабаном и палочками Боб спустился по лестнице и, перейдя шоссе, вышел к берегу моря; там он сел и потренировался. Отлично было побарабанить под ровный рев волн, потому что сам Боб свою дробь слышал, но звук не распространялся и никому не мешал. Время от времени он переставал барабанить, и тогда ему начинало покалывать ладони и руки выше, до плеч, но, когда он снова принимался стучать, покалывание исчезало или куда-то пряталось, поглощенное физическим упражнением так же, как поглощало

звук барабана море.

* * *

Боб, Ида, Джун и собаки пошли поужинать в закусочную, но она оказалась на замке. К входной двери была приклеена записка:

“Закусочная закрыта, потому что повар сбежал. Мы не знаем, куда. А вы? Заведующий”.

Поскольку больше идти было некуда, группа вернулась в отель; когда мистер Мор увидел, как они входят, уныло волоча ноги, и когда он узнал, что их не покормили, он радостно взволновался и предложил устроить импровизированный званый ужин в их с Элис квартирке. Ида запротестовала, что предпочла бы поесть у себя в комнате, но мистер Мор, не слыша ее или делая вид, что не слышит, сказал, что никаких возражений не принимает, звякнул звонком, призывая Элис, и распорядился принести вина, а затем разыскать мистера Уитселла и пригласить его примкнуть к празднеству. “Дружелюбно, но твердо”, — крикнул он вслед, когда Элис повлеклась вверх по лестнице.

Затем мистер Мор, уподобясь погонщику скота, повел всех в столовую, где предложил Иде и Джун красного вина: бутылки были уже открыты,

чтобы вино подышало. Сам же он удалился на кухню, где начал греметь кастрюлями, пускать воду, напевать, похваливать себя и увещевать.

Элис вернулась без мистера Уитселла и принялась накрывать на стол. Боб поднял на нее глаза, когда она выложила перед ним салфетку и столовые приборы: она подпихнула его бедром и дернула за ухо. Эта фамильярность не ускользнула от Иды и Джун, и обе просвистели что-то вроде мелодической гаммы, отметив таким образом новизну того, что между Бобом и Элис установлена некая связь. Мистер Мор крикнул из кухни:

— Что там мистер Уитселл, а, Элис?

— Он просил передать, что пока не уверен. Просил передать, что хочет это обдумать.

Очевидно, обдумав, мистер Уитселл вскоре явился в облаке одеколона и с выражением восторга на маленьком, мягком, округлом лице. Он обошел стол, всех по очереди приветствуя поклоном и прикосновением к плечу, а усаживаясь, сказал:

— Ну, я никак этого не предвидел!

— Мы надеемся, что не слишком вас взбаламутили, — сказала Джун.

— Взбаламутили? Дорогая моя, конечно же, взбаламутили. Огорошили! Я мирно готовился ко

сну, и вдруг юная Элис стучится ко мне в дверь. Как гром среди ясного неба! Подумать только, приглашение ко столу! Ну, если вы настаиваете, то я должен его принять. — Развернув салфетку, он уложил ее себе на колени. — Но о чем мы будем беседовать? Никогда не знаешь, с чего начать разговор — и, если на то пошло, чем закончить.

— Давайте о чем-нибудь незначительном, но приятном, — предложила Джун.

— Или совсем помолчим, — сказала Ида.

— Как монахи, да? — сказал мистер Уитселл. — Что ж, запевалы вы, я последую вашему примеру.

Вскоре мистер Мор, держа буханку хлеба под мышкой, внес дымящуюся миску спагетти. Масло отсутствовало, а хлеб выпечен несколько дней назад, но еда отвечала потребностям и была с охотой поглощена.

Боб переваривал съеденное, когда заметил на стене над столом плакат в рамке. На плакате была фотография мистера Мора в полный рост, а в том месте, где положено быть руке, располагался текст в форме руки, который гласил: “Мор — больше моря!” В нижней части плаката более спокойным шрифтом значился призыв: “В день выборов — руку помощи! Выбери Лесли Мора в

городской совет!”

Заметив интерес Боба, мистер Мор развернулся на стуле и ткнул вилкой в плакат.

— Да, Боб, было дело, я когда-то баловался политикой. Не жалею о потраченном времени и деньгах, но для меня это был урок, причем урок горький. Говорите, коррупция? Я думал, что знаю своих соседей. Но нет же, я их совсем не знал.

Элис, как всегда монотонно, сказала:

— Он получил девять голосов.

— Ну, им хотелось, чтобы мы в это поверили, — подчеркнул мистер Мор.

— Девять голосов, — повторила Элис.

— Это была глупость — сверху донизу, из края в край и насквозь в самую сердцевину. Вы бы видели, кому я проиграл, о боже. Этот тип не был обременен ни человеческим достоинством, ни даже достоинством животного; лишенный стыда, угрызений совести и милосердия, он одержал уверенную победу.

Джун улыбалась в ладонь, Ида также не выглядела равнодушной.

— Чем вы объясняете свое поражение, мистер Мор? — спросила она.

— Добро пожаловать в темную ночь моей души, Ида. Это вопрос, который я не могу задать себе

прямо: мне нужно подойти к нему сбоку и ступая легчайше. Может статься, сама идея занять общественный пост была напрасной, но я всегда жил с ощущением, знаете ли, что предназначен для чего-то большего, чем быть владельцем отеля.

— А что плохого в том, чтобы быть владельцем отеля? — осведомился мистер Уитселл.

— Ничего нет плохого. Но разве я не способен на что-то более ответственное, требующее отдачи всех сил?

— Это не редкость, — сказала ему Джун. — Да почти каждый, кто идет мимо, мучается вопросом, почему он сделал в жизни меньше, чем мог.

— Но, Джун, тут речь не о банальном разочаровании.

— Все-таки, смею думать, о нем.

Мистер Уитселл сказал мистеру Мору:

— Я голосовал за вас.

Мистер Мор осторожно отложил вилку.

— О, я гадал, так ли это, — сказал он. — И надеялся, что за меня. Но скажите же правду, вы сделали это из чувства долга или из-за того, что поддерживали мою политическую платформу?

— Честно — из чувства долга.

Судя по лицу мистера Мора, это был не тот ответ, который он надеялся услышать.

— А что, — сказал он, — что, если дело в том, что вы чувствовали себя обязанным, в то же время разделяя мою платформу?

— Но я знать не знал, какая у вас платформа, — сказал мистер Уитселл.

— Как, разве вы не прочли буклеты, которые я приносил в вашу комнату?

— Мне стыдно, но нет, не прочел. Хотя уверен, чтение было захватывающее. Если б мог, я бы проголосовал за вас дважды.

— Тогда у него было бы десять голосов, — сказала Элис.

Ида, которая последнее время присматривалась к мистеру Уитселлу, теперь обратилась к нему:

— Мистер Уитселл, могу я задать вам вопрос?

— О да, пожалуйста, задавайте, — сказал он и откинулся на спинку стула, готовясь к тому, что его спросят неизвестно о чем.

— Просто мне любопытно, почему вы живете здесь, в отеле, так долго?

— Даже не знаю, правда. А почему б мне не жить?

— У вас нет других планов?

— Нет.

— Может быть, они были, когда вы сюда прие-

хали, но потом вы их отложили?

Он обдумал это предположение.

— Не думаю, что отложил, нет, — сказал он.

— Значит, вы просто ехали мимо и вас выбросило на берег?

— Ну, не могу сказать, что я в восторге от вашего выбора выражений, но ладно, подыграю и расколюсь, потому что в самом деле именно так оно и произошло. В пути я сделал остановку передохнуть и не смог двинуться дальше, и поэтому меня выбросило, как мусор, да еще и на берег моря к тому ж. Да, такой приключился курьез. Выйдя на пенсию, я придумал покинуть Северную Дакоту и автобусом прокатиться по всей Америке. В путешествие я отправился с воодушевлением, но к тому времени, как добрался до Орегона, прошло почти пять недель, и мне достало времени осознать, что ничего, решительно ничего нет такого, что способно примирить меня с жизнью на борту этой колымаги. Вопреки тому, что наобещала реклама, я не “обогащался жизненным опытом” и не “видел страну”. Я попался в ловушку, в ситуацию унизительную, из которой единственным выходом был побег. Но куда? За пределом Дакот у меня не было ни друзей, ни родственников, и я вовсе не горел желанием вернуться домой. Шли

дни, я сидел, глядя в немытое окно, словно какой-нибудь заключенный, который обрыскивает камеру в поисках щели, которую удастся расковырять, — и тогда ты вырвешься на свободу.

— Был августовский полдень, когда автобус остановился в Мэнсфилде. Я вышел размять затекшую спину, поднял глаза и на крыльце этого отеля увидел мистера Мора. Он помахал мне, я помахал в ответ. “Есть ли свободные номера?” — спросил я, и он ответил: “Еще бы, не сомневайтесь, вот уж что есть, то есть”. Я спросил, сколько в день, и он сказал, что так близко к задаром, что я не поверю. Тут он перешел дорогу, и мы познакомились. Он спросил, как у меня настроение, я в двух словах объяснил, чем недоволен, и тогда он спросил, не сходить ли ему забрать мою сумку из багажного отделения, и я дал разрешение, и он сходил и забрал, и вот так оно все началось. Сколько прошло, три года уже? Четыре? И пока никаких планов уехать, кроме как в домовине. И с чего бы мне уезжать? По-моему, отель — чудесное место. Накатывает, конечно, порой этакое ощущение выжидания, которое бывает гнетущим, но оно, скорее всего, не свойство этого места, а особенность некоторого этапа собственной жизни. Конец эры, знаете ли. — И,

словно обращаясь к себе, добавил: — Нет, я не хочу уезжать отсюда. Надеюсь, и не придется.

Он допил свое вино, встал, поблагодарил собравшихся и, сославшись на утомление, с непривычки вызванное непредвиденным, но чрезвычайно приятным ужином в отличной компании, удалился.

Вослед ему Элис спросила, нельзя ли ей тоже уйти, поскольку она договорилась с подругой сходить в кино. Мистер Мор сказал, что для молодой леди важно держать свое слово, но поинтересовался, в должной ли мере она в последние дни отдыхала. Элис возразила на это, что молодым отдых почти что совсем не нужен, и привела мнение врача, которого слышала по радио, что лишение сна, в разумных пределах, способствует восстановлению сил. Мистер Мор сказал, что на веру он такого не примет, но в целом гибкий ум Элис его восхищает; она поблагодарила его и ушла.

Ида спросила мистера Мора, как насчет кофе, поскольку они с Джун намерены репетировать до поздней ночи, и мистер Мор, выразив полную готовность, ушел на кухню и вскоре вернулся с кофейником и чашками на подносе. Он налил одну чашку, затем другую, а Джун и Ида наблюдали

за ним с явной симпатией.

— Как случилось, что вы потеряли руку, мистер Мор? — спросила Ида.

— В Первую мировую войну, Ида, — ответил он, передавая ей кофе. — Но вам ведь это известно, не так ли?

— Должно быть известно, и все же я не могу не думать об этом. Каково это, потерять руку.

— Да, тяжко, — сказал мистер Мор.

— Могу я спросить, это была ваша рабочая рука? — вступила в разговор Джун.

— В любом случае, неплохая. Думаю, суть в том, что стоит им отнять тебе руку, как ты не можешь уже не думать о ней иначе, чем как о лучшей руке в мире.

— Как вы думаете, куда они ее дели? — спросила Ида.

— Не знаю. Зарыли, надо полагать, в какой-нибудь яме. И не думаю, что мне хотелось бы ее возвернуть. Что бы я с ней делал? Укачивал, как дитя? Пеленал? — Он изобразил лицом смешливое подозрение. — Слушайте, я надеюсь, наш разговор не скатится к пацифизму?

— Я и пацифизм?! — Ида откинулась на спинку стула. — Честно, мистер Мор, как вы могли такое подумать? Будто не знаете, какая ярость бурлит

во мне!

Мистер Мор покачал головой:

— Сдается мне, вы мудрите, милая Ида.

— Насчет мудрости спорить не стану, — сказала она.

— А что вы думаете о наших текущих тревогах, мистер Мор? — спросила Джун.

— О каких именно тревогах ведете вы речь?

— О Второй мировой войне.

— Я думаю, что стоять в холодной тени флага любой страны — небезопасное дело, вот что я думаю. — Мистер Мор принялся собирать грязные тарелки. — А теперь, почему бы вам не забрать кофе с собой и не приступить к репетициям?

— Можно мы вам поможем с посудой? — спросила Ида.

— Нет, нельзя.

— Вы уверены? — сказала Джун. — Мы правда рады помочь.

— Нет, нет. У вас своей работы хватает, и, по чести сказать, я вступил в тот период жизни, когда посуду мыть в радость, причем в одиночку. Не удивительно ли, если учесть, с какой страстью я ненавидел это занятие раньше; но в последнее время стал находить, что это отличный способ провести время. Что бы это могло означать?

Боб почти что заснул сидя; мистер Мор под столом легонько наступил ему на ногу и сказал:

— Когда-нибудь, Боб, когда ты станешь таким же умудренным летами, как я сейчас, и вдруг обнаружишь, что тебе в радость складывать выстиранное белье или стричь газон, вспомни, что твой давно ушедший друг Лесли Мор завещал тебе принимать всякое счастье, что встретится на твоем пути, в любом виде и в любой форме.

— Ладно, — сказал Боб.

— Потому что дурак тот, кто противится своему счастью, тогда как мудрец радуется любому, что есть, раз уж оно объявилось.

— Ладно, — сказал Боб.

* * *

На следующий день Боб снова пошел на пляж, чтобы потренироваться в дроби. Первое выступление по расписанию должно было начаться через тридцать шесть часов; помня об этом, Боб постарался найти место, где мог бы достукаться до того, чтобы ударный эффект давался ему без усилий.

Полтора часа миновало; он сделал паузу на передышку, смотрел на море и думал думы, наплывающие, когда смотришь на море. Почудилось,

что ветер донес до него его имя. Обернувшись, он увидел, что в окне покосившейся башни торчит Ида; лицо у нее было зеленое, как пюре из шпината, и она махала ему, чтобы он шел к ним в номер. Боб поднял барабан над головой, и она кивнула, что барабан нужен тоже.

Перейдя шоссе, он по лестнице поднялся на башню. Ида открыла дверь, и оказалось, что она в полном и достоверном обличии ведьмы: островерхая шляпа, развевающиеся лохмотья, накладной нос крючком и огромный выпяченный вперед подбородок, а зубы вычернены, и она сказала:

— Доброе утро, Боб. Заходи.

Войдя, Боб увидел, что вся комната завалена одеждой, костюмами, предметами реквизита, плакатами и перетяжками. Собаки шастали по этому развалу, обнюхивая все, что попалось им на пути; они тоже были наряжены ведьмами. Джун сидела на неубранной кровати с телефонной трубкой в руке, и вот она-то была ведьмой только наполовину: лицо в том же зеленом гриме, но без носа и подбородка, и в шляпе на голове, но без лохмотьев.

— Как жизнь на старой планетке Земля, Боб? — осведомилась она, но не успел он ответить, как

она произнесла в телефонную трубку: — Оператор? Да, доброе утро. Могу я спросить вас, как называется местная газета? — Подождала. — Их тут две, — сообщила она Иде, которая не слушала, занимаясь тем, что в настенное зеркало корчила злобные рожи. — Какая из двух понарядней? — спросила Джун телефонистку. — Ну, вы знаете: больше, лучше, сильнее. Которую из них больше читают, вот как, видимо, лучше спросить. Ага, вот и отлично. Будьте добры, соедините меня с редакцией. Благослови вас Господь. — Ожидая соединения, она наблюдала за Идой, погрузившейся в свое отражение. — Ида сама себя заморочила, — сказала Джун Бобу и снова заговорила в трубку: — Да, здравствуйте, я хотела бы поговорить с репортером, который освещает жизнь искусств в регионе. О, ну, движущееся искусство. Говорящее искусство. Поющее тоже бывает, иногда. У нас, кроме того, собаки, которые умеют множество хитрых штук. В общем, мы все это забрасываем в котел и рассчитываем на лучшее.

Между тем Джун глядела на Боба, который стоял там с барабаном в руках; прикрыв трубку, она прошептала:

— Ида, оторвись.

— Что? — Ида отвела взгляд от зеркала.

Джун мотнула головой на Боба и сразу затем сняла ладонь с трубки и произнесла в нее:

— Мне кажется, любой из репортеров годится. Но могу ли я попросить вас об одолжении, как женщина женщину? Соедините меня с тем из этих ублюдков, который слегка получше, идет?

Джун вытянула перед собой трубку: телефонистка хохотала так мощно, что слышно было в другом конце комнаты. Ида отвела Боба в ванную и закрыла за ними дверь.

— Ты практиковался?

— Да.

— Покажешь?

Опустив сиденье унитаза, она жестом предложила Бобу сесть, что он и сделал, уложив барабан на колени и взявши наизготовку палочки. Ида кивнула, Боб чуть склонился вперед и начал. В последние дни он столько минут и часов провел, стуча в барабан, что сейчас, снова вернувшись к этому, неким неуловимым образом ощутил знакомость происходящего, словно воссоздавал нечто, что уже было. Но в этот раз неразбериха со временем сбила ему координацию, и “ропот-гул” стал разваливаться на куски.

— Остановись, — сказала Ида. Боб остановился

и уставился на нее. — Давай еще раз. — Он начал снова, сосредоточившись изо всех сил; Ида подняла руку, и Боб перестал стучать, а она сказала: — Я вижу, какая в тебе борьба.

— Спасибо, — сказал Боб, и Ида покачала головой.

— Это не комплимент. Мне нужно думать только о звуке, который барабан издает, а не об эмоциональном состоянии барабанщика. Ты меня понимаешь? Твои проблемы меня не касаются. Держи их при себе, спрячь поглубже. Сделай вдох и попробуй еще разок.

Боб попробовал еще раз и играл хорошо, но краем глаза заметил, что Ида отвлечена, тянется головой в сторону закрытой двери, и через некоторое время она подняла руку и снова сказала:

— Стоп.

Боб остановился.

— Ты звала? — спросила она через дверь.

— Да, причем не один раз, — отозвалась Джун.

— Хорошо, и в чем дело?

— Я просто не могла не отметить, до чего своевременно вы устроили этот тренировочный бой.

Ида устало посмотрела на Боба.

— Мы что, помешали твоим переговорам?

— Ну, не думаю, что вы им помогли. — Джун

сделала паузу. — Угодно ли тебе знать, как прошла моя кампания по привлечению средств массовой информации?

— Угодно.

— Она прошла хорошо, несмотря на барабанную дробь Боба. Не то чтобы в этом был виноват Боб. Боб, слышишь? Это не твоя вина. Это вина Иды.

— Слышу, — выкликнул Боб.

Последовало молчание, а затем Джун сказала:

— Что ж, начну-ка я печатать наши афишки.

— Ну, спасибо, что так упорно держишь нас в курсе своих дел. — Ида, покачав головой, переключила внимание на Боба. — Чего я добиваюсь, — сказала она ему, — так это десяти секунд чистой игры в среднем регистре. Вдохни-выдохни, глубоко, два раза, и повтори попытку.

Боб подышал и выдал Иде двадцать секунд ровной, уверенной дроби. Она подняла руку, и Боб остановился.

— Отлично, — сказала она. — Как ты думаешь, сможешь ты повторить такое в присутствии зрителей? Ты будешь за сценой, за кулисами, но, знаешь ли, присутствие зрителей очень всегда чувствуется и может смутить. Подозреваю, что их будет немного, но часто небольшая аудито-

рия еще заметней, еще значимей. Именно этого напряжения так недостает кинематографу, и именно по этой причине я ненавижу его так сильно, так рьяно, так…

Тут из соседней комнаты донеслись два необычных звука, один сразу после другого: первым был лязг и скрежет металла о металл; затем послышался лай собак, от которых Боб прежде лая не слышал, но теперь оба песика, отзываясь на лязг и скрежет, тявкали громко и самозабвенно. Ида и Боб, выйдя из ванной, увидели, что Джун крутит ручку маленькой печатной машинки, установленной на комоде, в воздухе порхают зигзагом, вылетая из машинки, голубые рекламные листовки, собаки скачут, захлебываются лаем и в целом полны эмоций, в то время как листовки, плавно снижаясь, ложатся на их тельца и на их черные островерхие шляпы. Перекрывая шум печатной машинки и лай собак, Джун крикнула Бобу:

— Только это способно вызвать у них такой порыв страсти.

Боб поднял с пола афишку:

ЧИСЛО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО!

ТРИУМФАЛЬНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ

ЛЮБИМЫХ ВЕТЕРАНОВ СЦЕНЫ!

ДЖУН И ИДА
И ИХ ДРЕССИРОВАННЫЕ СОБАКИ,
МАЛЫШ И ДРУЖОК,
ПОРАДУЮТ
ВАС ЖИВЫМ И НЕВЕРОЯТНО ТОЧНЫМ АНАЛИЗОМ
НАШЕЙ НЕПРОСТОЙ СИТУАЦИИ!

ДЖУН И ИДА ИСТОЛКУЮТ ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ РЕЗОННО, ЛАКОНИЧНО И ИРОНИЧНО!

Ида взяла у Боба рекламный листок и прочла его.

— Тут есть намек на озорство и коварство, — признала она, а Джун все крутила ручку, и афишки кружились и падали, и собаки скакали и лаяли, а из прохудившегося реквизитного котла истекал якобы пар, испускаемый сухим льдом, сочился и кривым путем вился через комнату к открытому окну, в котором, заметил Боб, по прибрежной дороге тянулась на юг автомобильная колонна Нацгвардии.

* * *

Выдав Бобу его ежедневный доллар и пачку афишек, его послали прогуляться с собаками по городу, всем встречным подряд раздавать листовки, и вообще, насколько возможно это в рамках, как выразилась Ида, его склонной обособляться личности, всячески заманивать публику, побуждая людей прийти на предстоящее представление.

Перед уходом его попросили раздеть собак и привести их в порядок. Он заметил, что, напротив, такой собачий наряд не может не возбудить любопытства, что Ида и Джун признали верным и мудрым, и потому Дружок и Малыш всю прогулку пробегали в своих ведьмовских одежках.

Выйдя на крыльцо отеля, Боб увидел вторую колонну, которая, как и первая, двигалась по шоссе туда же, на юг; каждый из крытых грузовиков был плотно набит нацгвардейцами с мрачными лицами, а меж колен у них торчали винтовки. Человек пятьдесят горожан, выстроившись вдоль обочин, смотрели, как продвигается караван, и махали солдатам.

Шериф стоял у патрульного автомобиля, припаркованного перед магазином, через дорогу от

отеля. Когда караван проехал, шериф квакнул клаксоном и заговорил в микрофон, который был подключен к громкоговорителю, установленному на крыше машины.

— Мне нужно кое-что вам сказать, — произнес он, и все, кто там был, мужчины и женщины, подошли и встали вокруг.

Боб ввинтился в толпу, следуя за другими. Все как-то сразу заговорили, и тогда шериф снял шляпу и помахал ею над головой. Когда толпа угомонилась, шериф шляпу надел и заговорил в микрофон.

— Леди и джентльмены, доброго вам дня, здравствуйте. Как вы, наверно, и сами поняли, в Бэй-Сити у нас горячая обстановка, и вам лучше избегать этого места, пока оно там не остынет. Не знаю, надолго ль затянется, но сегодня положение шаткое, так что разумней сидеть спокойно, не дергаться и дожидаться, когда поступят, как говорится, дальнейшие указания. Не думаю, что тут среди нас так уж много тех, кому охота поучаствовать в беспорядках; о чем я думаю, чего я надеюсь избежать и о чем прошу вас, соседи, так это о том, чтобы вы пресекали любое желание поехать туда, чтобы поглазеть и поболтаться вокруг. Как вы думаете, можете вы такое для

меня сделать?

— Да что же там происходит, шериф? — выкрикнул кто-то.

— Несколько разных процессов, которые тянутся уже не один месяц, — сказал шериф. — На холмах над Бэй-Сити разбиты два лагеря лесорубов, по паре сотен человек в каждом, и они там, в общем-то, варятся в своем соку, и нет никого вокруг, кто поддерживал бы закон и порядок. В плане ночной жизни Бэй-Сити мало что может предложить, парням негде выпустить пар, и они слегка развинтились. Началось с того, что они стали устраивать розыгрыши, понимаете? Шутки шутить, один лагерь против другого, и вроде бы ничего страшного. Но время шло, шутки сделались совсем не смешными, и, как вы, возможно, слышали, вчера в одном из лагерей произошел случай с участием какой-то тяжелой техники. Даже больше на саботаж похоже, из-за которого, какие уж тут шутки, один человек погиб и еще один сломал спину. У обоих парней жены и дети, и, в общем, все это дело вызвало взрыв недовольства. Плюс ко всему продолжаются дрязги из-за контрактов на лесозаготовки и насчет прав собственности, то есть насчет того, кому выпадет вырубить этот гигантский ельник, что за зем-

лей Густафсона. Конечно, это больше касается начальства, чем людей на местах, но, как мне сказали, переговоры были проведены с самой махровой бесчестностью, и уж этот сорт яда имеет свойство стекать вниз, верно я говорю? Верно. Сегодня ночью, так или иначе, дело решится. В любом случае. Разведданные, которыми мы располагаем, подсказывают, что сегодня лесорубы планируют стычку в центре города.

— По радио сказали, шериф, что будет бунт, — выкрикнул другой голос.

— Да, я тоже это слышал, — кивнул шериф. — И не удивлюсь, ежели так и будет. Но и не удивлюсь, ежели этого не произойдет. Пока мы тут разговариваем, до Бэй-Сити уже добрались восемь или девять грузовиков с солдатами, у которых наготове оружие. Лесорубы хотят неприятностей — они их получат.

— И что же вы думаете, шериф?

— О чем я что думаю, Тед?

— Как, по-вашему, все пройдет?

— Честно скажу, не знаю, приятель, потому что мой хрустальный шарик сломался. Надеюсь только, что лесорубам расхочется убивать друг друга, когда они увидят, что солдаты в них целятся. Но они варились в этих лагерях так долго, что

случиться может все что угодно. Может, решатся поставить на кон все. Время от времени мужикам нравится взять да и все поджечь. Я вот, например, с таким сталкивался.

— Вы сегодня вечером будете в Бэй-Сити, да, шериф?

— Да, Чарли, как раз сейчас туда и поеду.

— Помощники не нужны?

— Все жены принялись покачивать головами, — сказал шериф, и окружающие его похлопали ему и посмеялись. — Мудрые женщины. Нет, благодарю, но сегодня мне помощь не надобна. Давайте-ка вы займетесь своими делами, а я позабочусь об остальном, идет? Просто дозвольте мне делать свою работу, ту, за которую вы мне платите. По радио вам все распишут и растолкуют, и ежели лесорубы разбуянятся, как наметили, вы, скорее всего, увидите кое-что из своих окон.

В толпе поднялся шум дружеского одобрения, и шериф помахал рукой, прежде чем снова взяться за микрофон:

— Да, и вот еще что: перестаньте названивать мне домой! Супруга уже в бутылку лезет!

Шериф стал усаживаться в машину, намереваясь уехать, но его остановили те, кому хотелось еще немного пообсуждать заварушку в Бэй-Сити.

Народ не расходился, обсуждая кто с кем, что бы это все значило и куда оно приведет; Боб воспользовался людской толчеей, чтобы распространить афишки. Дружок с Малышом вызвали в толпе оживление, что слегка притормозило раздачу.

После, когда люди разошлись, он с собаками обошел кругом крошечный городок. Закусочная оказалась открыта, официантка болтала с вереницей мужчин у стойки бара.

Вернувшись в отель, Боб застал Джун и Иду в зрительном зале, они готовили сцену к очередной репетиции. Ида была на сцене с котлом, Джун стояла в среднем проходе между стульями. Обе снова были в обычной одежде.

— Левей, — скомандовала Джун, и Ида сдвинула котел влево от себя. — От меня левей, — поправила ее Джун. Ида, вздохнув, переставила котел в другую сторону. — Еще, — сказала Джун, и Ида подвинула котел еще левее от Джун.

— Хорошо, отметь место.

Ида опустилась на колени, чтобы по дну очертить мелом контур, а Джун повернулась лицом к Бобу.

— А вот и наш раздавала. Эй, а где же афишки?

— Я их раздал.

— Неужто все? — удивилась Джун, и Боб по-

ведал про толпу и про то, что шериф рассказал о Бэй-Сити.

Вошел мистер Мор с кофейником и треугольными сэндвичами на подносе.

— Перекус, перекус! — пропел он.

— Вы слышали про бесчинства к югу отсюда? — спросила его Джун.

— Да.

— Ну, и что вы на этот счет скажете?

— Скажу, что рад, что живу не на юге.

— Боже мой, что же дальше? — вздохнула Джун.

Подошла Ида.

— В чем дело?

— В соседнем городке бунт, — объяснил мистер Мор.

— Вот прямо сейчас?

— Начнется сегодня к вечеру.

Ида взяла сэндвич.

— Давайте взглянем на это с другой стороны, — сказала она. — Если они взбунтуются вечером, то завтра их выпустят, и, скорее всего, они будут уже мирно настроены, поскольку успеют утолить свою жажду кровавой бойни.

Джун тронула Боба за локоть.

— Мы много раз сталкивались с насилием. В од-

ном шахтерском лагере в Огайо в нас бросались камнями. Ида все еще верит, что они пытались убить нас.

— Они и пытались, — сказала Ида, откусывая от сэндвича и медлительно, с подозрением жуя.

— Что, не понравилась пьеса? — предположил мистер Мор.

— Мы именно так и подумали, — сказала Джун.

Мистер Мор отошел, чтобы поставить поднос на край сцены.

— Оставлю здесь, чтобы вы смогли поработать над этим в удобное вам время.

Он вышел из зала, и Ида швырнула свой сэндвич через плечо в темноту.

— Мясной паштет! — сказала она Джун.

— О, как он мог!

— Не стоило, правда.

— Закусочная снова открылась, — сказал Боб, и Джун с Идой переглянулись.

— Но ужинать еще рано, — сказала Джун.

— Но я хочу есть, — сказала Ида.

— Но еще слишком рано.

— Но я голодна!

— Ну, я тоже, если хочешь знать правду. А как насчет тебя, Боб? На каком месте шкалы голода-

ния находишься ты?

— Голоден, — ответил Боб.

— Ну, тогда решено, — сказала Джун. — Бери свое пальто, Ида, и мое бери тоже, и пойдем ужинать.

Вскоре, войдя в закусочную, они поздоровались со знакомой официанткой.

— О, привет, — отозвалась та.

— Правильно ли я поняла, что вы нашли пропавшего повара? — сказала ей Джун.

— Найти не нашли, но он здесь.

— И где ж он был?

— Правду сказать, я так на него зла, что даже говорить не могу об этом. Хотите, подите сами спросите.

Она указала на квадратное окошко с полочкой, в котором повар принимал заказы, расставлял тарелки с едой и позвякивал в колокольчик, дескать, принимайте, готово. Джун, подойдя, позвала:

— Будьте любезны! — И в окошке возникла физиономия повара — опухшая, красноглазая, но никак не унылая. Джун спросила: — Где вы были, сэр, что на вас все так ополчились?

— Ну, пошел и налил себе стаканчик-другой, а что?

— Хорошо провели время?

— Неплохо.

— А как было после?

— Отвратно, — сказал он. — Но все-таки я повеселился, а это, в конце концов, что-то да значит.

— Вы рады, что вернулись сюда?

Повар изобразил физиономией, что однозначного ответа на этот вопрос у него нет.

— Очень устали?

— Устал, леди, как собака устал. — Он глянул на Дружка, дремавшего на руках у Джун. — Без обид, приятель. Ух ты, какая у тебя шляпка!

— Ну, ничего, — сказала Джун, — вот начнете строгать дневную норму мясной стружки, и вскроется скрытый источник энергии.

Повар покачал головой.

— Нет, никто не хотел задружиться с этим конкретным блюдом, и нам пришлось выкинуть его из меню.

Он высунулся из оконца и ткнул в приколотую к стене картинку. Это был рисунок пером: кладбище, и на каждой надгробной плите — название блюда:

Здесь почиет мясное крошево-ассорти
Омлет с телятиной, вспоминаем тебя

с любовью

Покойтесь с миром, “чик-Стикс” в кокосовой корочке

Возлюбленная мясная стружка.

Внизу листа аккуратным почерком было приписано:

Сгинули, но не забыты.

Повар так и торчал в окошке, любуясь этим шедевром, и по лицу его блуждала улыбка мечтателя, описать которую невозможно.

— Сам-то я считаю, что рецепт был очень неплох, — сказал он.

— Рецепт стружки? — переспросила Джун. — Чем же он был неплох?

— Вкусом. Но еще, знаете ли, методом приготовления тоже. В общем, должен сказать, что готовить ее я любил больше всех прочих блюд в нашем репертуаре.

— А какое блюдо вам нравится готовить меньше всего? — спросила Ида.

Повар ответил не сразу.

— Пожалуй что нет, промолчу. Обсуждать такое с клиентами — это не дело.

— И с чего бы не обсудить?

— Что ж, подумайте сами. Если вы узнаете, что именно я не люблю готовить, но вам захочется заказать именно это, мы окажемся в затруднительном положении, потому что или вы не получите то, что хотите, потому что, как вежливый человек, не закажете это, щадя мои чувства, или же закажете все равно, тем самым мне сообщив, что не держите меня за человека, с чувствами которого стоит считаться.

— Экий вы впечатлительный повар! — подметила Джун.

— Повар, он крайне уязвим, когда работает в ресторане, — с мрачной серьезностью подтвердил он и, повысив голос, обратился ко всем, кто был в зале: — Что, думаете, не слышу, как вы отзываетесь о еде, которую я приготовил? Слышу! Каждое слово!

Сатанински блеснув глазами, он яростно звякнул лопаткой по своему колокольчику. Однако в зале тут и там сидело всего несколько посетителей, и никто из них не обратил на слова повара никакого внимания.

Вернулась официантка, передала заказ и пригласила Джун с компанией присесть. Все скопом они направилась к тому столику, который уже считали своим. Трапеза подходила к концу, когда

к закусочной подъехал армейский джип и в зал вошел военный полицейский. Официантка куда-то делась, и военный выкрикнул в воздух:

— Сколько у вас есть кофе?

— Целый чертов бак, — выкрикнул повар с кухни.

— Я заберу весь, и вместе с баком.

В окошке появилось лицо повара.

— Бак не на продажу.

— Дяде Сэму он нужен, — сказал военный и помахал пачкой банкнот.

— Дяде Сэму готов отдать весь наличный кофе до капли, но бак пусть добудет себе сам, потому что мой мне нужен тоже, и постоянно.

Военный блеял и мямлил, но в итоге ушел с полным термосом кофе. Термос был его собственный, и он был разочарован тем, что его задумка осталась невоплощенной. Ида предположила, что он, чего доброго, целый сценарий у себя в голове сочинил, как приезжает в Бэй-Сити перед самыми беспорядками с полным баком живительного и обжигающе горячего кофе и товарищи в его честь троекратно кричат “ура”, благодарные за смекалку.

— А случалось вам замечать, как влияет военная форма на самоуважение молодых людей? —

из окошка спросил повар.

— Еще как, — в один голос откликнулись Джун и Ида.

После ужина обе дамы, Боб и собаки вернулись в отель, где застали мистера Мора и мистера Уитселла за стойкой регистрации. Пригнувшись поближе к радиоприемнику, они слушали передачу из Бэй-Сити. Официально бунт еще не начался, но по мере того, как сумерки переходили в ночь, постепенно набирал обороты. Репортер почти скучающим тоном описывал обстановку:

— Кто на чьей стороне, не понять. Все лесорубы похожи один на другого, никаких видимых признаков того, какой лагерь или какую компанию человек представляет. Они разгуливают группками туда-сюда по главной улице Бэй-Сити и то тут, то там устраивают стычки и потасовки; но стычки и потасовки быстро подавляет Национальная гвардия, сотрудничающая с местными правоохранительными органами, которые прибыли на место происшествия ей в помощь.

Мистер Мор указал на радио и прошептал:

— Там наш шериф!

Мистер Уитселл покачал головой, и на лице у него так явственно читалась тревога, что мистер Мор не смог не осведомиться, в чем дело.

— Я чувствовал бы себя в большей безопасности, — отвечал он, — если бы шериф был здесь и защищал нас от посягательств. Зачем его понесло так далеко от дома? Разве в Бэй-Сити нет собственного шерифа, долг которого пасти свое стадо?

— Конечно, есть, — сказал мистер Мор. — Но наш шериф, вероятно, счел, что быть там — вопрос профессиональной чести. Он, видите ли, из тех, кто не упустит шанса помочь соседу, зато пройдет мимо шанса ограбить банк.

— И пока он там герой на подхвате, в каком положении оказались мы? Беззащитные перед любым преступным элементом, которому вздумается пройти мимо. Да ведь бандит может явиться сюда, поубивать нас в наших постелях и уйти безнаказанно, и нет никого при власти, чтобы помешать такому бесчинству!

— Может быть, вас утешит малая вероятность указанного события? — спросил мистер Мор.

— Нет, не утешит! — ответил мистер Уитселл, причем с неожиданной горечью.

Элис появилась из маленькой двери за стойкой администратора, натягивая кардиган и приглаживая волосы. Мистер Мор обратился к ней с просьбой подогреть молоко для мистера Уитсел-

ла, но она сказала, что нет, ей очень жаль, но она не может, уже опаздывает.

— Что, неужто снова на тот же фильм? — удивился мистер Мор.

— Да.

— Но сколько ж можно смотреть, как разворачивается одна и та же история?

— Сколько угодно.

Вынырнув из-под стойки, она пролавировала между собравшимися и ткнула Боба в живот, когда проходила мимо.

Мистер Мор сам пошел согреть молока для мистера Уитселла, который с несчастным видом стоял в сторонке от остальных. Ида, Джун и собаки направились в зрительный зал еще немного порепетировать. Боб пошел к себе, переоделся в пижаму и, усевшись на край кровати, стал слушать репортаж из Бэй-Сити, где в ночной темноте ситуация разгорелась до полноценного бунта:

— Горит “Пятицентовик”, — докладывал репортер. — Никто пожаром не занимается, магазин просто себе горит, и все. Тем временем на другой стороне улицы группа мужчин пытается перевернуть джип. Лица у них красные, они кричат, и видно, что полны решимости довести дело до конца. А вот еще одна группа надумала поджечь

почтовое отделение. Зачем? Для чего? И интересно, где же пожарные? Ладно, погодите, вон первая группа перевернула джип на бок, и вид у них у всех страшно довольный. Да, обмениваются поздравлениями, ух ты, ну и дела. — Послышался вой сирен, крики людей на заднем плане. — В том конце Бэй-роуд выстраивается рядами Национальная гвардия. Лесорубам и гвардейцам неминуемо предстоит схлестнуться на улице.

Репортер стал выкрикивать вопросы проходящим мимо гвардейцам, но те или оставляли их без ответа, или же огрызались. Боб услышал, как кто-то сказал: “Город полыхает, а этот придурок хочет знать, что я думаю о случившемся!” Репортер воспринял это как должное. “Эмоции сегодня зашкаливает”, — объяснил он и пошел бубнить себе дальше.

Боб поднялся с кровати и подошел к окну. Элис стояла перед кинотеатром, обхватив плечи руками, и вглядывалась в дорогу так, словно видела там будущее.

К югу от козырька над входом Боб различил мерцающие огоньки Бэй-Сити. С безопасного расстояния он смотрел на эпицентр смуты, в то же время слыша по радио, как смута звучит изнутри.

Элис выглядела несчастной, затолканной в себя самое; Боб уже открывал окно, чтобы позвать ее послушать про бунт у него в комнате, когда она выпрямилась и помахала рукой, и тут появился парень из магазина, Томми. Не успел он дойти, как Элис развернулась и бросилась к кассе покупать билеты. Входя в кинотеатр, Томми лениво возложил руку на Элис, так что рука свисала с ее плеча, в то время как сама Элис приникла к его груди. Боб не мог видеть, поднимутся они на балкон или нет, но определенно выглядело все так, словно путь их лежал к балкону.

Меланхоличный настрой этого эпизода сообщился и Бобу, на него снизошло уныние. Впервые после побега из дому он поймал себя на мысли о доме в Портленде, и в особенности — о космосе его спальни. Он выключил радио, погасил свет и улегся. Немало прошло времени, прежде чем удалось заснуть, а когда он проснулся, было семь утра, окно оставалось полуоткрытым, занавеска выпячивала навстречу свое брюшко, а с улицы доносился шум волнующейся толпы.

* * *

С улицы доносился шум волнующейся толпы. Восклицающие, зовущие голоса, автомобиль-

ные гудки то и дело; Боб решил, что бунт и сюда добрался, и, лежа в постели, раздумывал, как к такому себя подготовить и как держаться. Но потом он удивился тому, что голоса не становятся злей. Подошел к окну, ухватил раздутую занавеску, отодвинул ее в сторону.

Все кишело людьми. Машины останавливались прямо на шоссе, на обочинах встать было негде. У этой кутерьмы не было ни центра, ни границ и никакого намека на беспорядки. Походило на то, как если у муравейника сбить вершинку, вот и теперь повсюду, куда ни кинь взгляд, происходило хаотическое движение, от которого перед глазами кружилось: каждый следовал собственному маршруту, сновал с места на место, выхватывал в толпе родное лицо и к нему пробирался, чтобы встретить, обнять, разделить радость.

Боб оделся, сбежал по лестнице и, пройдя через всю гостиницу, на верхней площадке синей лесенки остановился чуть оглядеться. Вслед за ним из отеля вышел и мистер Мор.

— Ну что, значит, вот оно, да? — сказал он Бобу и спустился, влившись в толпу.

Боб смотрел, как мистер Мор здоровается с тем и этим, пожимает руки, кивает и раскланивается, пока его не поглотило столпотворение.

Тут и Боб двинул вниз по синим ступенькам; его тотчас же подхватило и стало швырять из стороны в сторону, толкать туда и сюда, и это было бы страшно, кабы не то, как люди себя вели. Его гладили по голове и похлопывали по плечу, неведомая женщина с красным лицом, серыми зубами и скатывающимися по щекам слезами схватила его и поцеловала в лоб. Какой-то парень расхаживал с важным видом, то и дело дуя в трубу. Он направил раструб в лицо Бобу и, обдав кислым чужим дыханием, издал потешную дрожащую ноту. Было так, словно все друг с другом знакомы, но давненько не виделись и теперь в восторге от небывалого размаха воссоединения.

Боб прошел мимо мужчин, стоявших кружком вокруг пикапа-грузовичка. Они слушали сводку новостей по радио, встроенному в машину. Мужской голос с британским акцентом внятно и громко зачитывал официальное сообщение. Из услышанного Боб понял, что война завершилась. Люди вокруг грузовичка захлопали в ладоши и закричали “ура”.

Бобу захотелось разыскать Иду и Джун. Он начал подпрыгивать, пытаясь их углядеть. Солдат, проходивший мимо, спросил: “Что, ищешь своих?” — и поднял его, чтобы он смог осмотреть

толпу сверху. Боб смотрел и смотрел, но знакомых лиц не увидел. Вскоре это дело солдату наскучило, он поставил Боба на землю и ушел. Толпа, между тем, сдвинулась, оттеснив Боба к краю.

У южной стены отеля стояла патрульная машина, на заднем ее бампере, потирая висок, сидел и щурился на солнечный свет шериф с лицом бледным, как воск, и одутловатым. Приметив Боба, он его поманил:

— Эй, сынок, подойди-ка ко мне, ладно?

Боб подошел, и шериф сказал ему:

— Хочешь знать, в чем дело? Да в том, что я кое-что про тебя знаю.

Он вытащил из кармана бумажку, развернул ее и показал Бобу. Это была листовка с сообщением, что пропал человек; Боб стоял и смотрел на размытую фотокопию прошлогоднего снимка из своего школьного альбома.

— Пришло вчера утром, — пояснил шериф. — Я подумал тогда, что лицо мне знакомо, потому что видел тебя на днях возле почты. Я бы тебя разыскал и раньше, но тут у нас кое-что было, и пришлось сначала там разбираться.

Из кармана рубашки шериф достал пузырек с аспирином, горсть таблеток забросил в рот и, скривясь от горечи, разжевал. Стиснул пальцами

переносицу, оглядел толпу и сказал:

— Надо ж, выпало на сегодня. — И оглянулся на Боба. — Ну, так что ж нам с тобой делать? — Боб пожал плечами, и шериф сказал: — Пожалуй, следует сообщить. Постой тут минутку, сынок, ладно? — Он сунулся в машину и вылез с рацией. — Штаб, штаб, ответьте. Штаб, слышно меня?

— Штаб, слышим. Как ваша голова, шериф?

— А как ты сам полагаешь?

— Жаль, не повременили еще денек с концом войны.

— Не то слово. А как там психи-лесорубы? Как они сегодня с утра?

— Ну, я бы сказал, примерно так же, шериф, как вы. Заметно тише, чем ночью. Но нам поступает много звонков насчет скопления людей в центре города.

— Да я сейчас тут и есть.

— Какие-нибудь проблемы?

— Нет, народ гуляет вовсю, но событие того стоит, и никаких проблем я не вижу.

— Вот и ладно.

— Дожили наконец до добрых вестей. Да, кстати о добрых вестях. Почему я звоню-то. Я ведь нашел того парня из Портленда. По фамилии Комет.

— Да ну? И где он?

— Здесь, рядом со мной.

— Он в порядке?

— На вид вроде да. Ты в порядке, сынок? — Боб кивнул, и шериф повторил: — Он в порядке.

— Что это за фамилия у него такая, Комет?

— Не знаю. Сынок, откуда у тебя такая фамилия?

Боб пожал плечами.

— Он не знает откуда. Он не из любопытных. Ну, в общем, ты давай позвони им туда в Портленд, обрадуй.

— Позвоню, шериф. А что мне сказать им насчет того, когда его ждать дома?

— Да, пожалуй, штаб, ты поставь перед ними эту задачу, пусть сами решают. Может, родных его за ним пришлют, или, может, полиция Портленда выделит человека. Или нет, черт, подожди-ка.

— Что такое?

— Где мы будем держать его, пока за ним не приедут?

— В отстойнике.

— Что, вместе с психами?

— Да они уже поутихли, я же сказал.

— И все ж нет, это мне не по нраву. — Шериф посмотрел на Боба. — Вот что, я, пожалуй, сам паренька доставлю в полицейское управление.

— Что, поедете в Портленд?

— А что, почему бы и нет. Я так и так задолжал свекрови визит. Одним выстрелом сделаю два добрых дела. Удаче не повредит и, может, даже поднимет самооценку.

— Когда мне сообщить им, что вы едете?

— Да уж скоро. Подождем только, как подействует аспирин. И вот еще что, штаб, вытащи-ка моего молодца-помощника из постели, встряхни его хорошенько и отправь сюда дежурить вместо меня. И если вздумает ныть, напомни ему, что это его идея была остановиться и пропустить по стаканчику на ночь.

— Слушаюсь, шериф.

— И скажи ему, что это я надоумил тебя напомнить ему, что это была его идея.

— Слушаюсь, шериф.

— Вечером тут может быть шумновато, но к тому времени я вернусь.

— Хорошо. Что-нибудь еще?

— Что еще, я пока не могу придумать. Ну, давай, штаб.

— Доброго дня, шериф.

Шериф повесил на место рацию и спросил Боба:

— У тебя есть с собой вещи, сынок? Ну, палка с

узелком из носового платка?

Боб мотнул головой на отель, и шериф сказал:

— Ладно, тогда сходи забери. Я буду ждать тебя здесь. Только не тяни, ноги в руки, туда и обратно.

Боб сказал “ладно” и сделал шаг.

— Эй, послушай, — окликнул его шериф, и Боб обернулся. — Я просто хочу сказать, что если ты снова сбежишь, то выставишь меня в дрянном свете, надо мной будут смеяться, а я разозлюсь, а я не хочу держать на тебя зла, потому что на вид ты паренек славный.

Боб сказал, что не сбежит, и он говорил правду, и поэтому шериф поверил ему.

— Кстати, — сказал он, — за тобой ничего серьезного. Насчет того, как тебя примут дома, не знаю, но с точки зрения закона проблем у тебя нет. У тебя небольшие и вполне разрешимые неурядицы, ясно?

— Ясно.

— Ну, ступай за вещичками. Жду тебя здесь.

Боб направился ко входу в отель.

Трубач сошелся со скрипачом и гитаристом, и они пытались сообразить, что бы сыграть такое, чтобы мелодия соответствовала моменту “войне конец”, но никак не могли договориться о песне,

или же не было ни одной, которую все трое знали бы, как исполнить.

Вестибюль пустовал; Боб звякнул звоночком на стойке, но никто на звонок не вышел. Он пошел в свою комнату, уложил в рюкзак пижаму и зубную щетку. Малый барабан и палочки лежали на полу; Боб поднял их, взял свой рюкзак и вышел из комнаты. Он постучался в дверь мистера Уитселла, но и тот не ответил. Дверь оказалась не заперта, он заглянул в комнату: там никого не было. Затем он поднялся лестницей в башню и постучал в дверь Иды и Джун. Дружок и Малыш заскулили, но больше никто не отозвался; Боб подергал за ручку, дверь была на запоре. Оставив барабан под дверью, он направился в вестибюль. Еще раз звякнул, еще раз безответно. Зрительный зал был пуст. Оранжерея — тоже.

В последний раз постоял Боб наверху синей лесенки, ведущей к отелю. Толпа росла, машины стояли вдоль шоссе на протяжении полумили, и все больше мужчин и женщин спешили влиться в веселье. На тротуаре через дорогу, на дальней границе столпотворения, Боб заметил Элис и Томми. Вдоль ряда зеркальных витрин, держась за руки, они убегали от толпы, убегали к уединению, и Элис сияла от счастья. Вот взметнулись ее саль-

ные волосы, вот они с Томми исчезли за углом. Трио музыкантов в быстром темпе заиграло что-то, чего Боб раньше не слышал. Играли они плохо, но с чувством. Патрульная машина шерифа так и стояла, где раньше. Шериф, вытянувшись во всю длину, лежал на переднем сиденье, из открытой дверцы торчали ботинки, зависнув над белым горошком гравия.

Вдоль фасада Боб прошел к патрульной машине и забрался на заднее сиденье; шериф сел за руль и сказал:

— Нет, сынок, давай-ка сюда.

Боб вышел и пересел вперед, а шериф посидел тихонько, собираясь с силами или, может, храбрости набираясь. Потом он завел машину, пока не трогаясь с места.

— Хорошо, а теперь давай повнимательней. — Он указал Бобу на ряд рычажков на приборной панели. — Видишь этот? — Он щелкнул рычажком, и сирена патрульной машины взвыла так зычно, что Боб подпрыгнул. Шериф щелкнул еще раз, сирена умолкла. — Так вот, когда я подам тебе такой тайный знак, — он указал пальцем на Боба, — ты должен нажать на вот этот самый переключатель, включал и выключал, очень быстро. Понял? — Боб кивнул. Шериф помолчал,

затем указал на Боба, и Боб щелкнул рычажком туда и сюда. — Молодчага, отлично.

Шериф тронул другой рычажок, задействовав громкоговоритель, и обратился к толпе.

— Дамы и господа! Леди и джентльмены!

Толпа притихла, головы повернулись к патрульной машине.

— Вы все арестованы, — сказал шериф, и толпа засвистела-заулюлюкала. — Ну ладно, так и быть, не арестованы. Но сделайте мне одолжение, пропустите нас. Мне и моему заместителю нужно этот рыдван развернуть и выехать на шоссе.

Он сделал условный знак, Боб проделал манипуляцию с рычажком, и патрульная машина медленно двинулась сквозь толпу.

Шериф покрылся испариной, хотя было не жарко. Поглядев на Боба, он легонько пихнул его локтем.

— Опусти-ка окошко, сынок, ладно? — сказал он, и Боб опустил свое окно, а шериф вдохнул носом и выдохнул океанский воздух. — Вот теперь хорошо. Спасибо. — Он снова посмотрел на Боба. — Ну, — сказал он, — и сколько же дней ты продержался? Как давно ты сбежал?

— Четыре дня.

Шериф покивал.

— Ну, не так уж и долго. Но, по правде, большинство ребят не протягивают и ночи, так что результат у тебя очень приличный. Кроме того, я бы сказал, что результат твой хорош и с точки зрения преодоленного расстояния. Как ты сюда добирался? Автостопом? Тормозил попутки? — Шериф поднял большой палец.

— Поездом и автобусом, — сказал Боб.

Шериф присвистнул.

— Неплохо. Есть чем гордиться. Вообще говоря, на мой взгляд, если уж беспокоиться о ребенке, так о том, который не норовит сбежать. Я тоже сбежал, когда был твоих лет.

Шины шуршали по гравию. Шериф сделал знак, Боб включил сирену и выключил. Толпа напирала, и не все спешили уступить дорогу машине, в результате чего бампером их задевало. Мужчина и женщина танцевали, тесно кружа со стороны шерифа; пропуская машину мимо себя, мужчина наклонился к открытому окну и спросил:

— Как вы оцените этот бунт, шериф?

— Как бунт недоумков, приятель. В этих парнях интеллект дремлет. Обыкновенная пьянь в угаре. Ущерб нанесли изрядный, ничего не скажу, но в целом впечатление очень неважное.

Танцор помахал рукой и закружился с партнер-

шей дальше.

— Один парень из этих, из лесорубов, — сказал шериф Бобу, — я посадил его в машину, доставить в участок, так он сказал, что даст мне сто долларов, если я подброшу его обратно в лагерь. Сказал, что наличные у него при себе и я могу их получить, а он никогда ни единой живой душе ничего об этом не скажет. Я спросил: “А как же твои приятели?” И он спросил: “А что с ними?” И я спросил: “Ты что же, оставишь их расхлебывать за тебя кашу, а сам пойдешь спать?” И этот жук сказал мне, глядя в окно, сказал: “Каждый идет своим путем в этом мире, и неважно, что он там говорит”. Я подумал с минуту, а потом говорю: “Знаете, в чем, мистер, ваша проблема? В том, что гнилое у вас нутро”.

Шериф покачал головой, сплюнул в окно и указал на Боба, а Боб пощелкал переключателем. Группа шумных солдат шлепала руками по капоту патрульной машины, и шериф сказал им в громкоговоритель:

— Не шлепать по автомобилю шерифа! — А затем покосился на Боба: — А ты не слишком разговорчив, сынок, да?

Боб покивал, что да, он не разговорчив.

— А хочешь ли знать, — спросил шериф, — на

сколько дней я убежал? Вот сколько дней прошло с тех пор до настоящего дня, на столько и убежал. Потому что домой я так и не вернулся. Что ты на это скажешь?

Боб пожал плечами. Шериф ему очень нравился.

— Вот как ты думаешь, они еще ставят мне тарелку, когда садятся за ужин?

— Может быть.

— А может, и нет, — сказал шериф. — А как насчет тебя? Думаешь, родители обрадуются тебе, или разозлятся, или что?

— Обрадуются, наверно.

— Не разозлятся?

— Ну, может, немного.

Шериф взглянул на Боба.

— Причина, по которой я спрашиваю тебя об этом, в том, что, если действительно там делается что-то неладное, тебе не обязательно возвращаться домой. Ты понимаешь, что я имею в виду?

— Да.

— Я имею в виду, что ты можешь мне все сказать.

— Да все в порядке.

— Ты точно уверен?

— Да.

— Хорошо, — сказал шериф. — Это хорошо. Отлично. Но ты дай мне знать, если вспомнишь о чем-то неладном, идет?

Они почти уже выехали на шоссе, и Боб смотрел на толпу, когда увидел Иду и Джун, стоявших чуть поодаль справа от патрульной машины. Он увидел их мельком, но с таким пристальным вниманием, что изображение запечатлелось в его памяти, как фотографический снимок: они стояли лицом друг к другу, словно на сцене, и лицо у Иды было несчастное, щеки красные и мокры от слез, в то время как Джун ласково на нее смотрела, гладила по волосам, промакивала ей щеки платком и что-то доброе говорила.

Боб почувствовал, что душа его рвется к ним, но патрульная машина, выбравшись на шоссе, уже миновала толпу и набрала скорость. Боб развернулся и встал на колени, чтобы следить в заднее стекло, как толпа и город становятся меньше и меньше. Последнее, что он видел в Мэнсфилде, был флюгер, криво торчащий над покосившейся башней; когда и тот скрылся из виду, Боб уселся лицом вперед.

Что-то в тот момент кольнуло его в сердце, но найти слово тому, что кольнуло, он не умел. Боб и хотел бы проститься с Идой и Джун, да мысль

о чинном прощании также смущала — он, возможно, боялся, что не сможет с собой совладать. Но боль не покидала его, и Боб не знал, куда ее поместить. Сидел, упершись взглядом в обочину, асфальт расплывался в глазах, проносясь мимо. Солнце, стоявшее высоко, светило прямо в лобовое стекло, слепило, и шериф, морщась, хватал пальцами воздух и указывал на бардачок:

— Темные очки, сынок, очки от солнца, очки.

4
2006

Узнав, что Чирп и есть Конни, Боб повесил трубку, сел в закутке и, глядя в окно, спросил себя, что ж ему теперь делать. Но что он мог? Делать было нечего. Он принял что-то антигистаминное и проспал до полудня.

Сияло солнце, снег таял, и он позвонил Марии в Центр, предвидя, что та отчитает его за неподобающе поздний звонок накануне вечером, но она либо не помнила, что он звонил, либо не осознала, что это звонил он, а сразу заговорила о том, что устала до одурения, и, не дожидаясь расспросов, сообщила, что Чирп вернулась из больницы, а также о том, что они с сыном Чирп вместе продумывают, как бы организовать для Чирп более подходящее проживание.

— Он теперь, когда успокоился, стал посимпатичней и в знак примирения даже принес мне сегодня непропеченный маффин.

Она спросила Боба, зачем он звонит, и он на ходу сочинил историю про то, как у него обнаружилось личное дельце, которое не позволит ему

приходить в Центр в ближайшее время. Мария этому удивилась. Она сказала:

— Личные обстоятельства — это то, на что волонтер ссылается, когда надумал отчалить, но у него не хватает духу сказать мне об этом прямо в глаза.

— Не надумывал я отчалить.

— Тогда в чем же дело? Ты заболел?

— Нет.

— Хорошо, но что же тогда?

— Я не болен, и я не отчалю, — пообещал Боб.

И правда, отчаливать он совсем не хотел, но не мог видеть Чирп, зная, что она — Конни, и потому принял решение не ходить в Центр, пока ее не переведут. Пусть это проявление слабости, провал некой базовой проверки на человечность, проверки, которая оказалась не по зубам, — и все же задача была столь непосильна в сравнении с тем, на что, по его мнению, он был способен, что он не испытывал никаких угрызений совести, что так спасовал. Боб не верил, что Конни поймет, кто он такой, не верил, что его присутствие доставит ей сколько-то утешения, так что если он продолжит бывать в Центре при ней, самой Конни это совсем ничего не даст, а ему принесет много боли, и он решил, что с него хватит, и точка.

Мария сказала Бобу, что нагнетать таинственность есть его право свободного гражданина, но она надеется, что он скоро управится с тем, что его отвлекает, и вернется в лоно Центра.

— Значит, ты сохранишь за мной мое место? — спросил Боб.

— Ну да, сохраню. Просто будь умник и дай нам знать, когда захочешь вернуться.

Так наступил период, когда у Боба не было доступа в Гериатрический центр имени Гэмбелла — Рида, и его дни стали тусклы и унылы. Разлука с друзьями не радовала, а новообретенное знание о состоянии Конни вызвало беспросветную, всепроникающую печаль, которая пусть и не была острой или опасной, но вдвое замедлила ход часов, лишила мир звуков и красок.

Уже несколько лет он отмечал, что силы его мало-помалу сдают, но именно в период отлучки от Центра это стало особенно явным. Что-то вдруг выпадало из памяти, что-то сгорало на плите, и порой он терялся, куда он, собственно, пошел и зачем. И тело отказывалось повиноваться: чувствовалась вялость в конечностях, он засыпал, не осознавая усталости, и просыпался растерянным и не отдохнувшим. Все чаще он полагался на канат, поднимаясь по лестнице в спальню,

перехватывал его руками, как альпинист.

Однажды вечером он заснул на диване в гостиной и проснулся только в четыре утра. Полежал в темноте, осваиваясь, дыша. Потом встал, пересек комнату и, держась за канат, шаг за шагом стал подтягивать себя вверх по ступенькам, но когда добрался до верхней, медная проушина, державшая канат, выпала из гнезда. Тошнотворное мгновение он висел в воздухе, покачиваясь, с веревкой в руке, а затем сила тяготения подхватила его и швырнула вниз по ступенькам, как камень в яму. Очнувшись, он обнаружил, что лежит плашмя на спине, в пояснице боль такая, что в глазах белые вспышки, а сердце мучительно бухает и колотится. Некоторое время спустя острота слегка притупилась, пришло онемение. Тут оказалось, что он в состоянии думать о чем-то еще, кроме того, как ему плохо.

“Похоже, бедро сломал”, — подумал он, и правда, так оно и было, сломал. Потом подумал: “Как бы сделать, чтобы мне помогли?” Перед глазами все расплылось. Он почувствовал прилив задора и радости, захихикал, но хихикать оказалось болезненно, поэтому он перестал. Стало клонить в сон, все сильней и сильней, и он боялся уснуть, опасаясь, что под невинной сонливостью прячет-

ся проныра смерть. Однако ж бороться с этим не было никаких сил. Он провалился в дремоту, но то не была смерть.

Проснулся он в половине десятого утра от стука в дверь.

— Войдите, — позвал он.

Молодой человек в защитном жилете вошел, повторяя по мере того, как продвигался вглубь дома:

— Эй, кто-нибудь? Эй!

— Я здесь.

Молодой человек поспешил к Бобу и опустился рядом с ним на колени.

— Сэр, вы в порядке? — сказал он.

— Нет, не в порядке. Здравствуйте.

Боб попросил молодого человека вызвать скорую помощь, и тот, достав мобильный телефон, вызвал, по ходу дела объясняясь с диспетчером.

— Не знаю, что именно произошло, но могу сказать, что человек определенно травмирован.

— Я упал с лестницы, — сказал Боб, показав пальцем, откуда.

— Он упал с лестницы, — повторил молодой человек. Он спросил у Боба его имя и адрес, Боб сказал, и молодой человек передал данные диспетчеру. Потом, послушав, что ему говорят в

трубку, сказал: — Они хотят знать про вашу боль, мистер Комет.

— А что про нее?

— Какая она?

— Она приходит и уходит, но когда приходит, то очень сильная.

— Похоже, ему очень больно, — сказал в трубку молодой человек.

Боб все еще сжимал в кулаке канат, оторванный от стены. Молодой человек, заметив это, смутился. Понизив голос, он сказал оператору:

— Знаете, у него веревка в руке.

Он вышел из комнаты на кухню, тихо говоря что-то в телефон; Боб пытался расслышать, что он там говорит, но не мог разобрать слов. Зато заметил, что потолок над лестничной клеткой пошел трещинами, и подумал, что надо не забыть заняться этим попозже. Через некоторое время молодой человек вернулся.

— Сказали, приедут минут через пять.

— Спасибо. Вы очень мне помогли, — поблагодарил Боб.

— Рад быть полезным.

— Вам не обязательно ждать со мной, если у вас есть работа.

— Что такое какие-то пять минут?

— Я не склонен к самоубийству, — сказал Боб.

— Я тоже, — ответил молодой человек.

Он придвинул стул, и они стали ждать вместе. Боб спросил, в чем была цель его визита, и молодой человек сказал:

— Я продаю окна. Ну, в общем, пытаюсь их продавать. На самом деле я продаю не так уж и много. Когда вы подписываете контракт с этой компанией, вам называют имена бывших работников-звезд, которые заработали вот такущую сумму за счет комиссионных. Но ни одна из этих бывших звезд в компании теперь не работает, так что я начинаю подозревать, что их вообще не существовало.

— А ваши окна — хорошие?

— Между нами говоря, это брак. В основном, поврежденные при перевозке или изношенные демонстрационные. Мы покупаем их дешево и дешево продаем — так мы просачиваемся на рынок. Прибыль мы получаем на установке. Верней, компания получает.

Боб забыл, что поломан, и пошевелился. Это вызвало боль, как будто в живот вонзился острый ледяной клин; Боб сморщился, издал низкий горловой рык, и молодой человек спросил:

— Вы в порядке?

Боб мотнул головой: нет.

— Больно, — сказал он, но, когда спазм прошел, попросил: — Мне бы хотелось послушать, как вы предлагаете свой товар.

— Да не может такого быть! — улыбнулся молодой человек.

— Так быстрей пройдет время, — объяснил Боб.

— Что ж, тогда ладно. Только теперь это уже не та говорильня, как была раньше. Теперь вся суть в вовлечении.

— Это как?

— В старые времена, вы уж не обижайтесь, продавали, напирая на монолог, забалтывали. Но сейчас людям требуется деятельный подход. Мы теперь в основном задаем вопросы, которые как бы ненароком, случайно приведут потенциального покупателя туда, куда нужно нам.

— Это куда же?

— Туда, где он сам себя уговорит купить наш продукт. — Молодой человек сделал паузу. — Вы что, в самом деле хотите, чтобы я вам показал? Это, в общем-то, примитивно. Убогая имитация дружелюбия, понимаете?

Боб сказал: “Я готов”, — и молодой человек преобразил себя в продавца. Сел пряменько, сделал

серьезное лицо, поднял на октаву голос:

— У вас тут прекрасный дом, мистер Комет. Могу я узнать, давно ли вы здесь живете?

— Всю мою жизнь, да. Это дом моей матери.

— Да вы шутите! Надо же, как бывает! Тут очень, очень красиво. — Он огляделся, осматриваясь, и покивал, впечатленный. — И знаете что? Я с первого взгляда вижу, что дом построен с умом. Построен с умом, но еще и ухожен — что очень важно. Потому что владеть таким домом — это ответственность, я правильно говорю? В таком доме, как этот, вы не просто владелец, вы еще и хранитель, вы согласны со мной, мистер Комет?

— Да, — сказал Боб, но он слушал не очень внимательно. Внутри него что-то передвигалось, что-то соскальзывало во что-то другое, в то, что грозило произойти, и ему стало страшно, когда это что-то приблизилось.

— Мистер Комет, — нес свое молодой человек, — вы когда-нибудь слышали, что окна — это глаза дома?

— Я слышал, что глаза — это окно в душу, — сказал Боб.

— Да, и это прекрасный оборот речи — и к тому ж очень точный. Но я сейчас не о том, — он покачал головой. — Я сейчас здесь затем, чтобы

поговорить с вами о глазах вашего дома. И знаете что, мистер Комет?

— Что? — сказал Боб.

— Вы довольны… глазами вашего дома?

То, чего Боб ждал, наступило: ошеломляющее ощущение, будто каждая капля его крови внезапно начала двигаться не в каком-то одном направлении, а *прочь*. Совершенно уверенный, что умирает, он вскричал:

— О! О!

Молодой человек вытащил из-под защитного жилета цепочку с серебряным распятием, опустился на колени и начал молча, благоговейно молиться. Но Боб все же не умирал; у него случился приступ, и приступ прошел. Он извинился перед молодым человеком, который, вернувшись на свой стул, сказал:

— Да ну что вы…

Приехала скорая, и без стука вошел парамедик, худощавый мужчина с сэндвичем. Аккуратно положив надкусанный сэндвич на перила у подножия лестницы, он склонился над Бобом. Боб поднял глаза на жующего медика.

— Вы же не собираетесь трогать меня и спрашивать, больно мне или нет, правда?

Парамедик сглотнул.

— Как раз собираюсь.

— Прошу вас, не надо. Это больно. Я думаю, у меня сломано бедро.

Парамедик указал пальцем.

— Пошевелите пальцами ног!

— Но это же больно!

— Так ведь боль — это хорошо; это значит, что нервная система цела. При такой травме следует беспокоиться, когда ничего не чувствуешь.

— Ладно, я пошевелю пальцами как-нибудь в другой раз.

— Если выйдет, — сказал парамедик.

Он встал, забрал свой сэндвич, вышел и вернулся без сэндвича, но с другим парамедиком, сурового вида типом, толкавшим каталку. Каталку сложили, опустив на пол рядом с Бобом. Суровый парамедик сказал:

— Значит, так, сэр. Мы отвезем вас в больницу, где вам сделают рентген и окажут медицинскую помощь, но сначала нам нужно переложить вас на каталку, это понятно? Придется потерпеть.

— Погодите, — попросил Боб.

Но они не стали годить, а подняв его за ноги и плечи, переложили и старались делать все бережно, но все равно перемещение причинило невыносимую боль, и Боб взвыл, издав звук, о

котором и не подозревал, что он на такое способен, — празвук, подобающий животному, так что молодой человек в защитном жилете, стоя рядом, прикрыл руками лицо.

— Может, вы дадите ему что-то от боли? — спросил он сурового парамедика.

— В больнице дадут.

— Но ему это нужно сейчас, разве вы сами не видите?

Суровый молча с ног до головы оглядел молодого.

— Вы в каких отношениях с пациентом?

— В таких, что я его тут на полу нашел.

— Но что вы тут делаете?

— Я тут продаю окна.

— Кому?

— Тем, кто в них нуждается.

Суровый парамедик, махнув рукой на молодого человека в защитном жилете, принялся пристегивать Боба — теперь тот тяжко дышал, а боль унималась — к каталке. Каталку подняли, Боба выкатили из дома к машине скорой помощи, которая ждала у обочины. Парамедики стали готовить к приему пациента помещение в задней части машины; молодой человек в защитном жилете тем временем возник снова, протягивая

визитную карточку. Боб, с пристегнутыми руками, сказал:

— Суньте мне ее в рот.

Смущенный суматохой, которую сам вызвал, он стремился вернуть разговору легкий и беззаботный тон, но молодой человек не понял, что Боб шутит.

— Может, лучше в карман рубашки? — спросил он и именно так поступил.

Боба погрузили в машину.

— Удачи вам, мистер Комет, — сказал молодой человек в защитном жилете и помахал рукой, когда скорая отвалила от тротуара.

* * *

Боба отвезли в больницу, где вкололи щедрую порцию демерола, первую из множества прочих.

Бедро он правда сломал, да как: кость надломилась чистенько и ровно посередине, рентгеновский снимок превосходно это показывал, и врачи с медсестрами и санитарами сбегались взглянуть на него, присвистнуть и содрогнуться. Никто не сказал бы, что это не серьезная травма, и все же позвоночник оказался не поврежден, и можно было рассчитывать на полное восстановление. Срединную часть тела заковали в гипс вроде

огромного каменного подгузника, одна трубка торчала спереди, другая сзади. Поместили Боба в залитую солнцем палату с двумя пультами дистанционного управления: один для кровати, другой для телевизора. Вошла медсестра и объяснила, как обращаться с капельницей.

— Видите вон ту кнопку? Всякий раз, как накатит боль или станет тоскливо, жмите на нее.

— И что потом?

— Потом полный отрыв. Хотите какао?

Так, с помощью верной спутницы-кнопки Боб приноровился к своему временному больничному существованию. Десятилетиями отказываясь смотреть на мир через экран телевизора, он пережил период не просто телесмотрения, но смотрения с интересом и воодушевлением. Всю свою жизнь он верил, что настоящий мир — это мир книг: именно в книгах представлены лучшие устремления человечества. И, должно быть, так оно и было в какой-то момент истории, но теперь сделалось очевидно, что биологический вид эволюционировал и что это крикливое, лишенное высоких целей, пошлое попурри из худших проявлений человеческой природы, примитивных и порождаемых ленью, представляет собой свидетельство текущего времени. Сила воздействия

была такова, что Боба пригвоздило к кровати, как кота, который попал в проблесковый свет стробоскопа.

Одним утром, когда от опиоидов перед глазами плыло, он нашел визитную карточку, которую дал ему молодой человек в защитном жилете. Под названием компании было написано: “Вопросы? Комментарии? Жалобы?”, и за сим значился номер, начинавшийся с 800, из чего следовало, что звонок бесплатный. Боб попросил медсестру набрать этот номер.

Ответил женский голос, и Боб разразился сбивчивой речью во славу молодого человека, который в сложной жизненной ситуации повел себя с чуткостью и пониманием. Некоторое время спустя слушательница его прервала.

— Сэр? У вас имеется жалоба?

— Нет, жалоб у меня нет. Я звоню, чтобы похвалить вашу компанию. Потому что вы наняли сокровище в лице этого человека. Жаль, что я не могу вспомнить его имя. На самом деле нет, не думаю, что он мне его называл. Что, если я его опишу?

— Вы наш клиент?

— Потенциально — да.

— Но я не занимаюсь продажами. Хотите, со-

единю вас с отделом продаж?

— Да, в общем, нет.

— Тогда хорошего вам дня, сэр.

— О, и вам доброго дня, — сказал Боб и вернул сестре трубку в полной уверенности, что оказал молодому человеку протекцию.

Тем же днем, позже, проснувшись после дневного сна, Боб обнаружил Лайнуса Уэбстера, который в изножье кровати катался туда и сюда в своем инвалидном кресле. Матрас больничной кровати был поднят на самую высоту, поэтому Боб мог видеть только берет и налитые кровью глаза. Лайнус подкатил сбоку.

— Как ты себя чувствуешь, дружище?

— А как я выгляжу?

— В общем, фигово, Боб. Впрочем, и я выгляжу так же, а чувствую себя превосходно. Начнем еще раз: как ты себя чувствуешь?

— Иногда ничего, иногда так себе. Как дела в банде?

— Ну, ты же знаешь. Чудим. Мария вот прислала тебе письмо. — Он поднял конверт повыше, показывая, и положил на столик рядом с кроватью. Заметив кнопку капельницы, расширил глаза. — Так ты на игле? И что дают?

— Демерол.

— Демерол? Мило.

Он не был впечатлен.

Боб вступился за демерол:

— Не скажу плохого о демероле.

— Еще бы. Ты же знаешь, о чем я. Демерол вполне себе ничего. Хочешь, я нажму за тебя кнопку?

И не успел Боб ответить, что нет, не хочет, Лайнус с силой вдавил кнопку большим пальцем, здоровенным и красным.

— Каждый день с опиоидной капельницей — это дар судьбы, Боб, ты должен использовать его в полной мере. Оглянуться не успеешь, как окажешься на дерьмовом сквозняке дерьмового мира, поверь мне, я знаю.

Боб был рад видеть Лайнуса, и не только из-за наркотика.

Они беззаботно трепались минут сорок пять, когда Лайнус разволновался, сообразив, что вот-вот начнется его любимая передача, мыльная опера под названием “Под солнцем Калифорнии”.

— Ничего, если я посмотрю это здесь, а, дружище? Мне ни за что домой вовремя не поспеть.

И снова не дожидаясь ответа, Лайнус принялся доставать из своей сумки съестные припасы и раскладывать их на столике, который он выдви-

нул из полости в подлокотнике инвалидного кресла. Сериал начался, и потек комментарий Лайнуса:

— Видишь этого парня, Боб? А, Боб? Это герцог. Вообще-то на самом деле он каменщик из Италии, но он пустил в ход грандиозную байку о своем королевском происхождении, и все ему поначалу поверили, а теперь начали сомневаться, а его жена, вот она сомневается очень даже, и вообще она — вон она, видишь, вон? Глаз косой? — она влюблена в другого каменщика, он настоящий гордый ублюдок и работает на их маленькой вилле, и играет его, как ни странно, тот же актер, что и герцога, только у него автозагар, парик с конским хвостом и по-настоящему жуткий итальянский акцент. Жду не дождусь, как они этих двух каменщиков объединят. Но удача герцога еще чуточку и насмарку пойдет, это уж точно.

Боб пытался следить, кто есть кто, но увяз наполовину в снотворном. Он задремал ненадолго, а когда очнулся, над Лайнусом, скрестив на груди руки, высилась медсестра.

— Вы не наш пациент, сэр. Вы солгали мне прямо в лицо.

— Увы, так и есть.

— Что ж, сожалею, но вам придется уйти.

— Хорошо, я уйду, только дайте мне еще пятнадцать минут. Послушайте, судья Хартман наконец-то готов признать, что это он убил своего распутного сводного брата, ведь тот его шантажировал.

— Мне что, вызвать охрану?

— Леди, да посмотрите же на меня. Что эта охрана мне сделает, чего я сам с собой не наделал? Я всего-то прошу у вас милосердия на несчастные пятнадцать минут!

Медсестра сжалилась и позволила Лайнусу досмотреть. Стояла рядом, глядя на финальные сцены, и каждый раз, когда на экране появлялся новый персонаж, спрашивала: “Это хороший или плохой?” Наконец Лайнус сложил столик, убрал его в подлокотник и двинул к двери, откуда, ущипнув край своего берета, сказал:

— Прочитай письмо, Боб. Дай нам знать, что ты думаешь.

— Что я думаю о чем? — спросил Боб, но Лайнус уже укатил.

Боб вскрыл конверт и прочел письмо. Мария выражала свое сочувствие в связи с его травмой, но также и радость в связи с тем, что прогноз на выздоровление положительный. По ее словам, его отсутствие очень заметно, и не только ей

самой, но и почти всем в Центре.

В самом деле, Боб, когда я услышала о том, что с тобой стряслось, у меня забрезжила некая идея. Я поделилась ею с местными обитателями, и их энтузиазм побуждает меня сказать, что, если ты захочешь к нам присоединиться, присоединяйся в качестве резидента на полный день, мы будем только рады. Подумай об этом, а?

Я нашла другое жилье для Чирп, но там ее комната будет готова месяца через два, не раньше, так что у тебя есть время все взвесить. Как бы то ни было, я не отдам эту комнату никому, пока не дождусь твоего ответа. И надеюсь, предложение это будет принято с той же душевной простотой, с какой оно замышлялось.

С любовью,
Мария.

* * *

Вернувшись из больницы домой, Боб провел три месяца в постели, дожидаясь, когда его кость

срастется. Каждый день приходила медсестра или, точней, кто-то из длинной череды медсестер. Многие из них были толковыми и улыбчивыми, но ни одна не являлась достаточно часто, чтобы завязать дружбу. Бобу сделалось скучно, потом очень скучно, а потом он прочно погрузился в раздумья.

Когда Мария пришла его навестить, он только что не подпрыгнул от радости. Она принесла цветы, свежие слухи и, не особенно церемонясь, выспросила, что там у Боба с планами. Подумал ли он над ее предложением? Да, подумал, и вскоре после визита Марии, освободившись от гипса, Боб выставил свой дом на продажу, с помощью компании по ликвидации недвижимости избавился от машины и большей части вещей и вселился в прежнюю комнату Конни в Гериатрическом центре имени Гэмбелла — Рида.

В щели там задувало, помещеньице выглядело убогим и тесноватым, а Конни не оставила по себе ни следа. Боб взялся за дело и, развесив по стенам полки с отборными книгами, поставив комод и прикроватную тумбочку, поместив в ногах кровати любимое кресло для чтения и торшер, провозгласил, что жилище его меблировано и в дополнениях не нуждается.

Лайнус обитал прямо напротив, а Джилл рядом с Лайнусом, и они часто навещали Боба — может быть, слишком часто, — чтобы пожаловаться, спросить совета, что-нибудь рассказать или занять небольшую сумму, которую, как Боб в конце концов понял, никто ему не вернет.

Больничная эра, когда он жадно смотрел телевизор, давно миновала, Боб вернулся к чтению: как выяснилось, он мог читать три-четыре часа кряду, прерываясь только на то, чтобы перекусить, или вздремнуть, или же поглядеть в окно, в мир, где шли себе по тротуару люди, не зная о том, что бледное внимательное лицо присматривает за ними сверху из-за стекла.

Ему исполнилось семьдесят два, и обитатели Центра устроили в его честь вечеринку: пели ему песенки и баловали, а Мария испекла торт в виде книги с названием на обложке: “Книга Боба”. Врачи уверяли, что бедро его зажило как новенькое; и все-таки в нем угнездилась усталость, ощущение прежде неведомое, впечатлявшее своей глубиной и основательностью.

Все снился и снился ему отель “Эльба”; снилось, что он то живет в наклонной башне, то стоит перед входом на синих ступеньках, высматривая в размытой толпе Иду и Джун; и всегда, неиз-

менно мозг заливало все тем же химическим веществом, предвещавшим влюбленность; просыпался он в дурмане преклонения, очарования, но безличном, не соотнесенным с лицом, с которым можно было бы отождествить это чувство. Он был одинок в своих снах об отеле “Эльба”; рядом с ним ни души, коридоры пусты, но гулко отдавалось в них впечатление, что там кто-то был и только-только ушел.

Реже, но не менее ярко снились сны о библиотеке. Пока он работал, Бобу не раз и не два случалось сетовать на незначительность своего бытия, но теперь он в полной мере осознавал, как подфартило ему занять это место. Почти пятьдесят лет он служил своей общине и был ее частью; он видел, как люди, жившие по соседству, приходили и уходили, взрослели, старели и умирали. В жизни некоторых он оставил свой след, не так ли? Увидеть библиотеку во сне было ему утешением. Самым любимым был сон про то, что он там один, и еще раннее утро, и он готовится к новому дню, и все мирно и тихо, и ботинки его не издают ни звука, когда он идет по ковру, а пустой автобус пришептывает “тише, тише!”, шурша мимо по влажной дороге.

Бывало, Мария приходила к Бобу его навестить,

сидела в вольтеровском кресле в изножье кровати, в то время как он рассеянно похлопывал ладонью по одеялу, нащупывая очки для чтения. В других случаях, заподозрив, что Боб пал духом, она передавала через медсестру или Лайнуса, что хочет поговорить с ним у себя в кабинете, и ему нравилось ворчать, притворяясь, что подобные вызовы — докука, но вскоре уже он вставал, умывался, одевался, скрипучим лифтом на две персоны спускался по оси старого дома и, пройдя наискось по Большой комнате, стучался в кабинетик Марии.

Она делала это, чтобы его встряхнуть, выслушать слухи, которые ходят наверху, поддержать их и даже наддать жару. Как-то она призналась, что ей нравится подбросить в массы некую байку и сколько-то дней потом следить за эффектом. Эти байки не были ни злыми, ни клеветническими, и перцу в них доставало лишь для того, чтобы слушатель всколыхнулся и выдал ответную реакцию. Мария исповедовала теорию, что порция негодования действенна почти так же, как утренняя зарядка.

— Джилл беспокоится, что у тебя депрессия.

— Нет у меня депрессии.

— Ты и не выглядишь депрессивным. Я думаю,

у Джилл у самой депрессия.

— А я — что Джилл и сама депрессия.

Боб, когда ему удавалось рассмешить Марию, испытывал гордость. С другими Мария не могла разговаривать так, как с ним. Боб понимал, что он в этом смысле особенный, и ему было лестно.

В общем и целом, он был доволен своим обитанием в Центре, если не считать того, что, как и прежде, не отпускала тревога за Конни. Хотелось знать, где она и как поживает. Томила надежда, что, услышь он в подробностях, как все было, это снимет камень с его души уже тем, что закроет тему. Но никто в Центре из его обитателей и обслуги ничегошеньки об этом не знал, а обращаться к Марии Боб не хотел, не желая привлечь к себе слишком много внимания.

Жажда знаний, однако, пересилила соображения скромности, и Боб испросил официальной аудиенции, в ходе которой более-менее подробно поведал ей историю своего брака. Марию сразило наповал. К этому времени ее привязанность к Бобу была абсолютна, а доверие — безоговорочно. Когда рассказ завершился и Боб приступил к расспросам, она предоставила ему личное дело Конни, историю болезни. Это было мало того что нарушение правил, это было противозаконно;

Мария попросила, чтобы он отнес папку к себе и никого в почерпнутые в ней сведения не посвящал.

Вот что Боб узнал.

После смерти Итана Конни несколько лет работала учителем на подмену, затем учителем рисования в начальной школе на полный рабочий день и, под конец, администратором государственной школы. В пятьдесят лет она уволилась и устроилась в детский сад в юго-восточной части города, где проработала до шестидесяти пяти, вплоть до выхода на пенсию.

Боб узнал, что кататония Конни являлась не симптомом возрастного слабоумия, как он предполагал, а результатом черепно-мозговой травмы, полученной в результате несчастного случая, когда, поскользнувшись, она упала на дорожке перед своим домом. До травмы, по-видимому, она была совершенно здорова; но удар головой привел к образованию тромбов, ставших причиной инсульта, который, в свой черед, послужил утрате дееспособности. Два года она провела в Центре Гэмбелла — Рида, а теперь переведена в такого же рода заведение на побережье соседнего штата Вашингтон.

Еще Боб узнал, что дом Конни в Портленде

находился меньше чем в пяти милях от его собственного. Поневоле вспомнились годы после смерти Итана, когда Боб дождаться не мог, чтобы они встретились снова. Бывало, по утрам, бреясь или застилая постель, он внутренним чутьем угадывал приближение Конни, предчувствуя, что именно в этот день она войдет в библиотеку, чтобы с ним повидаться, и вспомнилось, как всю смену тогда он не мог сосредоточиться на работе и вскидывался на каждого, кто входил. Потом, после того как он усвоил себе, что в библиотеку она не придет, наступил период лет в десять или чуть больше, когда он верил, что судьба вмешается и все разрулит. Он столкнется с ней в продуктовом, в парке или где-то еще. Он заметит в толпе ее холодное, безразличное лицо, она почувствует взгляд и повернется навстречу, и когда она увидит его, вся холодность слетит у нее с лица, и она снова станет такой, как раньше, как бы изнутри освещенной, такой, как бывала, когда, войдя в библиотеку, находила его глазами… когда она любила его.

Боб был признателен за то, что получил возможность прочитать личное дело Конни, но то, что он выяснил благодаря этому, глубоко уязвило его. И неважно, что верить в справедливость

— это по-детски; то, что случилось с ними, было несправедливо, и ничто не могло убедить Боба в том, что это не так.

Он с благодарностью вернул папку Марии. По тому, с каким лицом он это проделал, ей стало ясно, что говорить о том, что узнал, он не хочет. У большинства ее пациентов в прошлом случалось нечто настолько болезненное, что обсуждать это они избегали, и, блюдя границы дозволенного, она никогда не настаивала, не выпытывала. Мария считала, что составной частью старения, по крайней мере многих из нас, является осознание того, насколько наши жизненные истории бесформенны и несовершенны, и порой не по нашей вине. Ход времени сгибает нас, складывает, как хочет, и в конечном счете засовывает под землю.

* * *

Очнувшись от полуденной дремы, Боб увидел Марию, сидевшую на краешке его кровати с таким видом, что нельзя было не понять: что-то случилось.

— Что? — спросил он.

— Сын Чирп внизу, Боб, — ответила она. — Сын Конни. Надеюсь, ты не против, что я тебе говорю об этом, но мне что-то подумалось, ты захочешь

знать.

Боб сел.

— Что он тут делает?

— Явился ни с того ни с сего и попросил историю болезни своей матери. Я сказала ему, что она в архиве за пределами дома, и теперь он ждет, когда ее принесут.

Она явно гордилась своей находчивостью, но Боб не понял, зачем ей понадобилось ловчить, и попросил объясниться.

— Ну, я подумала, что ты захочешь спуститься и поздороваться, — сказала Мария.

— С чего бы? Он знать не знает, кто я такой.

— Вот ты ему и скажи.

— А если ему это ни к чему?

— Тогда он сам скажет тебе об этом. Он в самом деле очень приятный человек, Боб. И я знаю, что лезу не в свое дело, но есть ведь шанс, что встреча с ним будет тебе полезна. В общем, давай так: если ты не спустишься, я пойму, что тебе это не нужно. Но я задержу его сколько смогу, ладно?

Похлопав Боба по руке, она вышла, а Боб поднялся, прошелся по комнате и хорошенько подумал. Спускаться вниз не хотелось, но вряд ли это весомая причина, чтобы решить, что спуститься не стоит. Когда же пришла мысль, что

в тот отрезок жизни, который ему еще остался, вряд ли представится другой случай увидеться с кем-то из близких Конни, он поймал себя на том, что тянется за ботинками, натягивает пиджак, причесывается и чистит зубы. В последний момент он собрал в конверт несколько фотоснимков времен с Конни, сунул конверт в карман пиджака и направился к лифту.

Вступив в Большую комнату, он увидел, что сын Конни сидит в одиночестве за длинным столом и смотрит в свой телефон. Он был в той же потертой из джинсы куртке, что в прошлый раз, и с забинтованным пальцем, и выглядел, как рабочий или торговец в обеденный перерыв. Боб стоял через стол от него; когда сын Конни поднял глаза, Боб слегка поклонился и спросил, не помешает ли он, если присядет. Сын Конни неопределенно кивнул и снова уткнулся в телефон. Боб сел.

— Вы унаследовали внешность отца, — сказал он.

Сын Конни никак не отреагировал; он был весь в переписке. Боб продолжил чуть громче:

— Видите ли, мы с вашим отцом были друзьями. С Итаном. Осмелюсь заметить, это на мне лежит груз ответственности за то, что пути ва-

ших матери и отца пересеклись.

Сын Конни снова поднял глаза.

— Мои родители познакомились в автобусе.

— Да, но оба они направлялись ко мне. В библиотеку. Таким образом получается, что знакомство состоялось под моей, так сказать, эгидой.

При слове “библиотека” сын Конни насторожился. Мало того, он даже вроде как испугался, отложил телефон, выпрямился и молвил:

— Боже мой, да вы Боб Комет!

* * *

Сына Конни звали Сэм, он был поражен, впечатлен и даже несколько взбаламучен тем, что Боб вдруг объявился, да еще в такой поздний срок, да в таком месте. Боб тоже был поражен, тоже впечатлен, но не взбаламучен, ну или только очень слегка. Сэму хотелось знать, как Боб тут оказался; Бобу хотелось знать, как это вышло, что Сэму знакомо его имя. Они только-только приступили к тому, чтобы облечь в слова свои вопросы друг к другу, когда, проваландавшись, сколько могла, явилась с личным делом Конни в руках Мария, вменившая себе понаблюдать за ходом переговоров и проследить за тем, чтобы температура их была ровной. Однако перего-

варивающиеся стороны ее присутствие сочли лишним, и Сэм предложил Бобу прогуляться. Боб выдвинул встречное предложение, состоявшее в том, что прогуляются они до закусочной.

Они устроились там за столиком, и каждый заказал себе кусок пирога и кофе. Официантка Боба сразу узнала, поскольку он, Лайнус и Джилл повадились посещать закусочную по два-три раза в неделю.

— Ты чего это ты так разодет? — спросила она его. — Что ли на бал собрался?

— Да. И подумал, что ты, возможно, захочешь пойти со мной.

— Поглядим сначала, сколько ты дашь чаевых. Но сразу видно, перышки ты почистил. — Повернувшись к Сэму, официантка уставилась на него. — А вот тебе, милый, не помешает помочь, — сказала она и потянулась пригладить ему волосы.

У Боба мороз пробежал по коже; но он видел, что Сэм не в той мере, что его отец, сознает силу своей физической привлекательности, — и, пожалуй, так оно выходит и лучше, если учесть те напасти, что выпали Итану.

Официантка принесла кофе и пирог и оставила их вдвоем, чтобы они обсудили — но что именно?

Оба терялись в догадках, с чего начать и в чем, собственно, конечная цель их беседы. После пары неудачных подходов Боб вытащил фотографии, старенькие картинки, и вот они-то показали себя плодотворной точкой соприкосновения. Сэм, которому прежде не доводилось видеть изображения той поры, с увлечением принялся их разглядывать, а Боб, между тем, разглядывал профиль Сэма, который повторял собой профиль Итана, точь-в-точь.

Повернув одну фотографию так, чтобы Бобу было видней, Сэм пододвинул ее к нему поближе. На снимке были Конни и Боб, они стояли перед домом мятного цвета. Боб, с никаким лицом, стоял чуть в наклон, руки вниз по бокам, в то время как Конни уперлась кулачками в бедра, локти вперед, и задорно подмигивала, позируя, как девица из порножурнала. Сэм постучал пальцем по фасаду дома.

— Это тот самый дом с веревочными перилами?

— Верно. Там мы с вашей мамой жили, когда поженились. — Боб прочистил горло. — Знаете, по некоторым причинам я несколько удивлен тем, что вам такие вещи известны. Да и вообще тем, что вы слышали обо мне, в самом деле.

Сэм придвинул фотографию к себе, сунул ее вниз стопки и, говоря с Бобом, не переставал пересматривать снимки.

— Думаю, всякий, кто знал мою мать до несчастного случая, понимал, что на заднем плане у нее есть тайная история, которую она прячет. О смерти моего отца она рассказала мне, когда сочла, что пришло время, мне было тогда лет двенадцать-тринадцать, и это легло деталью в головоломку, но еще долгое время я жил с ощущением, что головоломка не сложена, что там кроется что-то еще. И вот однажды на Рождество, мне тогда, должно быть, было шестнадцать, мама, выпив вина, сказала: “Сэм, я хочу, чтобы ты знал: я была замужем за другим до того, как вышла за твоего отца”.

Он оторвался от фотографий, скорчил гримаску ужаса и вновь опустил глаза.

— Не лучшая новость для мальчишки, и поначалу я просто отказывался что-то об этом слышать. Но потом, позже, когда я слегка подрос и свыкся с тем, что открылось, я начал задавать вопросы, и по чуть-чуть, понемногу история стала вырисовываться.

Он подтолкнул к Бобу еще один снимок. На нем были Итан и Боб, оба в нарядных дамских

шляпках и с физиономиями чинными и исполненными достоинства. Боб прищурился, всматриваясь.

— А, да. Дом стоял в тупике, и раз в год мы с соседями вытаскивали всякое барахло и устраивали дворовую распродажу. — По ноге Боба кралась чья-то кривая тень. — Это ваша мама снимала. Видите, это она.

— Ничего себе! — воскликнул Сэм и покачал головой.

Снимки он смотрел с интересом; Бобу это было приятно. Теперь Сэм протягивал ему фотографию, сделанную сразу после того, как Боб и Конни поженились. Итан стоял в шаге от молодоженов, физиономия его вышла нечетко. Боб посмотрел, кивнул и отвел взгляд.

— Вы потом снова еще женились, Боб? — спросил Сэм.

— Нет, никогда. А ваша мать?

— Нет, нет. Это было бы совсем на нее не похоже, насколько я понимаю в том, что вообще ей требовалось от жизни. Знаю, что было несколько дружеских связей, где, должно быть, не обошлось без амуров. Мужчины приходили с подарками, которых она не хотела, мужчины в усах и широких галстуках, в тонированных очках с толстыми

стеклами. Семидесятые, верно? Восьмидесятые? И всегда мне казалось, что ей все это ни к чему.

Они пили кофе и ели пирог, и Сэм протягивал Бобу то ту, то другую фотографию, и Боб рассматривал каждую и отдавал обратно, но на душе свербело от беспокойства, от нетерпения поскорей до чего-нибудь да добраться. Хотелось узнать, как Конни жила после того, как ушла от него, и после смерти Итана; но, когда он мысленно составил вопрос, тот показался ему бестактным, недружественным. А ведь намерения его были самые расположенные, и, не зная, как поступить, он в конце концов просто сказал:

— Вот бывает же так: знаешь кого-то, а потом знаться перестаешь, но все-таки, когда этих людей нет рядом, не можешь не задаваться вопросом, из чего состояла их жизнь.

Сэм пожал плечами, не уверенный в том, вопрос это, утверждение или что-то еще. Тогда Боб добавил:

— Я пытаюсь составить себе представление о том, как вы с матерью изо дня в день жили. Каково это ей было?

— Ну, она всегда была занята, — сказал Сэм. — Приходилось растить меня, и ходить на работу, и содержать дом в порядке. Это немало для одино-

кой женщины, понимаете? Но у нас была наша маленькая вселенная, наша улица. Нам повезло с соседями, у многих были дети, и нам часто устраивали общие барбекю, дни рождения, рождественские вечеринки и охоту за пасхальными яйцами. Я знал изнутри каждый дом в квартале.

— Она дружила с соседями?

— Они все были без ума от нее. Но и, кроме того, я думаю, считали, что поддерживают, защищают ее из-за истории с отцом и из-за того, что она сама по себе. Но в этом не было ничего печального и надрывного. В самом деле, мама была замечательная. Жизнь как жизнь, то на гору, то под горку, но нам было весело вместе, вы меня понимаете?

— Да, — сказал Боб. — С ней было весело.

— Еще как, — кивнул Сэм и ткнул большим пальцем через плечо. — Что, и тогда тоже?

— Всегда.

Сложив фотографии стопкой, Сэм пододвинул ее к локтю Боба. На верхнем снимке Итан сидел низко в своей машине, озорные глаза виднелись над дверью со стороны водителя. Боб сказал:

— После гибели вашего отца ко мне домой приходил полицейский. Спрашивал, где я был в момент смерти. Меня всегда занимало, знала ли об этом ваша мать.

— Не могу сказать точно. Но нет, она не думала, что вы имели к этому отношение, если вы спрашиваете об этом. На самом деле, у нее была идея, что это сделала одна богатая женщина. Какая-то его старая пассия, что-то в таком роде.

— Эйлин, — сказал Боб.

— Да, верно. И мать рассказала об этом в полиции, но той женщины даже в стране не было, когда отца сбило. Мать так и не выяснила, кто это сделал. В полиции ей просто сказали: несчастный случай. И, может, так оно и было на самом деле, но я точно знаю, что ей покоя не давало то, что она не знает, как было наверняка.

Сэм помолчал в задумчивости, а потом сказал:

— Знаете, она об отце не так много и говорила. Может, из-за того, как он умер, и ей неприятно было, когда об этом напоминали. И хотя я усвоил, что он был сердцеед и вроде бы баламут, по-настоящему я так и не понял, что он был за человек.

Легонько поддернул плечом и замолчал, глядя на Боба.

— Вы спрашиваете меня, каким человеком был ваш отец? — переспросил Боб, и Сэм ответил:

— Ну да.

Боб взял фотографию Итана, дал себе время сложить в уме правдивую речь и заговорил:

— Лукавства и вероломства в вашем отце не было. Не было в нем грубости, пошлости или скупости. Он никогда не был скучным. Он был пластичным и грациозным, и на него было приятно смотреть. Он был занятный и остроумный — и умел поощрить остроумие в других. Он был ослеплен самим собой, самую малость влюблен в самого себя и чарами своими пользовался беспечно, но, пожалуй, это можно понять, так что мы ему это простим. Я не знаю, как мне это вам объяснить, Сэм, разве что скажу, что бывают такие люди, которые, когда они входят в комнату, то комната изменяется. И ваш отец, он был прирожденный меняльщик, преобразователь комнат.

Сэм пытливо сосредоточился на том, что говорил ему Боб и, выслушав, сидел очень тихо, будто складывал воедино, составлял из слов, лепил у себя в сознании образ отца.

— Это хорошо. Спасибо, — не сразу сказал он Бобу.

— Да, — кивнул тот.

Улыбаясь улыбкой тайного знания, Сэм принялся расковыривать вилкой корку своего пирога.

— Знаете, пару раз за эти годы случалось, что мама говорила: “Любопытно, как там сейчас старина Боб Комет?” И еще я помню, как однажды

зимним утром она подошла к окну, отодвинула занавеску и сказала: “Думаешь, месье Боб намылился на работу в такой снегопад? На этой старой машине с лысыми шинами? Что-то я сомневаюсь”.

Боб сидел с кофейной чашкой в руке и не отрывал от нее взгляда. В каком-то смысле он надеялся услышать что-то подобное, но все-таки готов к этому не был, и свидетельствование про такие мимолетные пустячки легло ему на душу, как бальзам, но в тот же миг в нем вспыхнуло и другое чувство, вспыхнуло и обожгло обидой. То, что Конни употребила старое ласкательное имечко, когда их разделяло всего несколько городских кварталов, ранило его, оскорбило, и с полминуты он сидел, задыхаясь от столкновения чувств.

Сэм не заметил, чтобы его слова произвели какое-то впечатление; он подавал знак официантке, что они готовы получить счет. Сэм расплатился, и они с Бобом направились в сторону Центра. Боб промолчал большую часть пути, так что Сэм забеспокоился, не испорчена ли чем-нибудь встреча; но затем, когда они подошли к Центру, Боб снова стал самим собой, вызвался сделать копии фотографий и переслать их Сэму, если тот этого хочет, и Сэм сказал, что да, конечно,

написал свой адрес и передал его Бобу. Мужчины обменялись рукопожатием, и Сэм уехал на своем старом пикапе.

Боб, проводив его взглядом, повернулся взглянуть на Центр и увидел Марию, которая стояла у окна в своем кабинете. Она вскинула руки ладонями вверх: как все прошло? Боб повертел запястьем: дескать, сносно прошло, и пошевелил пальцами: пойду-ка пройдусь. Мария кивнула, и Боб отправился кружить по кварталу, размышляя и поражаясь тому, что произошло и чего не случилось.

* * *

Жизнь в центре Гэмбелла — Рида шла своим чередом.

Дерево за окном Боба разрослось, полностью заслонив вид. Лето выдалось жарким, часто жарким невыносимо, так как в здании не было центрального кондиционирования воздуха. Боб добавил свой голос к хору жалоб, на что Мария сказала ему: “Мы все здесь страдаем, Боб”. Боб указал, что ей платят за то, чтобы она страдала, и Мария сообщила, сколько ей платят, что действенно положило конец разговору. Боб ходил в футболке и спал с открытым окном. Ночью

прохладный ветер шелестел листьями дерева и обдувал Боба, пока он спал. Утром жара возвращалась. Лайнус сменил свой огромный берет на бейсболку с сетчатой спинкой и встроенным в козырек вентилятором на батарейке. Джилл единственная была за жару.

— Мне надо было родиться ящеркой и греться на камне, — сказала она.

— Ну, в некотором смысле тебе это удалось, — поведал ей Лайнус.

Пришли дожди, наступила осень, листья на дереве Боба окрасились в неописуемые цвета и опали, вернув ему вид на тротуар.

В голове не укладывалось, что прошел всего год с тех пор, как он предпринял провальную попытку наладить связь между обитателями Центра и “Черным котом” Эдгара По, но вот снова пришел Хэллоуин, и по этому случаю устроили празднество, и Боб нарядился неторопливым вампиром. Мария сказала, что он выглядел бы еще шикарней, если б двигался постремительней, так, чтобы плащ взлетал у него за спиной; но он, по его словам, двигался так быстро, как ему хотелось или моглось. Имелась еще и пара пластмассовых вампирских клыков, но он носил их недолго, от них десны болели. Мария оделась

каторжницей с пластмассовым ядром на цепи, которое она раскручивала над головой, чтобы было смешнее. Лайнус выступил школьным выпускником в квадратной шапочке и черной шелковой мантии, а в руке он держал бумажный лист, свернутый в трубочку и перевязанный голубой лентой.

Джилл сидела за дальним столиком не принаряженная, рассматривала свои ноги в тапочках. У нее не достало ни денег, ни изобретательности, чтобы придумать и раздобыть костюм, и ей было горько оттого, что она оставлена за бортом. Мария нашла для нее кошачьи ушки; Джилл ушки надела и разрешила Марии карандашом для глаз нарисовать на себе усики. Мария с самым серьезным видом прикладывала линейку к щеке Джилл, чтобы ус получался прямым. В Джилл затеплилась лукавая благодарность.

— Угадаешь, кто я? — спрашивала она Боба. — Я — котик.

В одиннадцать утра к Центру подъехал автобус, и внутрь хлынул поток ряженых детей в хэллоуинских костюмах. Мария организовала этот приезд благодаря знакомству в соседней начальной школе; за день до события она описала его Бобу как встречу двух групп, которые нахо-

дятся на противоположных концах жизненного спектра.

— Вот юные люди с их историями, до них никем не написанными, а вот все вы, с вашей накопленной мудростью, оглядываетесь назад. Чем плохо, что вы встретитесь посередине и установите связь?

Оптимизм ее был искренний и сердечный, но все же Боб сомневался, что эксперимент даст благоприятные результаты.

Стариков попросили занять стулья, в длинный ряд расставленные по центру Большой комнаты. Каждому выдали по пакетику конфет, чтобы раздать их детям, которые встали в очередь и один за другим подходили к сидящим старикам и со словами “Угости или ужасну!” протягивали им свои пластиковые тыквы. Разговоры завязывались нечасто. Дети побаивались стариков, старики сердились, что их боятся. Мария, волнуясь, стояла рядом.

— Не жалейте времени, чтобы узнать друг друга получше, — наставляла она.

Лайнус, Боб и Джилл сидели один за другим в середине ряда. Перед Лайнусом возник мальчик в ярком костюме из пластика. Взгляд его, в котором угадывалось неглубокое дно, выдавал личность,

смекалкой не перегруженную.

— Ну, и какой же оживший кошмар ты собой представляешь? — спросил его Лайнус.

— Покемона.

— Кого?

— Покемона. — Он указал на свернутую в рулон бумагу в руке Лайнуса и спросил: — Что это?

— Да, — сказал Лайнус, — такое ты, скорей всего, вряд ли еще увидишь. Это называется диплом. Свидетельство об окончании школы. Потому что скоро мой срок оканчивать это бренное заведение и поступать в заведение повыше.

Покемон перешел к Бобу, а перед Лайнусом встал следующий паренек, не в костюме, а в уличной одежде, к тому же не очень чистой. На вид задерганный и усталый, хриплым голосом он сказал:

— Угости, не то ужасну.

— Ты почему ж без костюма? — спросил Лайнус.

— У меня его нет.

— Почему нет?

— Потому что моя мама сбежала с моим дядей.

Лайнус гримасой изобразил Бобу “каково?” — и сказал мальчику без костюма:

— Вот уж небывалое дело, чтобы не сказать

больше. По причине его небывалости я, так и быть, выдам тебе две конфеты вместо одной.

Лайнус наклонился над пакетиком, выуживая конфеты. Ненаряженное дитя, почуяв в собеседнике слабину, хладнокровно осведомилось:

— А можно мне больше двух?

— Давай не будем портить момент, малыш, — сказал Лайнус.

Он бросил две конфетки в тыкву-фонарь и махнул мальчику: проходи. Тот, передвинувшись, встал перед Бобом:

— Ты кто?

— Дракула, — отвечал Боб.

— Ты пьешь кровь?

— Бывает.

— И мою выпьешь?

— Поглядим, — сказал Боб, — зависит от настроения.

Ненаряженный перешел к Джилл.

— Угости или напугаю, — сказал он.

— Угадаешь, кто я? — спросила она. — Я — котик.

— Угости или напугаю, — не поддержал игру мальчик.

Когда конфеты были розданы, дети сбились в кучку, чтобы обсудить добычу, обменяться ею и

ее поглотить. У старших застрял только тот, что был без костюма; они с Лайнусом подружились. В какой-то момент он спросил: “Можно мне потрогать твою маску?” — и Лайнус сказал, что можно. Ладошка мальчика казалась маленькой и изящной по контрасту с багровой, изрытой буграми огромной башкой Лайнуса. Ладошка легонько коснулась красной щеки. Мальчик ойкнул и — недоуменный, пораженный, испуганный — руку отдернул.

— Не боись, малыш, — сказал Лайнус, — хватани хорошенько.

Ненаряженный решился еще раз протянуть руку, взял в щепоть щеку Лайнуса и повернул складку, которую сумел ухватить.

— Да это ж твое лицо! — ахнул он и повернулся к другим детям: — Это правда его лицо!

Боб поморщился из сочувствия к Лайнусу, но тот нашел ситуацию чрезвычайно смешной и во всю глотку захохотал, а дети впали в благоговение. С этого момента и до тех пор, пока им не пришла пора покидать Центр, все они непрестанно следили за Лайнусом, восхищенно дивясь всему, что он делал и говорил. Словно подозревали, что у него под личиной таится сказочный монстр, и нарадоваться этому не могли. Дет-

ское преклонение Лайнус принял как должное, воодушевился и стал все подряд превращать в комедийную сценку. В какой-то момент притворился, что проглотил карандаш.

— Ох, да я, кажется, проглотил карандаш! — объявил он. Грянула ошеломленная тишина. Лайнус хлопнул себя по животу и сообщил: — А что, вкусный.

Взрывы детского смеха. А потом он принялся "случайно" сбивать и сбивать свою квадратную шапочку, шесть раз, семь, и каждый раз делал вид, что злится все сильней и сильней, чем вызывал еще больше вскриков и смеха.

Дети ели конфет сколько угодно, потребление не ограничивалось и не контролировалось, и уровень сахара в детской крови достиг критического предела. Мальчик в ковбойском наряде, рвано дыша, ногтями оттягивал вниз щеки, виднелись только белки глаз. Были такие, кто упал и катался по линолеуму пола. Куда делись учителя и сопровождающие? Когда было объявлено, что пришла пора игр, дети закричали, в чем можно было усмотреть проявление радости, но прозвучало оно почти как стон, мученически.

Два санитара, крупные дядьки в бледно-зеленой форме, войдя в Центр через заднюю дверь,

втащили металлическую лохань, наполненную водой. Передвигались они боком, лицом друг к другу, мелкими шажками, согнув ноги, но с прямыми спинами, и оба от натуги пыхтели. Сами того не желая, они устроили настоящий спектакль: старики и дети побросали то, чем занимались, чтобы посмотреть, удастся санитарам выполнить свою задачу или же нет. Вода в лохани ходила волнами взад и вперед, зрители замерли в предвкушении, что ее выплеснет на пол. Когда же лохань в итоге установили, как было задумано, на поддон в центре Большой комнаты, и на пол не пролилось ни капли, раздались вежливые аплодисменты.

Лайнус громко спросил:

— Для чего нужна ванна? Дети что, будут меня мыть?

Он поднял руку и “помыл” у себя подмышкой; дети радостно завопили от отвращения. Он повернулся к Бобу.

— Все забываю поделиться с тобой, дружище. Помнишь двух каменщиков? Из того телесериала? Всю дорогу они морочили нам голову, но вчера наконец история разъяснилась, и угадай что? Они братья-близнецы. Заклятые враги с рождения. Неприязнь, похоже, уходит корнями в

колыбель и дальше, в утробу матери.

— Состоялось ли решающее сражение? — поинтересовался Боб.

— А как же, сражение с большой буквы “С”.

— И как же они снимали его, когда обе роли играет один актер?

— Хороший вопрос, Боб, — всерьез отвечал Лайнус. — Буду рад разрешить твое недоумение. Эффект достигнут за счет нарезки кадров и монтажа. В пользу создателей фильма скажу, что они не прибегли к чучелу-двойнику, чем никого не обманешь, и не поддались на нечестные уловки новейших компьютерных технологий.

— Удалось ли с правдоподобием?

— Не всегда. Но, знаешь, удивительно уже то, что работы, созданные коллегиально, вообще доводятся до конца, не говоря уж о том, чтобы пройти публичный просмотр. Я вот так точно смотрел с упоением, что тут еще сказать.

Мария подошла к лохани, держа в руках пластиковый пакет с яблоками и загадочно улыбаясь. Когда она стала бросать в воду яблоки, в комнате все затихли. Она рассказала детям про традицию на Хэллоуин ловить в воде яблоки без помощи рук, зубами (называется она “боббинг”, и говорят, что в Англию ее завезли римляне), заключив,

что любой, кто сумеет вытащить яблоко из воды, получит таинственный приз из таинственной шкатулки, представлявшей собой коробку из-под обуви, украшенную блестками и вопросительными знаками.

Дети определенно заинтересовались тем, что рассказывала Мария, но когда она спросила, кто будет первым, не вызвался ни один. Всех охватила острая паранойя, этакая стадная застенчивость, дети сбились в кучку, настороженно озираясь. До того Мария воображала, что все бросятся вперед в бездумном стремлении поучаствовать, но никто даже не шевельнулся, и впервые, сколько мог вспомнить Боб, она смутилась. Он почувствовал, что не в силах видеть, как Мария страдает; прорвавшись сквозь психическую агонию, заполонившую комнату, он вошел в тихое местечко внутри себя и внезапно, весь целиком, понял, что сделает это, станет первым, кто сыграет в эту игру, кто растопит лед на глазах у сверстников и детей.

Он встал и направился к лохани; видно было, что Мария этим удивлена.

— Что такое? — спросила она.

Но когда Боб опустился на колени, все поняла, накинула полотенце ему на плечи и тихо

сказала:

— Спасибо тебе, Боб. Ты только не торопись.

Боб посмотрел вниз, на стайку плавающих красных яблок, и сунулся головой в воду. Дети возобновили визг. Вода, обнаружил Боб, была ошеломительно, жутко холодной.

Один на один со своей задачей, на полголовы под водой, Боб метался туда и сюда, надеясь, что эти старания приведут яблоко ему в зубы, но вскоре понял, что так только отталкивает яблоки от себя, и усовершенствовал свой метод, подбираясь к желанному плоду медленно, сбоку и под углом.

Те, кто хорошо знал Боба, были поражены такой его эскападой, но также обеспокоились, не поздновато ли для него столь радикально менять свою индивидуальность, свой подход к жизни. Что это он ни с того ни с сего повел себя так несвойственно, безрассудно и неподобно? Некоторые из стариков осудили действия Боба, высказавшись в том смысле, что остается лишь уповать, что это не кризис идентичности так себя проявляет в последний час, казус совсем не редкий в домах престарелых.

Лайнус к числу критиков не принадлежал; преодолев начальное замешательство, он проникся необычностью ситуации и принялся болеть за

своего друга, сначала мысленно, а затем вслух, повторяя имя Боба с таким рвением и горячностью, что вскоре его поддержала Мария, затем Джилл, а затем те из стариков, кто посострадательней, и большинство детей.

Наконец почти все в комнате восклицали сплоченным хором: “Боб! Боб! Боб!”

Тот, погруженный в свою задачу, как раз ухитрился вонзить зубы в яблоко, когда до его сознания достучался этот речитатив. Игра слов, “Боб” и “боббинг”, вызвала у него смешок, он прыснул, глотнул воды, что, в свой черед, заставило его выгнуться вверх, как делает выскакивающий из воды кит. Боб дернул головой, откашливаясь, вода брызнула у него изо рта, как конфетти, и яблоко длинной красивой дугой пролетело через всю комнату, прежде чем, отскочив от линолеума, прокатиться меж ножками стула Джилл и спрятаться под столом. Ряженые дети ринулись за яблоком, как будто это тотем или сокровище, обладание которым даже на краткий срок стоит того, чтобы принести немалую личную жертву.